

Глеб
Горышкин

ПО
ТРОПИНКАМ
ПОЛЯ
СВОЕГО

Странствия
Размышления



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1983

Книга ленинградского прозаика Глеба Горышина «По тропинкам поля своего» включает путевые повести и очерки, навеянные поездками по стране и зарубежными впечатлениями, а также литературные эссе, посвященные И. Соколову-Микитову, М. Слонимскому, В. Белову, В. Шукшину и другим известным советским писателям.

Художник Михаил Новиков

О ЧЕМ ПОМНЯТ БЕРЕЗЫ



Мы все, ленинградцы, живем в межозерье. Утром поворотись лицом на восход солнца — там Ладога, к полдню то самое солнышко, что над нами, уже купается в Ильмень-озере, к вечеру, идя на посадку, озаряет Псковское и Чудское. Между большими нашими озерами тянутся ожерелья озерной мелочи: Долгие, Круглые, Щучьи...

Самое главное, материнское озеро — Ладога. Если подняться из Ладоги по Свири, повыше Подпорожья, там уже скажут, что главное — это Онего. Онего-батушко!

Онего — батюшко, а Ладога — матушка. Им друг без дружки нельзя. Они соединены — Свирию...

Хорош Онего-батушко, но Ладога ближе, роднее.

«Эх, Ладога, родная Ладога! Метель, и шторм, и бурная волна... Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа...»

Ни одно озеро в мире не удостоилось звания Дороги жизни, только Ладожское. Жизнь просачивалась в блокадный Ленинград по двум ладожским трассам: из порта Новая Ладога в Осиновец — это длинное плечо, сто двадцать километров, и от Кобона-Кареджинского причала туда же, в Осиновец, — короткое плечо, тридцать километров. Каждый куль муки, переправленный в Ленинград по Ладоге, был эквивалентен определенному сроку жизни для определенного числа людей: рабочих, служащих, иждивенцев.

В навигацию продукты доставляли в Ленинград на деревянных барках, только что построенных на верфи в Сясьстрое — верфь создали на базе бумкомбината, — на металлических самоходных баржах-тендерах, сконструированных и сваренных ленинградскими корабелями, на буксирных и пассажирских пароходах — на всем, что могло плыть, держалось на воде.

В зиму дальнее плечо трассы не действовало, продукты везли из Кобоны в Осиновец по льду, через Шлиссельбургскую губу. Движение на Дороге жизни было двусторонним, и каждый рейс, каждая ездка туда равнялись по значению каждому рейсу, каждой ездке оттуда. Из Ленинграда везли на Большую землю ленинградцев, большей частью чуть живых, умирающих от голода. Переехать Ладогу означало выжить. Не только самому выжить, но и увеличить шансы на жизнь тем, что остались в блокаде: пайка уехавшего попадала в котел блокадников.

Это все общеизвестно, о Дороге жизни написаны книги. В Осиновце есть музей Дороги жизни. Но у меня, как, наверное, у всякого ленинградца моих лет, в общеизвестном есть что-то личное. По Дороге жизни поздней осенью сорок первого года ко мне приехала моя мама. Меня вывезли из города раньше, еще до блокады, в Пестово. Что такое блокада и что такое Дорога жизни, тогда еще никто не знал.

Ко мне приехала мама, ее перевез по Ладоге из уже блокированного Ленинграда буксирный пароход «Орел». Это я запомнил на всю жизнь: мама приплыла на «Орле». В книге «Ладога родная», составленной из воспоминаний ветеранов Ладожской флотилии, я прочел, что особенно отважно и непотопляемо работал на штурмующей Ладоге под бомбежками пароход «Орел», капитаном на нем был Ерофеев.

Я прочитал об этом «Орле» и о капитане Ерофееве с таким чувством, как будто они мне родные. Моя дорога жизни, то есть мой жизненный путь, оказался каким-то образом связанным и с «Орлом», и с Ерофеевым. Если бы не навык и не удачливость капитана Ерофеева, мама не добралась бы до меня. Многие не добрались. Одним Ладога дарила жизнь, для других становилась вечным прибежищем.

После той ночной переправы через Ладогу в сентябре сорок первого года мама прожила на свете еще почти сорок лет. Незадолго перед смертью, тоскуя в ожидании

смертного часа, мама просила меня: «Мне так тошно целые дни одной. Ты мне принеси тетрадь и ручку. Я хоть буду что-нибудь записывать». Я знал, что маме тошно одной, но я не мог понять — и никто не может — всю безысходную тоску предсмертного одиночества. Мне казалось, что мама еще подождет, что вот я уже совершу какие-то свои главные и неотложные дела, выдастся у меня свободное время, мы еще поживем вместе с мамой. У нас была разная мера времени, но я про это не знал...

Мама умерла неожиданно, тихо, одна. Написала она совсем немножко, несколько страничек. Написанное завещала своей внучке, моей дочке. Как всегда, строго-настрого наказала мне, может быть за неделю до смерти: «Ты отдай это Кате. Пусть она прочитает и сохранит. Это ей надо знать».

Мама написала о переправе через Ладогу на «Орле». Она лежала целые дни одна в пустой квартире, наверное, не раз пережила заново в памяти всю свою жизнь, но записала только это, о переправе. Ею руководило, должно быть, чувство долга: это принадлежало не ей одной; унести с собой знание об этом она не могла позволить себе...

«В конце сентября 1941 года тресту «Ленлес», управляющим которого был мой муж Александр Иванович Горышин, было предложено эвакуироваться в Тихвин, чтобы оттуда снабжать Ленинград топливом. Дом наш (на Большой Московской) к этому времени разбомбили, и мы жили в тресте (угол Невского и Мойки).

Сотрудники треста и несколько членов семей на двух грузовых машинах поехали на Ладожское озеро. Перевезти трест через озеро должен был буксирный пароход «Орел». Дни стояли короткие, темно рано, зажигать фары было нельзя, и мы в темноте, в сутолоке машин и пешеходов направились в указанное для переправы место.

События тогда менялись не в течение дней, а в течение часов. Свернув с наезженной дороги согласно заранее составленному плану, мы чуть не попали к фашистам. Это было где-то в районе Невской Дубровки. Шоферы выбились из сил, и вообще требовалась какая-то передышка, физическая и моральная. Путаясь по малоезженным дорогам, мы натолкнулись на деревушку и

решили сделать привал. Стреляли со всех сторон. Где наши, где немцы, ничего нельзя было понять. В деревушке не осталось ни единого человека, окна все выбиты, мы сбились на полу избы и согревались друг о дружку.

Вдруг вблизи раздались какие-то необычные звуки. Мы выбежали на улицу. Над деревней шел воздушный бой. Страшная и незабываемая картина!

С рассветом удалось добраться до озера, но подъехать близко к нему не было никакой возможности. Деревянную, наспех сколоченную пристань бесконечно бомбили. Водолазы под градом бомб и пулеметных очередей с вражеских самолетов вытаскивали мешки с мукой, так как накануне близ пристани потопили баржу с мукой.

В какие-то короткие передышки между бомбежками наши мужчины пытались проникнуть на пристань, чтобы разыскать «Орел», предъявить соответствующие документы и погрузиться на него. Никакого «Орла» обнаружить не удавалось. Грузилась в самоходную баржу Военно-медицинская академия; к несчастью, как стало известно позже, ей не удалось достичь противоположного берега, многие погибли под бомбами.

Трое суток мы, почти обезумевшие, боясь потерять друг друга, прятались в жидком болотистом лесу, прилегающем к пристани. На третью ночь сгустился такой туман, что стало ничего не видно в двух шагах. Бомбежка прекратилась, и «Орел» наконец отыскался. Это был маленький буксирный пароходик, на котором заплата было больше, чем живого места. Как-то нас покидали с пристани на «Орел». К этому работяге еще прицепили тяжелую баржу, и в кромешной тьме мы отчалили от пристани. Очевидно для нашего ободрения, нам сказали, что буксир будут сопровождать две канонерки, но, увы, увидеть их нам не пришлось. . .

Ладога разбушевалась до такой степени, что устоять или хотя бы усидеть не было никакой возможности. Можно было только к чему-то прижаться и за что-то ухватиться. Я, в силу своей профессиональной обязанности (я врач), как-то держалась на ногах и оказывала посильную помощь нуждающимся в ней.

К рассвету, когда мы уже миновали большую часть пути, туман стал рассеиваться, впереди проступил желанный для всех берег. Капитан (если не ошибаюсь, Ерофеев) сказал: «Ну, кажется, сегодня пронесло. Ва-

ше счастье, что туман защитил вас. Нам редко удается проскочить без бомбежки».

Счастливые, хотя и здорово потрепанные, мы сошли на твердую землю, на безопасный берег».

Прочитав в книге «Ладога родная», что капитаном на «Орле» был Ерофеев, я обрадовался: мама не ошиблась, память не изменила ей; но сразу вспомнил, что радостью этой не с кем мне поделиться...

Я все говорю о маме, но ведь и отец мой переплыл тогда Шлиссельбургскую губу, из Осиновца в Кобону, на буксире «Орел». Только для него это было служебное плавание. Он и после не раз еще плавал по Ладоге, по Неве, по впадающим в Ладогу рекам. На оставшихся отцовых фотографиях он то и дело глядит капитаном или, лучше сказать, командором, с биноклем на груди, на мостике какого-нибудь буксира или лихтера, разумеется во время лесосплава. Мой отец был капитаном и командором лесозаготовок и лесосплава в бассейне Ладоги.

Иногда я бываю в Осиновце, на мысу, брожу по березнякам, прилегающим к бывшей здесь когда-то пристани. Смотрю на лазоревое под ясным небом озеро, стараюсь проникнуть взором во что-то такое, чего на поверхности не видать, в какую-то даль и в какую-то глубь. Но на воде не бывает следов, на воду смотришь, воду и видишь. Трудно представить, что это дачное, пригородное местечко Ладожское Озеро, с электричкой у платформы, с очень каким-то рассудочно выверенным монументом, было началом Дороги жизни...

Мне все кажется, что о ком-то мы позабыли и чьи-то души витают вот в этом жидком, болотном лесу. И березы кажутся иногда простертыми к небу руками, а сферическая округлость Шлиссельбургской губы — чьим-то глазным яблоком...

Когда я смотрю в ту сторону, куда уплывали буксиры, баржи, тендеры, куда уезжали трехтонки и полутонки, я думаю о тех, кто не доплыл, не доехал. И хочется мне увидеть на Осиновецком мысу памятник недоплывшим и недоехавшим. «Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа...» Даром жизнь никому не давалась в блокадном аду. Дорога жизни, одним даруя жизнь, для

других была безысходным адовым кругом. Смерть косила на этой дороге, с первого до последнего ее дня, с железной бесчеловечностью и неустанностью машины...

Иногда я бываю в Кобоне. На сто третьем километре Петрозаводского шоссе стоит на пьедестале полуторка. Здесь проходила Дорога жизни — уже по Большой земле, от причала в Кобоне на станцию Войбокало. Полуторка в натуральную величину, не то настоящая полуторка, обмазанная чем-то белесым, не то слепленная из гипса. Ни то ни се. Подлинность реликвии не сохранена, монумента-символа не получилось...

От повортки с шоссе до Кобоны дорога лесная, соняки молодые, послевоенные, места здесь грибные, у обочин стоят машины, небо над дорогой по-северному низкое; чем ближе к Ладоге, тем корявее, скрюченнее березы — ладожский ветер скрутил. Лес перемежается совхозными полями. На придорожных насыпях малиники.

В большом селе Лаврово асфальт и грунт сменяются булыжником, должно быть почтенного возраста, но дай бог какой он ядреный! Едешь по булыжному тракту, как по бороне. Тракт идет берегом старого Ладожского канала. Замечаешь грубо-граненные каменные верстовые столбы-тумбы. Это не трактовые — канальные версты. Столбы ставлены если не при Петре, то уж всяко при Елизавете.

Самого канала не видно, он зарос ивняком. И так до самой Кобоны. В Кобоне мост через старый канал, потом мост через Кобонку. На берегу канала, у входа в бывшую школу поставлен памятник поэту Александру Прокофьеву, он родом отсюда. Мосту более двухсот лет, то есть гранитному основанию моста. Отсюда видна Ладога, видны проходящие по Новоладожскому каналу суда, рыболовецкий причал. Отделенная от села старым каналом и Кобонкой, высится церковь. Издали она хороша. Строивший ее не то купец, не то промышленник распорядился увенчать шпиль церкви многогранным стеклянным шаром. Грани этого затейного шара преломляют солнечные лучи, разлагают поток света на оттенки спектра. Обратя взор к маковке шпиля, можно уловить оранжевый, или зеленый, или лиловый, или алый луч. Это сделано для красоты и до сих пор красиво, хотя сама церковь до крайности одряхла, того и гляди шпиль ее рухнет.

Между прочим, эта самая церковь служила первым

прибежищем для каждого ленинградца, переплывшего или переехавшего Ладогу. А было их — миллион! Толстые кирпичные стены церкви спасали блокадников от дьявольского ладожского ветра. Церковь в Кобоне поставлена таким образом, чтобы можно было видеть ее издалека, с озера. Если церкви не станет, Кобона что-то потеряет, а жаль.

Когда я въезжаю в Кобону, меня охватывает такое же чувство, какое я испытал однажды, въезжая в Венецию. Я не хочу сказать, что Кобона похожа на Венецию. Площадь за мостом через Кобонку, конечно, отличается от площади Святого Марка. Но в Кобоне, как и в Венеции, люди подружились с водной стихией так близко, будто они водоплавающие. Вот эта особенная небоязнь воды, должно быть, черта характера жителей как Венеции, так и Кобоны. Впрочем, эта же черта наличествовала и в характере основателей Петербурга...

По старому каналу плывет в широко распертой шпангоутом ладожской лодке смотритель маяка Кареджи Костя Климин. Он плывет, как положено ладожанину, стоя. Стоит он не в корме, а посередине лодки, держит в руках слегу, соединенную с рулем. Стойка у него каменная, чем-то он похож на верстовую приканальную тумбу. Костя саженного роста, лицо его, со скулами-лемехами, под действием ладожских ветров обрело фактуру мореного дуба. Вот о таких своих земляках написал в тридцатые годы Александр Прокофьев шесть песен о Ладоге...

Мы, рядовые парни
(Сосновые кряжи),
Ломали в Красной Армии
Отчаянную жизнь.

Близкое общение людей с водной стихией на протяжении поколений, думается, можно поставить не на последнее место в ряду причин, побуждающих к писанию стихов или красочных полотен. В Венеции — Тинторетто и Гольдони, в Кобоне — Александр Андреевич Прокофьев... (Да простится мне такое притянутое за уши сопоставление: в Кобоне хочется помечтать и пофантазировать.) Строки прокофьевских стихов здесь будто вчеканены в берега каналов, их можно расслышать в ропоте ладожского наката:

О Ладога-малина,
Малинова вода,

О Ладога, вели нам
Закинуть невода.

Смотри, какие ловкие
Идут в набег лихой,
Чтоб хвастаться похлебкой,
Налимовой ухой.

А я в стихах недаром
Чуть свет за слово бьюсь,
Я хвастаюсь амбаром,
Мережами хвалюсь!

Когда же строил кровлю
Для действительных стихов —
Я сам готовил бревна
И уходил за мхом.

И, прибывая дранку
Над каждой строкой,
Я слышал плач тальянки
Над тихую рекой.

В Кобоне есть березы, посаженные Александром Прокофьевым. Осталась еще прокофьевская родня, женщины в этом роду — песельницы и сказочницы; из этого источника черпал вволю поэт. Нынче к неунывающим старушкам навевывается, обирает последки составитель сборников сказок и песен Ленинградской области Владимир Соломонович Бахтин. Он же и автор одной из книг о Прокофьеве и страстный кобонский энтузиаст.

Когда некому стало учиться в Кобонской средней школе (Кобону постигла та же участь, что и некоторые другие села в Приладожье: жители разъехались кто куда), благодаря заботам Бахтина здание школы передали на баланс Литературного фонда. На первом этаже разместили экспозицию, посвященную жизни и творчеству Прокофьева. Здесь же будет экспозиция Дороги жизни, пока что она в местном клубе.

На втором этаже школы, в пустующих классах, летом живут и работают писатели. Впрочем, наилучшее время здесь — это осень, когда пойдут грибы и поубавят свою активность комары.

Летом и осенью в Кобоне людно, на площади у магазина скапливается по несколько десятков автомобилей. Мосты через Кобонку и старый канал давно нуждаются в перестройке, но работы такого размаха не по карману сельсовету. К зиме Кобона пустеет, заметнее становится

каждое лицо. Постоянных жителей здесь совсем немного.

Вот только Костя Климин обосновался жить капитально. Поставил новый дом — сын ему помогал... Куда он поплыл-то? Небось на Ладогу по воду. Такой парадокс кобонский: на многих водах стоит Кобона, а в колодцах солоноватая вода, а в каналах — в старом непроточная, стоялая, в новом духовитая от активного судоходства. В Кобонку стекают с полей растворы и смеси минеральных и органических удобрений. Кобонские жители плавают по воду в Ладогу, — чем дальше от берега, тем слаще ладожская вода. Слаще не по вкусу, а в том смысле, что — ладожская, не с берега, а на глубинах взятая, та самая, про которую говорят, что можно ее заливать в аккумулятор, до того чиста... (Мало ли что говорят и мало ли что куда заливают...)

Весною Костя жаловался на зимних рыбаков: до того избаловались, спасу нет от них, добираются до маяка Кареджи, как ни запирай помещения — взломают; что деревянного есть — сожгут. Стужа-то лютая на озере, и рыбак нынешний лют: из-за этой самой рыбешки собственной жизни не пожалеет. Собирался Костя уходить с маячной должности, поскольку нести материальную ответственность за бесчинства на маяке зимних рыбаков казалось ему накладно и неразумно, да и небезопасно — одному, безоружному, среди пустынных вод. Кажется, Костя уходит с маяка... На нем остаются должности коменданта-истопника в базе отдыха и сторожа в школе.

Все должностные обязанности разделяет с Костей его жена Мария. Это надо особенно подчеркнуть, поскольку жизнь в нынешней Кобоне, да и шире — во всей здешней округе, зиждется на женских трудах, общественных и домашних. Женщины держат тепло в очагах, курится над трубами дым, пахнет жильем...

Председателем Кобонского сельсовета (контора его в Лаврове) — Галина Николаевна Кречетова, женщина видная, статная, в любое время года обветренная, загоревшая на дорожных ветрах. Врачует в кобонском медпункте Анна Дмитриевна Прокофьева, жена двоюродного брата Александра Андреевича. Анна Ивановна Ефимова — просто сельская старуха, каких многое множество в наших селах. Она поет старинные песни. Бахтин их записывает. Однажды он пообещал заснять Анну Ивановну для кино. И правда, машина с киноаппарату-

рой пошла в Кобону, но не дошла: мостки под Лавровом не рассчитаны на большегрузный транспорт. Анна Ивановна после выговаривала Бахтину: зря наряжалась и волновалась...

У Анны Ивановны девять детей, большинство из них в нетях. Дочь ее продавщицей в кобонском магазине. Когда дочь отпускает продукты матери, то бывает с ней щепетильно-официальна, расчет ведет до копейки, не допускает не только кредита, но и каких бы то ни было родственных чувств. Мать немножко заискивает перед дочерью. Я не раз был свидетелем этих семейных сцен в магазине на старом канале. Когда дочь по ту сторону прилавка, а мать по эту, то между ними не только прилавок, но еще, как у нас любят теперь говорить, психологический барьер...

Если попробовать описать, пусть даже самым бедным образом, физиономию современной Кобоны, в прошлом богатого, крепкого рыбацкого, трактового, торгового села, грех бы было не заметить пусть и приезжую, но укоренившуюся в Кобоне, единственно по любви к этому месту, пару Диановых: Виктора и Ларису. Оба они инженеры. У них два выросших в лесах под Кобонной, на Ладогe, сына. Сами они — Лариса и Виктор — провели здесь все свое свободное время. У них обоих такие глаза, какие бывают только у ладожан. Книга стихов Ларисы Диановой называется «Ладожанка»:

Я суровая.
Я — ладожанка.
Мне б ружье
да рыбачью снасть,
Выйти в озеро
спозаранку
Или зверя сторожного
скрасть...

Зерно поэзии, проросшее в кобонской земле или, скорее, в воде, однажды возбудив к жизни кряжистое, ветвистое, с вечнозеленой кроной и мощной корневой системой поэтическое дерево, имя которому Александр Прокофьев, дает ростки и в наши дни... стоит только... В этом месте я прерываю и без того уже затянувшуюся фразу, ибо не знаю, в какой момент, под действием каких природных сил прорастает зерно поэзии, какая почва, особенно благотворна для него. Знаю только, что

душа Александра Прокофьева, вбирая в себя бесконечную новизну обживаемого мира, как уставшая в дальней дороге казарка, то и дело требовала посадки на родную почву, на милые воды и заново жадно дышала, оглядывалась вокруг себя, осознавала себя именно здешней, получившей тут жизнь, выучившейся полету...

Кладбище в Кобоне, то есть за околицей Кобоны, в лесу за дорогой, как всякое сельское кладбище в столетиями обитаемой местности, наводит на мысль не только о бренности жизни, но и о ее не используемых нами ресурсах. Соснам и елям на кладбище, может быть, лет по сто или больше. Не тронутые топором деревья в полной красе и силе, и кажется, что они бессмертны... Ничем особо не выделена на кобонском кладбище, однако заметна могила отца Александра Андреевича, Андрея Прокофьевича. Он был первым милиционером в Кобоне, его убили белобандиты... На кладбище есть мемориал жертв Дороги жизни.

Идучи берегом Новоладожского канала, поросшего рябинами и шиповником, летом богатого земляникой, от кобонского причала на север, к деревне Леднево, спускаешься в глубокую лощину, вырытую в насыпном берегу канала; такая же копань и на другом берегу, в створе напротив. На дне лощины находишь следы уложенных здесь когда-то шпал и рельсов: из Ленинграда сюда вывозили не только людей, но и паровозы, цистерны, целые железнодорожные составы. Вон там, вдали, у Кобона-Кареджинского причала, паровозы съезжали с парома на материк, вот по этой лощине, по уссу, проложенному от причала до станции Войбокало, тянулись к единственной железной дороге, соединявшей тогда Ленинград со страной.

Следов осталось немного, их почти что и нет. Еще пройдет время, следов не останется никаких. А жаль... Если бы в Кобоне был создан мемориальный комплекс устья Дороги жизни (Осиновец посчитаем ее истоком), сюда бы поехали люди не только за грибами или рыбой, но из духовной потребности прикоснуться сердцем к одной из наиболее трогательных и драматических реликвий Великой войны.

И еще бы хорошо запретить в Кобоне охоту (Лариса Дианова пусть бы писала стихи о грибной охоте и о

рыбалке), убрать с Кобонки охотничью базу, чтоб не молотили из ружей на вечерней или на утренней зорьке. Честное слово, звук выстрела кощунствен в этом месте.

Конечно, никто у нас не забыт и ничто не забыто, но у памяти есть своя очередность, выборочность и некоторая медлительность. И надо, чтобы память кто-нибудь настырный, неугомонный постоянно бы индивидуально тревожил и тормозил. . .

Есть в Ленинграде такой человек, Виктор Комлев. Ему уж за пятьдесят, но он необыкновенно легок на ногу, строен. Профессия у него немассовая; он — жонглер, выступает в концертных бригадах, ездит на гастроли, возвращается в Ленинград и принимается неугомонно напоминать, тормозить, организовывать встречи ветеранов комсомольского противопожарного полка, выбивать средства на памятники, отыскивать в фильмофондах кадры о лесозаготовках в Ириновке, Южной Самарке, Борисовой Гриве. Виктор Комлев в блокаду тушил пожары, будучи бойцом комсомольского полка, заготавливал дрова для Ленинграда, ушел на фронт, закончил войну в Гданьске старшиной на торпедном катере.

Природа заложила в него способность жонглировать, балансировать на канате. У него, надо думать, очень совершенный вестибулярный аппарат. Но я никогда не видел его на эстраде. Я вижу его хлопочущим о том, чтобы кого-то, ненайденного, отыскать, чтобы собрать вместе блокадных лесорубок, дать им возможность обняться, повспоминать и наплакаться всласть — и дать уверенность в том, что труды на лесных делянках, как ратный труд на переднем крае, не забыты. . .

Виктор Комлев наделен каким-то особенным даром побудчика памяти, то есть совести — коллективной и персональной. . . Когда он приходит ко мне и рассказывает — без нажима, без пафоса, буднично, деловито — о том, как искал в лесу на месте бывшего поселка Южная Самарка братскую (правильнее было бы сказать сестринскую) могилу девушек-лесорубок, погибших под фашистскими снарядами, как нашел ее. . . тут я чувствую в себе исходящую от этого человека энергию совести. Что-то такое просыпается во мне, я бросаю мои вечно текущие дела и мчусь куда-нибудь в Ириновку, в Борисову Гриву, в Южную Самарку, которой ныне нет. . .

В одном из очерков блокадной поры Всеволод Вишневский писал: «Комсомольцы в ту зиму пошли в снега и леса, и город увидел картины, описанные Николаем Островским, только еще тяжелее, еще суровее была работа комсомольцев-заготовителей».

Как это было? Историю блокадных лесозаготовок, ее действующих лиц, живых и мертвых, едва ли кто лучше знает, чем Виктор Комлев. Поэтому я привожу здесь большую цитату из его журнальной статьи.

«В августе 1942 года в Ириновку приехал оператор кинохроники, заснял ударников леса; кадры сохранились, недавно их показали ветеранам. Оставшиеся в живых, волнуясь, радуясь, узнавали себя и своих товарищей, возвращались в героическую юность... Вот Александра Тетеревкова. В паре с Марией Телятниковой она вдвое, втрое перекрывала мужскую норму. Вот знатные лесорубы Василий Тарасов, Георгий Суворов, Лидия Манько, Алексей Лебедев, семья Александра Андреевича Томзина.

Некоторые из них и сегодня живут в своей замечательной Ириновке... Кинопленка 1942 года запечатлела и вручение переходящего Красного Знамени Государственного комитета обороны директору Невского лесопункта Ивану Семеновичу Ершову. Знамя вручал Герой Советского Союза летчик Преображенский.

Это была большая победа голодных, плохо одетых, в большинстве своем юных лесорубов блокадной поры. Они страстно произносили речи, радовались, получали премии, их поздравляли. Веселые, разъезжались они по своим участкам. Там их ждал праздничный обед. Так было и в Южной Самарке. В столовой накрыли столы, играл патефон. Мастер Рая Никитина выдавала талоны на обед, очередь вытягивалась вдоль забора. Вдруг рядом стали рваться снаряды, ближе, ближе. (Южная Самарка была в двух километрах от линии фронта.) Патефон не доиграл свою песню... Многие погибли.

Через ленинградские газеты я обратился ко всем очевидцам событий в Южной Самарке: твердо решил отыскать могилу погибших, узнать подробности. Писем пришло несколько десятков. Среди них письмо от Анны и Нины Ждановских: «Похоронены девушки были там, где и работали, в Южной Самарке. Знаем, что могила есть, находится в лесу, если нужно, можем показать».

Конечно, нужно. Даже необходимо!

В один из первых майских солнечных дней добрался

до Островков. Здесь живут сестры Ждановские — теперь одна из них Максимова, другая Полонейчик.

Все вместе пошли искать могилу. Долго шагали лесом. Смотрю, сестры немного сдают — тяжело, но терпеливо идут и все рассказывают. Вскоре показалась широкая поляна, разваленная деревянная баня — вот все, что осталось от прежней Самарки. Пересекаем лесную дорогу, канаву с вешней водой. На бугре старая береза. Сестры остановились «Здесь», — тихо сказали они.

Мы постояли молча, вглядываясь в лесную заросль. Холодный ветер мягко трепал прошлогоднюю траву, плавно покачивал ветки березы — очевидно, свидетельницы, подумал я, тех давних горьких событий. В эти минуты хотелось сделать что-нибудь необыкновенное. Пытался представить, как это было в сорок втором году... Прошло уже тридцать семь лет... И здесь ли?

На поляну пришли парень с девушкой. После мы познакомились с ними: Володя и Оля. Они выкапывали березки. Я попросил у них лопату и начал осторожно углубляться в бугор. Володя помогал. Вскоре мы обнаружили останки захороненных. Еще одна потерянная и вот найденная могила войны...

Мы насыпали холмик, убрали его еловыми ветками. Сфотографировали место. Посидели. Сестры еще и еще вспоминали свою молодость, прошедшую здесь, опаленную огнем и студеную, отданную без остатка делу нашей победы».

Все-таки до чего хорошо сохранились эти женщины, всем им близко к шестидесяти, но они полны сил, чувства их не остыли, большинство из них по-прежнему работает. Каждая прожила свою женскую жизнь, но есть что-то в них общее: все они — сильные женщины, они в своей юности сделали такую работу, какая по плечу только сильным мужчинам; и это осталось с ними, в них. В сорок втором году они получили знамя Государственного комитета обороны за перевыполнение норм на лесозаготовках, их выработка в лесу превзошла считавшуюся до того наивысшей выработку архангельских лесорубов. Это очень сильные женщины, обладающие каким-то особым спокойствием силы...

Виктор Комлев предоставляет слово каждой явившейся на встречу. Вначале припоминают тех, кто погиб в

Южной Самарке. Найденная могила — бугор под березой — безымянна... Называют имена: Родионова Тамара, Новикова Анна, Громова Валентина, Степанова Шура...

Я сижу в сторонке, записываю, что слышу. Стараюсь успеть записать. Все это — единственное, вот здесь, на глазах рождающееся, живое.

Подымается женщина. Комлев знает ее, представляет тем, кто не знает.

Нина Михайловна Рачковская:

— Я работаю на заводе «Металлист». И тогда работала, и по сей день... Мы тогда на лесозаготовки на трамвае ехали и пешком шли, по Неве... В бараке нас поселили. Распределили. Уже не помню, как называлось место... В тот день, когда обстрел был, мы возвращаемся из лесу, нам солдат говорит: «Ваш дом горит». Мы прибежали, уже сгорел почти. Что особенно помню, нам было жалко, что там хлеб остался, соль, сахарный песок...

Близко снаряд упал, это когда мы в столовой были. Задержались, нам обещали дать компот. И вдруг — снаряд. Что запомнилось мне: я очнулась, рядом какая-то женщина говорит молитвы. Я неверующая, но повторяю за ней... Она такая бедненькая была...

Потом смотрю — Тамара убитая лежит...

Отец и мать у меня умерли в блокаду. Сестра приехала ко мне, ей тринадцать лет, девчонка. Мастер говорит: будешь собирать черничный и брусничный лист. Потом забыли, что ей тринадцать лет. Звали ее Лида,

Нина Ильинична Комарова:

— Это было двадцать четвертого мая. Нас на машине грузовой привезли в Самарку. Жили мы тогда на чердаке. И были не восемнадцатилетние девицы, а какие-то обросшие чурки. Я пилила с Мухиной Ольгой. На погрузке мы не были, только пилили. Работали с какой-то нечеловеческой силой, даже сейчас не верится. Нам давали усиленный паек, шестьсот грамм хлеба. И табак, папиросы, это мы, естественно, получали. У нас в голове ничего не было, кроме работы.

В тот день, когда знамя вручали, я хорошо помню: уже трибуна пустая, после всего нам талоны на обед праздничный выдали. В столовой в Южной Самарке поещение маленькое, человек шестнадцать пускали. Я в

очереди не стала стоять, пошла к себе на чердак. Тетя Дуся волосы расчесывала, у нее такие большие были волосы. Я вот это помню: тетя Дуся волосы расчесывает, а больше ничего не запомнила. Я очнулась в палатке. Тетя Дуся там была, она уже мертвая, Я вся лежала голая и прикрытая простыней. И вот смотрю — наш секретарь комсомольской организации, тоже лежит.

Потом в больнице в Колтушах — и никому не нужна... (В этом месте Нина Ильинична заплакала.) Вдруг слышу: «Кто из Самарки?» Вижу: Иван Семенович. Он оставляет мне буханку хлеба круглого. Спасибо вам, Иван Семенович!

(Иван Семенович Ершов поднялся, подошел к Нине Ильиничне, они обнялись, поцеловались, и оба заплакали. И я тоже еле сдерживаю слезу. Я помню Ивана Семеновича. В послевоенные годы он бывал у нас дома, они дружили с моим отцом).

Из распределительного госпиталя, — продолжала Нина Ильинична, — я попала в Куйбышевскую больницу. А потом у меня рука не действовала. Ну что же, без правой руки... Височное ранение... А потом уже все. Я уже на лесозаготовки не вернулась. И вся моя эпопея кончилась.

Зинаида Михайловна Темкина:

— Я в Самарке с мамой жила. И в городе с мамой, и здесь, на лесозаготовках... Какой с меня лесоруб? Бревно-то — во! Я и не знала, как к нему подойти. А надо. За перевыполнение нормы давали девятьсот граммов хлеба. Хотелось заработать... .

Болела я сильно, считали, что у меня тиф, а потом говорят: «У вас же голодный понос...»

И мастер у нас был хороший, Шорохов Федор Сергеевич. Он по специальности химик. Мы с ним, бывало, сидим на поленнице, решаем задачки по химии. Я химию в школе любила... .

А помните, девочки, рисовую кашу? Почему-то мне очень запомнилась рисовая каша... .

Как обстрел начался, мы с Ниной Дыбковой куда-то по лестнице бежали. У нас еще эстонки работали: тетя Альма и девочка у нее. Я помню, что эта девочка лежала черная, а она сидела около нее... .

Потом мы жили в палатках,

Мария Егоровна Андреева:

— Я со Второго колбасного, поздоровее была других. Мне было семнадцать с половиной лет. Нас привезли прямо в Южную Самарку, в палатку, елки там подстелены. Меня на погрузку поставили. Деловую мы грузили, двенадцатиметровые, сосну, блиндажи военные из них строили. И шофера у нас были военные ребята.

Я работала с Исаковым Толей, шофером. Не знаю, жив он сейчас или нет, он был гораздо постарше меня. Говорил мне: «Давай жениться». А я ему: «Ой, что ты, сейчас война, блокада, какая женитьба. Вот после войны я в город вернусь, там себе мужа найду».

Он со мной всегда ласковый был и помогал и старался как лучше. Он с другим, тоже военным, шофером соревновался, никогда ему не уступал. Тот десять рейсов делает, а Толя мне говорит: «Давай, Маша, мы двенадцать». И делали. Когда он не в духе бывал, девочки мне говорят: «Ты, Маша, иди, он тебя послушает». Однажды машина у него села, он под колесом копается, злой, а комары на него тучей налетели. Кто-то из девочек сунулся к нему помочь, с веточкой, он на нее рывкнул. Девочки мне: «Ты иди». Я веточку березовую взяла и вот от него комаров отмахиваю. Он посмотрел на меня и ничего не сказал. . .

А мы все до того обносились, у нас юбочки на одной смоле держались. Ватные брюки и ватники нам давали, а больше ничего. После, когда блокаду прорвали, нас уже в Тихвин увезли, там начальником лесопункта был Володин. И у нас такая частушка была:

Мы к Володину ходили
В Ленинград просились.
Отпусти, Володин, в город,
Юбки изнасились.

Я все три года четыре месяца работала в лесу на погрузке, до сорок пятого года.

Когда наш Невский лесопункт знаменем наградили, помню, мы поехали в Зиновьево. Потом вернулись, мы тогда в землянке жили. Вот я взяла судочек, в столовую пошла за обедом. Тут первый снаряд взорвался, дверь в землянку взрывной волной открыло. Я упала и поползла, и кто-то на меня упал, никак мне не скинуть. Когда я ее свалила с себя, она оказалась раненная, правда, не очень тяжело. Ее в госпиталь свезли, после она вернулась, работала. . .

Фронт тут был рядом. Они в нас и пулями стреляли. Мы по машинам садимся; а они: пук-пук-пук. У нашей с Толей машины весь капот был в дырках. А когда первый раз бомбили, я увидела, бомба летит, красивая, на солнышке блестит. Я так и заорала: «Ой, смотрите, какая красивая». Меня мастер вот так за волосы схватил и носом в землю...

Как бы ни было нам тяжело, мы всегда пели, на работу идем — поем и с работы, усталые, чуть на ногах держимся, а фасон держали. Говорят, что вот наша юность пропала. А мы тогда, что называется, полной мерой жили. Все было. И любовь была! Я помню, нам солдат прислали помогать на погрузке. И один у них такой красавец, чуб у него чернявый, во рту золотой зуб. Вот мы с девчонками приуныли. Ой, говорим, девоньки, он обязательно на Зину Темкину клюнет. У Зины ресницы такие густые, и глаза, и телосложение, ну, в общем, правильное, красивая девушка. А после мы их к себе привадили, солдатиков-то, они вместе с нами грузили. Когда интерес есть, и работается лучше. А как же!

Анна Петровна Никитина:

— Мы не ощущали трудностей. Мы знали, что надо показать работу. Денег нам мало платили, нам они и не нужны, только за питание рассчитывала нас бухгалтер, а остальное все шло в фонд обороны. И выработку у нас никто не считал, работали каждая сколько могла. Мы пилили на нет, пеньков не было. На метровку разделявали. И трелевать на себе нужно... В землянках — возвращаемся из лесу — вода... И чтобы кто пожаловался... И никто не болел. И эгоистов не было. Добрее были...

Из обстрела я помню: Шуру Степанову на проволоку забросило. Она висела на проволоке, кричала: «Дайте смерти...» После обстрела мы лучше узнали друг друга. Пережить такое, и на второй день опять с пилами в лес...

А в сорок третьем году Попков нам вручил медали «За оборону Ленинграда»...

Клуб был, на танцы ходили.

Военные нам настолько сочувствовали. С переднего края к нам заходили... Помню, с большим букетом сирени, с переднего края. Один в годах уже был. Придет... Посажу, говорит, у вас, как дома побывал...

Когда уже блокаду прорывать, их куда-то перебазир-

ровали, они к нам приходят, говорят: «Девчата, пошли к нам, заберете кое-что—ватники, портянки...» А мы не пошли, мы такие застенчивые были. Как это, думаем, мы к ним пойдем. После уже, когда они уехали, пошли, подобрали что осталось. Мы же совсем раздетые были.

Валентина Ильинична Новикова:

— Нас человек семьдесят шло по льду тридцать первого марта. И всех потом в одну баню сушиться. А банька маленькая, деревенская. Сесть негде было. Нам дали фуфайки, резиновые сапоги. У меня размер тридцать четыре, а мне дали один сапог сорок три, другой сорок один.

Первое время я была опухшая. Я просто падала в лесу. Не могла привыкнуть к лесному воздуху. Врач говорит: «Поезжайте обратно в Ленинград».

Добралась кое-как в Ленинград, там мне говорят: «Ты дорогу знаешь». Дали мне группу — веди, говорят... .

Пришла в лес, а мне: «Новикова, опять ты?»... .

Помню, суп разбавляла, чтобы больше получилось. Тогда уже меня посадили считать зарплату.

Как сейчас вижу: очередь выстроилась за обедом человек триста. И тут он на нас начал обстреливать. Мы сначала выстрел слышали, а потом уже взрыв снаряда. Я хорошо помню девочку-эстонку, она лежит вся распластанная. И помню, военный ехал на лошади, и его и лошадь разорвало... .

А мы сначала под лавку залезли, потом катились, катились куда-то. Только мы из землянки выкатились, он как дал прямо в эту землянку... .

Алевтина Эдуардовна Сидоршина:

— Я в Южной Самарке и жила. Когда обстрел начался, слышу, снаряд летит. Легла. Очнулась, вся левая сторона у меня отнялась. Я кое-как в дзот залезла. На последней машине меня повезли в госпиталь. Очень тяжелое ранение вот сюда, в левую руку и в бок, и в позвоночник, и в желудок. Осколками меня всю осыпало. Вот, Иван Семенович, спасибо, ко мне в Колтуши приходили в госпиталь... . Это полевой госпиталь. Оттуда меня в Невскую лавру в госпиталь, потом на Греческий в больницу. Потом я была еще на торфопредприятии... .

Иван Семенович Ершов:

— Я хочу внести ясность. Выше Володарского моста движения не было по Неве. Работали они в двух километрах от линии фронта. И армейские, и флотские землянки тут же были.

Двадцать третьего августа нам вручали знамя Государственного комитета обороны. Вручал его летчик, Герой Советского Союза Преображенский, он первым бомбил Берлин...

У нас на участках — в Южной Самарке, Овцыно, Питомнике, Невском лесопарке — работало около двух тысяч человек. Все и приехали, и еще по двести человек с Токсовского, Ириновского участков. И мы решили устроить праздничный обед. Из Южной Самарки приехало около четырехсот человек...

Знамя мы получили и еще премию семьсот тысяч рублей. По сто тысяч мы положили на подсобное хозяйство и культмероприятия. Но вообще-то все эти дела сводились у нас к минимуму: мы же у самого фронта. В общем, каждый получил что-либо из премии, мы старались ее справедливо распределить. Знамя мы продержали два месяца.

Это август — сентябрь, а создали наш Невский лесопункт в апреле сорок второго. Я был назначен начальником лесопункта. И знаете, мы работу там развернули быстро. Кадры наши — женщины, от семнадцати и так лет до тридцати пяти. Мужчин у нас было не более семи процентов. Мужчины-блокадники были более тощие. Труднее восстанавливали здоровье. Лучком работали по двое, но норму мы давали два и шесть десятых кубометра на человека, а когда дело пошло, некоторые выдавали по пяти кубометров.

Это объяснялось прежде всего страстным желанием народа работать. Бывало, приедут с делянки, сами не могут сойти с машины, так уработаются. Приходилось их сваливать с машины. Силы быстро восстанавливали, поскольку молодые. Паек у нас шестьсот — восемьсот граммов хлеба. Каша. Двойную, тройную кашу давали. Каша, правда, не особенно масляная...

Каждый день мы возили лес на Мяглово. Лесозаготовители очень много дали Ленинграду. Пятая ГЭС работала на базе Невского мехлесопункта. «Ленинградская правда» в блокаду не выходила без информации о

делах в лесу. В сорок третьем году был лозунг: «Самая почетная профессия у нас — лесоруб!»

Мария Александровна Ковалева:

— Я была самая старая — двадцать три года. Я была — во здорвая деваха, с хлебозавода...

Василий Степанович Малков:

— Первая лесозаготовительная контора была организована в октябре сорок первого года в Борисовой Гриве — Всеволожская ЛЗК. Директором был назначен инженер Близнецов, меня назначили главным механиком конторы. Механизация состояла в основном из восьми газогенераторных машин. Потом я принимал машины в Ленинграде, их стало до тридцати штук. Машины стояли на улице, бензин для запуска некачественный, газочурка сырая, да и той недостаточно. А потом и бензина для запуска не стало. Мне вместо бензина прислали пихтовое масло. Запуск на этом масле при двадцати пяти — тридцати градусах мороза, даже и с большим подогревом системы питания и картера, даже через буксир и то почти никогда не удавался. А машины надо посылать в лес. Ленинград без топлива...

Я вставал в четыре часа утра, шел в общежитие к шоферам, подымал их на работу. И часов в семь начиналось самое страшное — заводка автомашин, шоферы мерзли, я тоже, но надо завести, я ложился на крыло и регулировал карбюратор, а двое крутили за ручку. И если удавалось завести первую машину, остальных таскали буксиром, иногда последнюю заводили часов в двенадцать. И так каждый день. Такую технологию заводки нужно было изменить, и мы стали оставлять на всю ночь две дежурные машины под «парами». Но и это нас не спасало. Шоферы от недостатка питания быстро замерзали, особенно руки, и уходили к печке в контору. Вот я и крутился, хотя сам был уже близок к дистрофии, начал опухать. Рабочий день был одиннадцать часов всюду...

Станция Борисова Грива была конечным пунктом сообщения из Ленинграда к Ладожскому озеру. Ленинградцев усиленно эвакуировали, люди направлялись на ту сторону озера и зачастую в дороге умирали. Их, умерших, оставляли там, где кто умер, а живые двигались дальше. Сбор и перевозка трупов была возложена на нашу колонну. Нужно было каждую ночь направ-

лять две автомашины для перевозки трупов из района Борисовой Гривы к кладбищу у поселка Ириновка. Днем все машины отправлялись в лес. За ночную работу давали дополнительный обед и четыреста граммов так называемого хлеба. В хлебе было тридцать процентов муки, а остальное отруби, мучная пыль, древесная кора, которую заготавливали мы же. . .

Еду в Ириновку по Дороге жизни, километры на этой дороге обозначены памятными столбами. Дорога с холма на холм, лиственные леса расцвечены сентябрем.

В Ириновском клубе, у станции, собралось лесное воинство — седовласые женщины, ветераны. Это они валяли деревья, распиливали их, тащили чурки на саночках к дороге, соскабливали с сосен кору для хлеба, грузили на машины закочневших в пути своих сестер и братьев по блокадной беде. Работа в лесу, как бы ни была она тяжела и горька, спасла им жизнь, оставила в душах чувство честно исполненного долга перед людьми.

Сижу, слушаю ветеранов лесного фронта. . .

— Ириновка может гордиться тем, что в ней живут лесорубы тех лет. . .

— К нам приезжали корреспонденты. И один, помню, спрашивает: «Как вы собираетесь увеличить выработку?» Но это было стыдно слушать. У нас было полное перенапряжение. Каждый мускул. . . Мы трудились беззаветно. В лес ехали, обратно шли пешком десять километров. Всегда хотели есть, хотели спать. Делали все возможное, даже невозможное. Сейчас нельзя так работать. . .

— Пришли на делянку, показали нам технику безопасности. Дали нам двухручки — лучковых тогда не было. Я взяла топор на плечо. . . Мастер наш Лебедев на меня посмотрел, говорит: «У меня штук двенадцать таких дистрофиков». Прошло время, и у нас появились силы. От овсяной каши. Это была такая радость — горячий суп. Некоторые ехали такие старухи. И мы опять стали девушками, по двенадцати кубометров давали.

— Я был пацаном. У нас было с братом тридцать лет на двоих. В первую очередь шли работать на лошадях. Вы рубили, а мы возили. У нас бригада была сколотивши прекрасно. И мне, молодому, шестнадцати лет мальчишке, доверили ту бригаду. Была, как бы гово-

рится, военная демократия. Все жили мирно, хорошо, никто не ругался...

Поздней осенью мы с Виктором Комлевым поехали в Южную Самарку — вдоль Невы, правым ее берегом, на встречу току похолодевшей, потяжелевшей невской воды. В поселке кирпичного завода имени Свердлова свернули налево, обогнули сельское кладбище. Кругом было ровное низкое место, все занятое прямоугольными бассейнами, наполненными голубоватой, будто подкрашенной водой. Тут брали глину для кирпича, карьеры и превратились в бассейны. Подсевший к нам в поселке председатель Свердловского сельсовета Леонтий Кириллович Федюкович объяснил, что бассейны проточные, подлежат зарыблению. Дорога шла перешейком между бассейнами, близко к воде, тут и там виднелись прилаженные к берегам здешними мальчишками трамплинчики для ныряния в эту, должно быть, и летом студеную голубизну.

Потом мы въехали в лес — березовый, осиновый, ольховый, еще повернули влево и оказались на большой поляне, которой, судя по всему, тоже в недалеком будущем предстояло стать лесом. Фундаменты бывших здесь когда-то строений заросли березками и кустами бузины, неизвестно откуда являющейся рядом с человеческим жильем.

— Здесь, — сказал Виктор Комлев.

Председатель сельсовета подтвердил:

— Здесь.

Свидетельницей жизни и смерти Южной Самарки могла быть разве что только старая, треснувшая вдоль ствола береза. Под березой и был насыпан могильный холмик. Весной Виктор Комлев его подсыпал и разровнял, укрыл еловыми лапами, благо ельники, возросшие под пологом лиственного леса, густо, молодо щетинились вокруг.

Один конец кумачового полотнища мы прибили к старой березе, другой к молодой. Полотнище привез с собой Виктор Комлев, на нем написано было: «Здесь похоронены героические защитницы Ленинграда, погибшие 23 августа 1942 года». Звук от удара молотком по гвоздю двоился, троился. Как будто настоявшаяся тут с войны тишина обрела плотность и звонкость металла. И звук отскакивал от нее,

ГРИБЫ ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ



С утра сеялся обложной мелкий дождь, я поглядывал в окно, ждал у моря погоды. Не у моря, а у Ладожского озера: оно урчало, невидимое, но хорошо слышное мне. Идти, не идти за грибами? Может, и грибов уже нет: октябрь на дворе? ..

Натягиваю резиновые сапоги, надеваю брезентуху, втыкаю нож в корзину. Иду.

За околицей повстречался с тремя грибниками. На доньшках их корзин сиротливо мотались ситники и козлята. Грибники, должно быть, на катере, с ночи, из города в лес. Иронически посмотрели на меня, полагая, что уж раз они ничего не нашли, то я и подавно. Да и правда поздненько. . .

Но чем глубже я погружался в лес, чем глуше доносился до меня вой моторок с Новолadoжского канала, тем явственней слышались ропот осин, шурханье падающих листьев, покряхтыванье старых сосен, перешептыванье молодых березок, тем сильнее охватывало меня предчувствие чего-то хорошего, что должно случиться, — осуществления моих желаний. Даже и небо вдруг засинело, и солнце вышло, и лес стал цветным. Желал я в тот день одного: набрать — ну не белых, так подосиновиков, подберезовиков, на худой конец моховичков, маслят, сыроежек. . .

В лесу поздней осенью меньше крика, ауканья, чем бывало, зато подальше идти от гриба до гриба. И не к чему суетиться, рыскать. Лучше всего сделать шаг и по-

слушать, и пристально оглядеться, где осиновый лист, а где такого же цвета шляпка подосиновика. Гриба не увидишь, пока он сам не сыграет с тобой в гляделки. Грибы умеют смотреть в глаза грибнику. Не каждому грибнику...

Так я шел, медленно втягиваясь в жизнь леса, переступая из сквозных березняков в мглистые ельники, затравившие ольшаники, редкие сосняки и матерые осинники. Впрочем, все это перемешалось, вместе росло, переходило одно в другое. Леса к тому же были иссечены канавами-осушителями, изрежены квартальными просеками. Грибы пока что не попадались, и я уже заскучал. Как вдруг увидел между двух зеленых моховых кочек дымчато-серую спинку зайца. Заяц не шевелился, но по какой-то чуть уловимой дрожи шерстинок было заметно, что заяц тоже видит меня. Заяц молоденький, прибылой. Подрожал и покатился серым катышем, но оглянулся. Я ему подмигнул.

Встреча с зайцем развеселила меня не меньше, чем если бы я напал на семейство грибов. Интересно, что будет дальше? Иду по лесу, как книгу читаю, что ни страница — то зверь, то птица. Книга большая, время в лесу такое же долгое, как дорога солнца: снизу вверх от востока к югу и сверху вниз с юга на запад...

На широкой прогалине у канавы остановился, что-то такое услышал — ага! — это серые гуси: клонк-клонк-клонк... Откуда-то из лесных глубин, будто кверху, к зениту летя, появился гусиный широкоугольник. И так он был широк, что гуси, летящие по краям, должно быть, не слышали вожака, потеряли с ним связь. Строй начал ломаться, в перестроении был порядок: гуси сдвигали ряды, как солдаты на плацу. Вскоре из одного широкоугольника получились два, вершина в вершину, клин в клин, с параллельными сторонами, в две шеренги. Гуси переговаривались во все небо о чем-то очень важном для них. Может быть, старые поучали молодых, впервые летящих в ряду большой стаи, за тысячи километров, как надо лететь, кому какое положено место в строю.

Послушал гусей, проникся важностью их беседы. Поднял голенища сапог, перебрался через канаву, прохлюпал по болоту, покатал во рту пронзительно кислую, а все же сладкую клюквину, очутился в сосновой гриве. Еловых, березовых или осиновых грив не бывает в лесу,

бывают только сосновые грибы. У сосен хвоя — как конский волос, жестка и долга.

О грибах я теперь не думал, хотя не пропускал ни волнушку-кокетку, в розовой с вуалью шляпке, ни смуглую, ломкую, пропитанную горьким молочком горькуху, ни моховика в твердой каскетке с плюшевой подкладкой, ни маслят-лягушат, ни одрябшего на дожде, но стойкого подберезовика-обабка, ни вылупившуюся из зеленого мха сыроежку, матрешку в алой косынке...

Сосновая грива у края болота вдруг живо напомнила мне одну глухариную ночь — весеннюю ночь на току.

Глухарь — большая, красивая, скрытная птица, с длинноперым черным хвостом-веером, с горбатым костяным клювом, с ярко-красной кровавой бровью. По веснам глухари поют на своих токовищах, в глуши, в сосновых гривах среди болот. Слетаются с вечера в заведенное место, ночуют в вершинах деревьев, перед рассветом начинают щелкать клювами, шипеть и фырчать — такая песня у них. Кополухи-глухарки летают над ними и квохчут, распалют певцов. Распаленные, петухи дерутся на кочках. Любовь глухарки надобно заслужить: вначале пленить кополуху песней, потом еще взять верх в бою над соперником. В любовном пылу глухари становятся глухи и слепы. Они поют, а их охотники бьют...

Однажды мой старший товарищ привел меня на Медвежий ток. Ток назвали Медвежьим потому, что место было медвежье: весной медведи тут подкрепляли свои ослабшие за зиму силы подснежной клюквой. Мы сделали табор вблизи токовища, нарубили сушняку для большого костра на всю ночь, из соснового лапника соорудили пышное ложе, натянули на колья брезент, чтоб не дуло, приладили над костром таганок, принесли болотной снежной воды. Табор вышел на славу, и место хорошее, верное место для тока: большое болото — за сутки не обойдешь, на болоте песчаные гряды, на грядах матерые корабельные сосны; у оснований гряд пади с неунывающей вешней водой, заросшие черемушником, с завалами подмытых стволов. Ноголомное место, не всякий доберется в эдакую глушь. Легкодоступных глухариных токов не бывает: они давно уже распуганы и разбиты...

Мой старый товарищ хорошо знал топографию Медвежьего тока, а я пошел познакомиться с местностью — вечером засветло, чтоб, идучи на ток перед рассветом, не заплутать. И нужно было послушать прилет глуха-

рей. Они прилетают с заходом солнца. Посадку их можно услышать по хлопанию крыльев. Услышишь посадку, знаешь, куда идти.

Только избави бог нашуметь на току. Когда глухари прилетят и рассядутся над тобой — замри, жди, покуда они уснут. Тогда уж выбирайся к табору. Солнце к той поре сядет и не поможет тебе. Местность вся переменится, станет другая, чем по дороге на подслух... Протоки окажутся неперебродными, чащи непролазными, болота зыбкими. И заухает филин.

Идя на ток от табора, я, конечно, наметил — по солнцу — путь возвращения. Для верности вырывал листки из блокнота, нанизывал их на ветки, провешивал путь.

На току отыскал ствол палого дерева, сел на него, как петух на насест, и набрался терпения ждать. Достал блокнот, собрался записать приходящие мысли. Самые важные мысли приходят в лесу, на подслухе, на глухарином току: ты становишься как антенна, настроенная на все волны мира, улавливающая не только звуки и речи, но даже подспудные вздохи, биения, писк. Блокнот я достал, а листов-то в нем не было, все по сучкам развесил. Я мельком подумал, что это леший-лесовичок подшутил надо мной. Он любит поиграть с новым человеком на своем болоте...

Солнце садилось, лес наполнялся идущим сбоку и снизу рябиновым светом. Как в гулком, хорошо резонирующем концертном зале, красиво, торжественно пели дрозды, не перебивая друг друга, подражая то горлинкам, то соловьям. Высоко в небе проблеял козодой, мало кем виденная лесная вечерняя птица.

Глухари почему-то не прилетали. Иногда они приходят на ток пешком, поклевывая клюковку и брусничку, поглядывая круглым глазом. Мне приходилось играть в гляделки с глухарями-ходаками. Когда у них сложены крылья и хвостица, они кажутся меньше, чем на лету или на суку во время токованья. Идут вперевалочку, не боятся тебя, если ты, как коряга, нахохлился, замер. Они в сумерках малость подслеповаты, у них куриная слепота...

Отсидев неподвижной колодиной два с половиной часа, я почувствовал, что терпенье мое истощилось. От солнца осталась кайма зари. Дрозды один за другим умолкали. Я встал, принялся разминать одеревеневшие до хруста члены. В это время и налетел глухарь, отку-

да-то сзади, из-за спины. Уселся прямо надо мною, на сосне, долго устраивался на суку, слегка пощелкивал клювом. Я стоял в неестественной позе, полусогнувшийся-полупрямой. Часы показывали десять. Глухарь мог прободрствовать еще час-другой. . .

Так я и остался изображать из себя лесную диковину, корень-выворотень. Глухарь у меня над головой по-маленьку приготавливался посмотреть свои сны. Я замер — что оставалось мне делать, вопрос был поставлен ребром: кто кого? О чем я думал тогда? Не помню. Скорее всего, я стискивал зубы, прикусывал донимавшие меня поползновения бросить, плюнуть, уйти. Для чего-то мне надо было перехитрить, перестоять этого глухаря. Кто я такой, в конце концов, лесной человек или. . . Я по-всякому обзывал себя, чтобы разозлить. О том, что нужно убить глухаря, я забыл. Возможно, забыл и о том, кто я есть, для чего стою согнувшись в три погибели. Ноги все глубже уходили в мох, под мхом ледяная вода. Солнце село, погасла заря.

Я вытащил одну ногу, иначе упал бы. Под ногой чазкнуло. Глухарь не ворохнулся. Я вытянул вперед руки и — по маленькому шажочку — куда-то побрел. Ориентиров не было никаких. Листки из блокнота, нанизанные мною на сучки, должно быть, снимал мой леший-лесовичок. Он вел меня по мху, то окунал в мерзкую жижу по пуп, то совал в глаза какие-то дьявольские метлы, то кидал под ноги чурку, чтоб я чебурахнулся носом в грязь.

Табор с его ровно горящим жарким костром, булькающим на тагане чайником, съестными припасами, сухими шерстяными носками, охотничьими байками моего старшего товарища был где-то рядом. Но местность, по которой я брел, ничем не напоминала мне ту, какую я видел недавно. На исходе сил (вообще-то силы еще оставались, я знал, что мне их хватит до утра, и ничуть не боялся) я уперся в крутой склон песчаной гряды. Таких крутяков и не было тут. Зато под ногой стало твердо — и то хорошо. Я влез на вершину, надеясь сверху увидеть костер нашего бивака, но мой леший-лесовичок посчитал, что еще не время меня отпускать. Костра нигде не было видно. Ничего другого не оставалось, как разводить свой костер. Достал из кармана спички и сразу почувствовал что-то неладное. Всего одна спичка болталась в пустом коробке. Куда делись спички? Ведь

были... Лесовичок опять меня ставил в тупик, однако давал один шанс. Одну спичку...

Надо было еще раз решить, кто кого. Уж тут-то я постарался, надрал бересты, насобирал в потемках сухих веточек. С трепетом вычиркнул спичку — огонь занялся, побежал, родился сладкий берестяной дымок. Образовался круг света, в кругу полно дров.

Мне стало жарко и до того хорошо, что лучше и не бывает.

Ухал филин, пугал, но я не боялся его. На небе вошла луна. Что-то такое несурзное прокричал на болоте заяц: ба-ба-ба-ба! Это был влюбленный, весенний заяц, он звал зайчиху взволнованным, незаячьим голосом. Я спустился к подошве гряды ипил, как лось, из болота.

Сна не было ни в одном глазу. Я жил этой ночью, лесом, весной, слушал ночь, дышал ее свежестью, грелся у ее огня, и мысли приходили такие (жаль, не на чем было их записать), как в юности. Я думал, какое мне выпало счастье родиться вот в этой стране, где можно вдруг потеряться в лесу — и остаться один на один с мирозданием на целую ночь.

Первым повестил о приближении рассвета, как и положено ему, своим хорканьем вальдшнеп. Проиграли на медных горнах зорю журавли, забормотали, зачуфыкали тетерева, затенькали болотные птицы. Из вершины сосны, под которой я ночевал, громко хлопая крыльями, вылетел глухарь. Зорю, что ли, проспал? Или решил пересидеть меня, как я вчера перестоял его собрата?

Заря занялась вполнеба, поди угадай, где восток, в каком именно месте изволит явиться красное солнышко. Нечистая сила еще поводила меня по болоту. Я даже был благодарен ей: что может быть лучше, чем хрупать по заиндевевшей болотной корке, обирать с кочек сладкие клюквины-леденцы?

Стоило солнцу показать закраину, и мне стало ясно, где я. Нашлась и провешенная листками из блокнота дорожка к табору. И валежина, на которой я ждал глухаря... Вокруг нее были набросаны спички: покуривал — чуть не остался на ночь в лесу без костра.

В то утро, помню, я дал себе клятву бросить курить. В последний раз закурил на таборе, он оказался тут же, под боком. Костер давал жару настолько, чтобы греть пятки моему старшему товарищу. Он подремывал. Увидев меня, встряхнулся, принялся заваривать чай. По

обычаю много жившего человека, он не стал задавать мне вопросов, а сам объяснил, где я был в эту ночь. То есть предложил наиболее вероятную, по его опыту, версию моих ночных приключений. «Наверное, близко глухари сели, вы не захотели их пугать, остались в току...» Я согласился с этой версией. Так оно, в общем, и было.

«А я не слышал ни одного глухаря,— сказал мой старший товарищ.— Должно быть, переместились куда-нибудь. Или кто-то до нас побывал, спугнул...»

Я-то знал, что глухари как были на Медвежьем току, так и есть, и будут еще. Но я также знал и то, что мой старший товарищ состарился и нуждался в поводыре на току и надеялся на меня...

На обратной дороге с Медвежьего тока мы нарвали веток зацветшего волчьего лыка, набрали сморчков...

В осеннем лесу, в сосновой гриве, исхоженной вдоль и поперек грибниками и ягодниками, высматривая во мху и в палой хвое грибы, я думал о глухарях, силой воображения воскрешал события той ночи, проигрывал разные варианты и ходы. Вот если бы я, например, заметил того глухаря, второго?.. А если б вернулся к тому, первому...

Я думал о глухаре, и глухарь вдруг слетел с оборванной дочиста брусничной кочки, поднялся и пошел, далеко впереди себя неся маленькую голову с кровавой бровью.

Откуда он взялся, куда полетел, чем жив в безъягодных наших пригородных лесах? В последние годы мы с таким усердием накупнулись на бруснику и клюкву, как будто изголодались. Почти ничего не оставили тетеревам с глухарями и рябчикам...

На просеку вместе со мною вышла лосиха. Я стал подвигаться к ней ближе. Она поджидала меня. В глазах ее не было страха, она не боялась меня. Мне захотелось погладить лосиху по холке, но так далеко наше с ней знакомство не зашло. Звери не допускают панибратства...

В осинниках я нашел-таки подосиновики, в березняках подберезовики, на опушке бора, смыкающегося с травянистой мокрой луговиной, набрал маслят. Я не рыскал, не торопился, не жадничал, не аукался, не привередничал, брал и горькухи, и сыроежки,

В местах, откуда родом моя мама, в Демянском районе Новгородской области, сыроежки зовут горянками. Моя мама брала горянки, умела их так засолить, что бывали они повкуснее волнушек. Сжаренные в сметане с луком, они хрустели на зубах, хруст отдавался трещанием за ушами. Я брал сыроежки и вспоминал о маме. Говорят, что счастливое время детство. Или отрочество. Или юность. Но забывают, что источник счастья один у каждого человека, во все его времена — это мама...

Только свиных я не брал: не люблю я их, чумазых, тупоголовых. Хотя свиных у нас величают «черными груздями».

Я шел вдоль опушки, по левую руку от меня было песчано и сухо, по правую мокро и хлюпко. И вот здесь-то, меж бором и лугом, оплетенный осокой, высокорослый, с коричневой шляпкой, на толстом корне, вдруг мне явился белый гриб. Сначала я подумал, что это масленок-переросток. Но это был белый. И нечервивый. Мой леший-лесовичок-насмешник за что-то вознаградил меня щедрым подарком.

Грибы поздней осенью скрытны, но если их хорошо поискать — можно перемигнуться с зайцем, послушать гусиные речи, налюбоваться летящим над соснами глухарем, заглянуть в глаза лосихе.

Я вернулся в Кобону с полной корзиной грибов. Грибы поздней осени особенно дороги, сладки, хрустят на зубах.

ПО ТРОПИНКАМ ПОЛЯ СВОЕГО



ЛЕГКИЙ ПОЛЕВОЙ ОБЕД

1.

Председатель надел очки. Его глаза с годами сделались дальнозоркими. Так и должно быть. Побаливала печень, но сносно, терпимо. Ноги пока что носили. Потом, когда закончат уборку в колхозе, ноги могут и отказаться, с ними бывает, а в страду «все системы работают нормально». Разве что только нервы пошаливают, но это зависит от ветра. Четвертые сутки дует северный ветер. Он неопасен, пусть дует. Сколько может еще продуть? Сегодня похоже, что утихает. С утра в природе воцарилось какое-то раздумье, будто завязывалось боренье подспудных сил. Вдруг переменится ветер, задует с юга? Южный ветер приносит беду... Председатель сощурился на мгновенье, почувствовал, как задрожала кожа у глаз. Он распустил кожу и улыбнулся. В общем, нервы пока что тоже слушались. Сказал:

— Нам надо одну победу.

Сидевший слева у торца большого председательского стола парторг говорил в это время о том, что надо сфотографировать для итоговой выставки не только механизаторов, но и работников идеологического звена. Председатель сидел набычась у себя за столом в кабинете, слушал, чуть-чуть улыбался, но был он еще где-то вовне, далеко.

— Нам надо одну победу, Николай Александрович, — сказал председатель. — Уберемся, тогда...

Глядя в лежащую перед ним утреннюю сводку, он

положил на счетах одну цифру, другую, третью, что-то помножил и поделил.

— Значит, так. Берем сумму общего намолота — вал. Так, так, так... Округляем общую площадь... Так. Что получается? Получается, что уже на сегодня мы имеем по двадцать четыре центнера с гектара на круг. Если с оставшихся двух тысяч гектаров мы возьмем хотя бы по двадцать центнеров... А если?..

Председатель нажал тумблер рации. Рация зашкворчала.

— Девятый, девятый, девятый! Я — первый, я первый, я первый. Белкин, как меня слышишь?

Из шкворчания рации вылучился охрипший, обветренный, степной голос агронома Белкина:

— Слушаю, Антон Григорьевич.

— Это хорошо, что слушаешь, Александр Васильевич. Как «луганская»? Какую дает урожайность?

— В основном по тридцать семь центнеров.

— В основном... А точнее? По виду больше, чем на двадцать пять, она не тянула.

— По тридцать семь, Антон Григорьевич.

— А ты возьми рогульку, побегай, померяй, как бывало, помнишь, бегали?

— Меряли. Тридцать семь.

— Ну хорошо, Александр Васильевич. Спасибо. Четыре-пять дней нам осталось. Давайте поработаем.

В шкворчание рации вдруг сам собою, незванный, встрял чей-то страдающий голос:

— Антон Григорьевич! К нам шесть жаток пришло из «25 лет Октября». У них режущие аппараты негодные для нашего хлеба. Они у себя привыкли верхушки срезать. Я их отправляю обратно.

Председатель вдруг закричал так, чтоб всем было слышно, на всех полях колхоза «Восход» со стрекочущими на них жатками, жующими колосья комбайнами, пылящими по дорогам машинами, пасущимися на отаве, на сопках, на кукурузном жнивье стадами, на всех шести механизированных токах с рушащимися в чрева веялок и сушилок лавинами твердого, сильного пшеничного зерна:

— Прекрати партизанить, Шишкин! Если отпустишь жатки, ты у меня полетишь из колхоза. У нас нет времени. Сегодня не кончим жать, завтра можем остаться без хлеба. Ты меня понял, Шишкин?

В ответ шкворчала рация,

Председатель, мгновенно вспыхнув, дав нервам потрепыхаться, теперь остывал.

— Регулируйте режущий аппарат. Пошли техничку, на складе у нас должны быть три инструмента. . .

— Три есть, Антон Григорьевич.— Это Иван Иванович, заместитель. Он слышал разговор председателя с агрономом Воронежского отделения. Все слышали, все четырнадцать восходовских раций не только внимали голосу «первого», но и улавливали его оттенки.

2

Антон Григорьевич Афанасьев, председатель колхоза «Восход» Змеиногорского района Алтайского края, председательствующий в «Восходе» с самого дня его воссоединения с соседним «Мирным трудом» в 1964 году, спустился со второго этажа недавно выстроенной конторы (кирпичи сами делали и железобетон научились сами изготавливать). Первое, что он уловил; это ветер. С утра было стихший, ветер опять разгуливался, с севера заходил к востоку. Дальнзоркие глаза председателя разом увидели ярую желтизну тополей на берегу реки Корболихи, багряные пятна рябин в чуть пожухлых березняках, в лиловатых зарослях таволги и калины по склонам сопок, ближе к вершинам, а ниже — лоскуты густо-черной, только что вспаханной зяби и глубокую нежную прозелень взошедших озимых. И много, много еще было необмолоченных валков на полях, — валки побурели; председатель на глаз ощущал их тяжесть, созрелость, наполненность зерном. Восходовские комбайны медленно, на первой скорости, подбирали валки «харьковской-46», «алтайки», «луганской», цидинской пшеницы «грекум», не роняли ни колоска.

Шел двенадцатый день уборки. Оставались две тысячи гектаров. Небо было таким ослепительно-синим, лучезарным, каким бывает оно над Алтаем в погожую хлебную осень. Дул северный ветер-помощник. «Еще бы пять дней! . .»

За Корболихой в распадке два трактора, натужно урча, уминали горку кукурузного силоса. По дороге из Березовки в Карамышево резво бежали машины, везли на сдачу бычков. Машин, слава те господи, нынче хватало и на уборке, и на других работах. Да и машины какие: одна к одной, на подбор прислали из Барнаула «зилки», и, что особенно радовало председателя «Восхо-

да», — водители все в годах, степенные, работающие, в рот не берущие и маковой росинки. . .

Поверили в восходовский хлеб. Да и как не поверить? В семьдесят втором, с летними дождями, с устойчивой осенью, урожайном году «Восход» прогремел на весь Алтайский край рекордной цифрой урожая: двадцать семь центнеров. Хлебным выдался и семьдесят пятый. Выйдя на первое место в крае по урожайности зерновых, колхоз «Восход» в последующие годы или сохранял его за собой, или немного уступал соседу — колхозу «Россия».

Ордена Ленина колхозу «Россия» вроде как и по штату положено быть впереди, настолько крепко, отлажено, прославлено это хозяйство. И если «Восход» высовывался хотя бы на центнер с гектара по урожайности, то председатель «России» Герой Социалистического Труда Илья Шумаков принимал свои меры.

Антон Афанасьев тоже не ждал у моря погоды, не тот человек. . .

Про Илью Яковлевича Шумакова еще говорят, что он самородок. Про Антона Григорьевича такого не говорят, он десятью годами моложе, — председатель иной генерации, нежели Шумаков.

Урожай 1979 года сулил «Восходу» большую победу. Антон Григорьевич Афанасьев уже ощущал ее подъемную силу. Всего оставалось день-полтора работы: обмолотить валки «харьковской-46» на трехстах гектарах. Именно тут-то и выпал снег и ударил мороз. Поскольку дело было не на Кубани, а в предгорном Алтае, триста гектаров необмолоченного хлеба ушло под снег. Можно бы обмолотить остекленевшие от мороза колосья, но председатель «Восхода» решительно воспротивился этому: «Я так не могу, чтобы над хлебом издеваться. . .»

На перезимовавшее под снегом хлебное поле весной Афанасьев послал комбайны. Намолотил чуть не по двадцать центнеров на гектаре. Результат этот нигде не записан, никем не учтен. Взятое по весне зерно пошло на фураж, оно хорошо сохранилось под снегом в морозную зиму, его скормили скотине, уткам на недавно заведенной — заботами председателя — утиной ферме.

В начале зимы, то есть в конце того злополучного для восходовцев года, Антон Григорьевич Афанасьев лечился на минеральных водах, по дороге домой заехал ко мне в Ленинград. Я повел его первым делом в Большой драматический театр посмотреть «Энергичных людей»

Шукшина. Всем нам Василий Макарович Шукшин доводился любезным сердцу соотечественником, а Антону Григорьевичу еще и земляком.

Спектакль алтайскому председателю чрезвычайно понравился. И мне тоже, хоть я его в третий раз смотрел. За лишним билетиком стали к нам обращаться, едва мы пересекли Невский. И актеры в этом спектакле играли — дай бог! Назову только Лебедева с Лавровым... И главное, было хорошим актерам в этой пьесе как-то просторно. Не то что, бывает, тянут резину от реплики до реплики... Тут можно было артистам вступить в сотворчество с драматургом и режиссером, то есть пожить на сцене той самой жизнью, которая рядом, за театральным порогом, да и в нас самих тоже, артистах и неартистах. Разве нас не толкали локтями «энергичные люди», разве не наступали на любимые наши мозоли, разве нам не хочется свести с ними счеты — хотя бы в театре? Можно было играть по пьесе Шукшина водевиль, или комедию нравов, или социально-психологическую драму. Смешное соседствовало с печальным, как это бывает в настоящем искусстве. Да и в жизни.

Когда мы шли по Фонтанке домой, дыша мокрым воздухом, хлюпая по снежной каше, Антон Григорьевич вдруг присел на каменную тумбу — на таких тумбах, я помню, сживали в пятидесятые годы питерские дворничихи в тулупах... «Не могу идти. Ноги отнимаются». Пришлось ловить машину...

3

Весною 1980 года над головою председателя «Восхода» собирались тучи и на душе его кошки скребли. Районные власти нервничали по поводу восходовских дел. И ходил Афанасьев, приволакивая правую ногу...

В общем, не было мира под оливами. И оливы на колыванских горных грядах не росли, а дыбились облизанные ветрами, оглаженные лбы и бабы — не то что сады камней, а целые гранитные или диабазовые городища. Росли осины, березы, тополя, кусты шиповника, таволги, калины. На обращенных к югу крутых непаханных склонах в июне зацветала клубника. Синеющие вдали хребты приманивали к себе таежной мощью, красотой и тайной...

Плохо начинался сельскохозяйственный год для Антона Афанасьева, так плохо, что хуже и не бывало за

все двадцать лет председательства. Казалось ему в иные минуты, что сил больше нет тянуть эту лямку. Все вложено в землю: здоровье, жизнь... Кто бывал в такие минуты рядом с председателем «Восхода», мог услышать произносимые им монологи, как крики души: «Машин бы у меня было столько, сколько иным дают, и я бы хлеб не пустил под снег. А то... Такую махину хлеба выращиваем, так помогите его убрать. Ведь хлеб-то — наш общий, народный, государственный!»

В памяти восходовского председателя хранится и такой случай. Однажды он мне поведал его. Пришла раз в кабинет к Афанасьеву старая скотница Пелагея, извечная безотказная труженица, и говорит: «Лежала я, Антон Григорьевич, нынче в больнице, в Барановке (отделение Змеиногорской районной больницы находится в селе Барановка, на усадьбе колхоза «Россия»), давление у меня, гипертония... Как-то, день погожий, я на лавочке сижу, на солнышке греюсь. Мимо, вижу, идет Илья Яковлевич Шумаков. Я поднимаюсь, говорю: «Здравствуйте, Илья Яковлевич». Он мне: «Здравствуйте». — «Ну как, говорю, поди уже отсеялись?» — «Отсеялись», — он мне говорит. «Так это вы, говорю, и уборку закончите раньше всех». — «Раньше всех, говорит, закончим. А как же иначе? Это некоторые, говорит, по весне хлеб молотят...» Прямо так и сказал. «А закончите первыми, — я ему говорю, — другим-то помогать будете, которые не управятся, как вы? Вон у вас комбайнов да машин сколько». — «Будем помогать, — он говорит, — тем, кто того заслужил». — «А «Восходу», — я говорю, — помогать будете?». — «Нет. «Восходу» не будем». И пошел».

Закончив этот рассказ, Антон Григорьевич посмеялся: «Вот какой у меня сосед, лучший друг».

Смеется он хорошо, заразительно. Зубы у него пока что как репа. К слову надо сказать, что вообще природа наделила Антона Григорьевича поистине сибирской силой и статью. Мужик он рослый: косая сажень в плечах, держится по-военному, прямо (служил семь лет в армии, успел в Маньчжурии повоевать). Волосы у него густые, темные с сединой, кудрявые. Глаза такого цвета, как вода в Колыванском озере, — зеленоватые, с маленьким зрачком, остро сфокусированным взглядом, дальнозоркие. Глаза степняка. Родом он из степной предгорной алтайской деревни Варшава (должно быть, ссыльный поляк основал), до армии жил в Савушке,

на берегу Колыванского озера. Отца его, колхозного вожака, не стало в тридцать седьмом году. Детей у матери было четверо. Братишка и двое сестренок — младше Антона. Антон остался кормильцем в семье. Потом ушел в армию. Вернулся домой, работал в геологоразведке. Сельскохозяйственные кампании — сев, уборку — проводил в колхозах в должности уполномоченного райкома. Направили в сельхозтехникум, закончил его с дипломом агронома. Работал парторгом в колхозе. И — председателем.

Слабость в ногах у него от профессиональной шоферской болезни — хондроза: в страдное время Афанасьев накручивает за день, сидя за баранкой «уазика» (после большого хлеба семьдесят второго года дали «Волгу»), до двухсот километров и больше, как столичный шофер такси. На машине он ездит как на коне, будто не он машину ведет, а она сама знает каждую рытвину, камень, буерак. Ездит не только по дорогам, но и по стерне, по кукурузному жнивью, переезжает вброд ручьи и Корболиху, переваливает через каменистые хребтины. Его личный шофер — он называет его «мой Петька» — в страдную пору или пашет, или сеет, или убирает сахарную свеклу на гедезровском, белого цвета комбайне.

В полях колхоза «Восход» всегда дует ветер (хорошо, если северный). За двадцать лет шоферской работы в предгорной продутой степи едва ли какой водитель уберется от хондроза-радикулита. Не уберется и председатель «Восхода», всласть наездившийся по этим полям. Но болезнь у него зависит не столько от погоды и наезженного километража, сколько от состояния дел на полях, то есть от хлеба. В годы большого хлеба, если хватает техники для уборки, выстаивает погода и цифра урожайности получается круглее, чем в «России», Антон Григорьевич на ноги и поясницу не жалуется.

4

Председатель шел по улице Карамышева, из конторы в гараж, в десятом часу утра — единственный проходивший в опустевшем, примолкшем, будто зачарованном большом селе: крестьяне все на уборке — в полях, на токах.

Селу становилось тесновато в расселине между сопкок, оно разбрелось по распадкам: все улицы в Карамы-

шеве кривы, горбаты. Попробуй его собери, перестрой, подчини какому-нибудь генплану. Говорят, что заложено было село в восемнадцатом веке, в демидовские времена, рудознатцем Карамышевым. Ставя первую избу будущего поселения, первостроитель руководствовался не удобством ландшафта, а близостью к драгоценному минералу, звон коего доносился в те времена до самых столиц Российской империи...

К зданию новой колхозной конторы примыкал прекрасный пустырь, уже вспаханный, пока что огороженный штакетником,—выкопанные в колхозных мастерских чугунные решетки для будущей ограды лежали тут же. «Уберемся — доделаем... Саженцы заказали в питомнике в Барнауле. Посадим парк, чтобы память осталась о нас...» — так председатель «Восхода» говорил гостям и мне в их числе.

Левое крыло будущей парковой площади — если стать спиной к конторе — являло собою торговый ряд: двухэтажное длинное здание, приподнятое на бетонной платформе так, что перед входом в магазины, в столовую остался прямоугольник террасы, залитой асфальтом; с нее по широким ступеням можно сойти в будущий парк. На подворье торгового центра карамышевские крестьяне, сделав покупки, могут еще постоять, посудачить. По утрам тут собирается большое и разномастное общество: приезжие шоферы, строители из закавказских республик, девчухи из Рубцовского торгового техникума. Завтракают. Едят бифштексы с гречневой кашей, пьют свое карамышевское, кипяченое, с пленкой молоко. Обязательно находится эдакий ферт, балагур, столичный, из Барнаула, водитель.

— Мне цыпленка с табаком. И кефиру холодненького.

Мария Никаноровна, завстоловой, глядит на гостя с материнской доброй улыбкой.

— Холодненького выпьешь — горло застудишь, ангину схватишь.

Я живу на втором этаже, в гостинице колхоза «Восход», в одноместном номере с удобствами, с ванной (горячей воды пока нет), в окно мне видна и слышна вся центральная площадь Карамышева. По ночам сюда для чего-то являются кони, гулко бьют копытами в асфальт. Ближе к утру по панели вдоль торгового ряда совершают свой променад, машут крыльями, что есть мочи гагакают гуси.

Четыре года назад тут было пустое место, околица Карамышева. Мы тут стояли с Антоном Григорьевичем, и он, как в свое время Петр Первый, был дум великих полн, делился думами с гостем, поводя рукой в сторону свежееотрытых траншей, бетонных плит и труб, говорил так:

— Это наша великая стройка. Наш БАМ. Что такое в наших условиях три нитки труб? Или одна бетонная плита?.. Откровенно сказать, мучаемся. Иной раз кажется — бросил бы все... А потом поглядишь, что-то делается, сдвинулось с места. И азарт появляется — впрягаешься, тянешь... Такова диалектика! Сначала надо накопить материальные средства, опыта набраться. Потом когда-нибудь качественный скачок произойдет... Вон там мы строим торговый центр, столовую, гостиницу...

Каменный Дом культуры был уже и тогда — чуть выше по склону начинающегося тут увала; двенадцати-квартирных кирпичных коробок, теперь отчасти замкнувших пространство площади, не начинали и строить. Событием того года явилось открытие новой средней школы — на другом конце села в тополевой роще. Помню, первого сентября к девяти часам утра все не занятое на уборке население Карамышева собралось на только что залитом асфальтом дворе у входа в новехонькую, вчера оштукатуренную школу. Ребят построили на линейку по росту, лесенкой. В первом ряду первоклашки. Играл колхозный оркестр. Афанасьев вручил директору школы ключ. Были сказаны речи. Старая-старая карамышевская бабка в плюшевой черной жакетке утирала слезы, причитала: «Господи, красота-то какая. Ребятам-то теперь благодать...»

Прозвенел звонок, дети посыпали в свою новую школу. Мужчины разъехались по степи.

За четыре года к школе привыкли, рядом с нею возводят, еще под крышу не подвели, детский сад, такого же роста, как школа.

5

Афанасьев едва обогнул угол конторы, как к нему устремились двое в кепках с длинными козырьками, с аппаратурой — из кинохроники, из Москвы.

— Антон Григорьевич, нам сказали в горкоме, чтобы мы в «Россию» ехали. Мы приехали, а там снимать

нечего: уже все убрали. Нам нужен кадр, чтобы передовому комбайнеру прямо в поле бы председатель вымпел вручил, и хорошо бы ребяташки с цветами... И еще бы колонну машин с хлебом нового урожая у элеватора — красный обоз. И плакат: «Алтайский хлеб — Родине!»

Председатель повел кинохронику за собой по такой широкой, какие бывают только в столицах больших государств и в сибирских степных селах, улице пустого уборочную страду Карамышева. И я там был, ко мне уже привыкли в колхозе «Восход», третью уборочную выхаживаю рядом с председателем, как его удлиненная тень.

Председатель отпер бокс гаража, выкатил хорошо мне знакомую, ту самую, что и четыре года назад, коричневую «Волгу». Сели, поехали: председатель колхоза и три представителя массовых средств информации. Остановились в промзоне Карамышева: рядом с мастерскими — можно их даже назвать и заводом по ремонту комбайнов — громоздились длинноногие механизмы для производства травяной муки в гранулах. Установка бездействовала, в недрах ее ковырялся парень, по виду молодой специалист.

— Ну, как обживаетесь? — спросил его Афанасьев.

— Да ничего... Только мебели никакой нету. В Змеиногорске можно кое-что купить, а привезти не на чем.

Молодому специалисту хотелось использовать встречу со всемогущим председателем для собственной выгоды; он малость стеснялся, понимая пустячность своей нужды с точки зрения общих задач. Но ведь и без мебели как начать строительство собственной жизни?..

— Может быть, это не главное, — сказал председатель, глядя поверх головы просителя, куда-то в степь, улавливая кожей лица направление ветра, о чем-то думая — главное. — Вот уберемся, тогда...

Карамышево скрылось из глаз. Спустились в лог. Здесь примостилась у высохшей речки маленькая деревенька Абрамовка. Маленькая, но не брошенная. Сквозь заросли тальника как будто даже белели новые стены.

Стоило мне подумать об участии этой «неперспективной», но живой — что в наши дни редкость — деревни, как Афанасьев прочел мою мысль, сказал:

— Мы никого не торопим переселяться на центральную усадьбу. Пока живется, пусть живут. Даже помогаем немножко постройиться — вот в Абрамовке, в Ново-

кузнецовке, в Давыдовке, Березовке, Воронеже. Переселить-то бы можно... да не хватит на всех покосов, негде скот пасти на центральной усадьбе, нет земли под огорода. А если крестьянин полезет в государственный карман за молоком, за мясом, за картошкой, за овощами — это неладно будет. Мы так понимаем. Ребятишки из наших маленьких деревень зимой живут в интернате при школе, бесплатно. На воскресенье мы их отвозим домой...

Он ехал быстро, дорога знакома ему, как половица в собственном доме. И все же где-то на ровном месте под колесо попала железяка (при исследовании окажется, что плужный лемех), стрельнула в поддон, да так, что полетела труба глушителя.

Антон Григорьевич улыбнулся:

— Поделом тебе, председатель. План по металлолому недовыполнил. Планы надо выполнять.

Пришлось вернуться. Поставили «Волгу» на место. Пересели в «УАЗ». При этом Афанасьев проговорил:

— Вот бы под нынешний урожай, если — тыфу, тыфу, тыфу — погода пять дней простоит... Рассчитаемся с долгами, отряхнем грехи наши тяжкие, хлебушко сверх плана сдадим — и под это получить бы новую «Волгу».

В «УАЗе» тоже шкворчала рация. Афанасьев взял трубку:

— Десятый, десятый, десятый. Я первый. Владимир Васильевич, как слышишь меня? Это хорошо, что хорошо слышишь... Значит, так... Найдешь в Воронеже трех девчужек-школьниц. В форме, с галстуками, чтобы все чин по чину. Ага! И чтобы девчужки симпатичные. Привезешь их к комбайну Ивана Косихина. И с цветами. Цветы у вас найдутся? Это хорошо, что найдутся. Уборку закончим, цветов много потребуется. В кино снимать будут... Ага!

— И вымпел, — напомнила кинохроника.

— И вымпел... Найдется? Ну, давай.

— Одиннадцатый, одиннадцатый, одиннадцатый. — Афанасьев переменял тембр голоса. — Я первый. Иван Михайлович, машины в «Сибири» есть? Ну, что значит «более или менее»? — Председатель взвинтил свой голос, не до предела, до средних оборотов. — Я спрашиваю, хлеб от комбайнов возить хватает машин, задержки нет?... Одну бы не мешало... Ну хорошо. Работайте... «Сибирь» — это у нас так самый дальний стан

называется, в Березовском отделении, — объяснил Афанасьев представителям массовых средств информации.

Разговаривая, скорость он сбавил. Мимо пропылил пустой грузовик. Афанасьев догнал его, поравнялся, сделал знак постоять.

— В «Сибирь» ехай, там комбайны с полными бункерами стоят, — не то приказал, не то посоветовал он.

Почуяв эту нетвердость в тоне, водитель возразил:

— Так, Антон Григорьевич, в «Сибирь» ехать — какие прогоны порожняком. Я вчера вечером ездил, там у комбайна шнек полетел, даром прокуковали.

Афанасьев задумался на мгновение, поглядел куда-то в дальнюю, одному ему видимую даль. Сказал с печалью, как будто родного сына послал в ночное: и жалко, а надо:

— Бежи, Коля...

Коля понял, что правда нужно бежать, сразу стал поворачивать.

Еще немного проехав, Афанасьев вдруг закипел:

— Что делают, что делают... Это ж надо... Ну, я не знаю, как можно...

Один валок — первый валок жатвы — был положен за край поля, на бровку канавы.

— Это же комбайнеру при подборке мучиться. Дебил какой-то жал... Наверное, из прибывших, наши себе такого не позволяют.

Афанасьев прибавил звуку в приемнике. Пели что-то цыганское. Мир вокруг был пшеничного цвета, ржаного цвета, соломенного цвета, ярко-зеленого цвета озими. Синело небо. На заднем сиденье кинохроника спорила о том, рожь или ячмень вон там у дороги...

— Пятый, пятый, пятый. — Вдруг что-то обеспокоило председателя. Пятый не отвечал.

— Центральная! Я первый!

— Слушаю, Антон Григорьевич.

Голос у центральной девический, молодой, но есть в нем примесь какого-то металла, необходимого радиоголосу в ранге центральной.

— Зоя, свяжись с пятым, передай ему — воронежские телята на озимых. Пастуха потеряли. Как поняла?

— Вас поняла, Антон Григорьевич. Передать пятому, что воронежские телята на озимых.

— Им-то благодать, — сказал Афанасьев, положив трубку на место, — а мы на будущий год десятка центнеров хлеба недосчитаемся.

Он опять перестроил голос, стал говорить о диспетчере Зое:

— ...Ну вот как будто призвание у нее диспетчером быть... Нынче летом приехали с мужем, он после техникума, электромеханик, она без специальности... А у нас некому в диспетчерской... Я ее направил, ну, думал, девчонка, растеряется... А выбора нет. В первый день малость подрастерялась. Она и в поле ни разу не побывала... Из России откуда-то приехала. А потом, гляжу, и голос у нее изменился, что-то такое появилось... Диспетчер — это не просто соединить, разъединить, надо же вникнуть, и сводки собрать, кому-то внушение сделать. И к ней с вопросами обращаются... И она толково на все ответит, ну, как будто для этой работы создана. А из наших кто на подмену ей сядет — и мучаешься с ними; ни бе, ни ме, ни кукареку...

Я сделала себе в памяти заметку: «диспетчер Зоя».

Афанасьев свернул с дороги, напрямик покати́л по стерне к пшеничному сжатому полю с шестью комбайнами, подбирающими валки, на ходу пристраивающимися к ним машинами, фургоном-техничкой со сварочным аппаратом на прицепе. Даже и трактор К-700 с двумя бортовыми тележками стоял у края этого поля. И еще — пунцовая, собственная, но без поблажки впряженная в общую тягу «Нива» управляющего отделением Белоусова. И около «Нивы» три девчушки, в красных галстуках, с бантами, в белых передниках, с букетами гладиолусов в руках... Такие пригожие девчушки, очень серьезные.

Кинохроника проявила осведомленность в сельском хозяйстве, глубокомысленно произнесла: «Ипатовский метод...»

Антон Григорьевич подзавелся с пол-оборота, хотя для длинного монолога не оставалось пространства, пути. Понимая это, притормозил.

— ...Ипатовский метод. Да мы и сами знали, еще до ипатовского метода, что комплексом лучше убирать. Возили нас в Ставрополье, показывали. У них по асфальту от комбайна до элеватора... Оборачиваемость машин другая. И кадров механизаторов у нас таких нет, чтобы посменно работать, по вахтовому принципу. И ночи у них сухие, теплые, комбайнеры в майках работают. Они в июле жать начинают, а у нас и октябрь — уборочный месяц. Если не снег, не дождь, то росы у нас обильные. За ночь валки отволгнут. Не дать просох-

путь — значит, зерно не вымолотится. Конечно, мы за ипатовский метод. Нам надо еще до него дорасти. Горячку напорешь ради метода, хлеба не доберешь. Это как-то не по-крестьянски. . .

Все, приехали. На комбайне Ивана Косихина сверху флажок на древке. На кабине два ряда звезд: восемь звезд прошлогодних, семь нынешних. Это значит — в прошлом году было намолочено восемь тысяч центнеров, нынче пока семь (еще пять дней молотить). Остановили Ивана Косихина, слез он на землю — коломенская верста, чумазый, светлоглазый, в кепке, полон рот металлических зубов. И четыре года назад он проворнее всех молотил, и такой же был закопченный. Следом за комбайнером спрыгнул наземь его подручный, брат Ивана Александр, парнишка шестнадцати лет, учащийся сельского ПТУ, восходовский кадр.

Афанасьев нам объяснил, что вон тот, стоящий за кучей соломы трактор К-700 с двумя тележками — это Ивана трактор. Отдавать кому-то другому такую машину, в чужие руки, пока Иван на комбайне, было бы не по-хозяйски. Если машины не успевают возить хлеб из-под косихинского комбайна, Иван садится за руль трактора, подгоняет его к комбайну. . . Его братан, не прекращая молотьбу, опорожняет бункер сначала в одну тележку, потом в другую. После смены Косихин сам же и доставляет свой хлебный поезд на ток.

Кончится жатва, Иван Косихин тут же и пересядет на свой К-700 и примется пахать зябь.

Кинохроника расставила всех по местам: девчушек с цветами, председателя колхоза с вымпелом, проглотившего аршин комбайнера, управляющего отделением — для фона. Пострекотала камера — и все, и поехали.

6

Афанасьев гнал машину. И думал о длинноволосых, годящихся ему в младшие сыновья парнях из кинохроники: «Доверчивые ребята».

И горячо вдруг стало в груди от нежности к своему старшему, Виктору. Сегодня вечером обещался приехать, с женой и дочками-крохотулями Ирой и Таней.

Двух сыновей они подняли с Полиной, вырастили в мужиков, но любовь к сыновьям другая была, чем вот эта, дедовская нежность до слез к таким теплым, беспомощным, ласковым, утешным — внучаткам.

«Как вы добиваетесь высокой урожайности?» — спрашивали у председателя колхоза «Восход» приезжие люди. Он отвечал: вот так-то и так-то, такие-то и такие агромероприятия, сорта, сроки сева. Но вдруг пришла ему в голову мысль, что эти ответы неполны, чего-то в них не хватает подспудного, одного ему, Антону, ведомого. Ответить бы можно так: «Не только хлеб я выращивал всю жизнь, но еще вырастил сыновей, и старший сын Виктор посвятил себя тому самому хлебу, которому служит батька. И в свои двадцать шесть стал главным инженером совхоза «25 лет Октября». И первые пятнадцать жаток, позарез нужные «Восходу», он, Виктор, прислал. И если я тогда сорвался, кричал на агронома Шишкина, решившего завернуть эти жатки, то говорило во мне не только председательское, но и отцовское...»

7

В восемнадцать часов в кабинете председателя ежедневно планерка. Собирается до трех десятков ответственных лиц: главный инженер, главный агроном, главный зоотехник, главный строитель, главный экономист, главный бухгалтер, секретарь парткома (в прежние мои приезды я знал Николая Александровича директором школы), заместитель председателя — голубоглазый, очень спокойный, хозяйственный Иван Иванович (в уборку 1976 года он подбирал валки на комбайне «Нива», еще раньше пахал на тракторе, а начинал пахать — на быках, в своей родной деревне Абрамовке). Присутствуют на планерке начальники мастерских, автоколонны, снабженцы, управляющие отделениями (этих еще собирают отдельно, по средам, в одиннадцать часов) — все, от кого зависит завтрашний день, его стратегия, тактика; впрочем, этих слов на планерке не произносят. Докладывают, что сделано сегодня, что осталось на завтра, просят, требуют, жалуются, обещают, прощупывают, зондируют почву, берут за горло, спорят, шутят, принимают решения. Одна голова хорошо, тридцать и того лучше. Последнее слово за председателем, за ним и первое слово, и право встрять посередине доклада. Дел на завтра великое множество, и ни одно нельзя оставить на послезавтра.

Идет жатва зерновых и убирают сахарную свеклу. Обрезают клубни деревенские бабки-пенсионерки и

школьники. Надо школьников научить этому крестьянскому делу, не все умеют. Завтра выехать с ними в поле и провести инструктаж. Прикидывают, кто может поехать. И тут же всплывает проблема свекольной ботвы. Пока ботва не сопрела, ее хорошо бы скормить коровам с телятами (телят ласково называют телятишками). Да избави бог одной ботвой накормить, у телятишек может случиться понос. Кормить надо свекольной ботвой в смеси с кукурузой. Зоотехник вроде похвастался таким научным знанием дела. И тотчас председательская, с перцем, реплика:

— Ты что, Александр Семенович, хочешь, чтобы тебе медаль «За отвагу» дали?

— Да нет, пусть кто-нибудь возьмет другой, — обиделся зоотехник.

— Ну, ехай, пожалуйста, разбирайся.

Пашут зябь. Производительность пока низкая, все внимание отдано жатве. Забыли отметить лучших пахарей флажками.

— Зябь — это главное, — напомнил председатель. — Борки осталось на три-четыре дня не считая сегодняшнего. Сегодня уже нельзя терпеть такую расхоложенность на вспашке зяби.

Что-то неладно с заправкой, вечером на заправочной было столпотворение. К ведающему заправкой Владимиру Ивановичу устремлены непрощающие взоры тех, кому надо заправить машины. Главный заправщик не принимает укоров, огрызается: вовремя не подали цистерну в Третьяки.

Председатель слушает, набычивается, собирает кожу в морщины у глаз.

— Дебаты потом, Владимир Иванович. Речь идет о трех-четырех днях. Потом соберемся с тобой, повечеруем и обсудим проблемы. А сейчас не делай кучу малу.

Убирают, пашут — и строят. Подводят под крышу детский сад, а шифера нет. За шифером надо ехать в Топчиху. А как поедешь? Порожнюю машину ГАИ не пропустит, весь транспорт занят на вывозке хлеба.

— Ты, Николай Дмитриевич, нагрузи машину овсом и кати в Топчиху. Там зерно сдашь, а обратно шифер.

Председатель внушает, укоряет, советует.

Планируют завтрашний день, заглядывают на неделю вперед. На какое время назначить праздник урожая? Дать людям сразу поспраздновать, как только слезут с комбайнов? Одного дня мало для настоящего пра-

здника. И двух дней мало. А кто будет зябь пахать? Призадумались. Это дело такое... Ожесточим людей. Все вместе, без нажима одной чьей-то воли решили не торопиться с праздником урожая, переделать наиглавнейшие дела, а после уж праздник так праздник!

И еще говорят об огне. Вчера в совхозе «Северном» сгорел на поле комбайн. Вспыхнул как спичка... В «Красной гвардии» подожгли солому, огонь перекинулся на хлебное поле... Есть еще, есть и в «Восходе» любители пала: кажется, самый короткий путь от жатвы до вешалки зяби; сжег — и езжай, и паши...

— Спички не будет! — предупреждает Афанасьев. — Сейчас не ударжить огня, такой ветер. Каждое поле в срочном порядке опахать! Восемь часов дается на это дело. — Он взглянул на часы. — Больше нет у нас ни минуты.

— Остистость большая, — пожаловался березовский управляющий, — забивает решетка. Зерно идет с ходом.

— Ты меня извини, это неряшество, — наморщивает кожу у глаз председатель. — Каждые два часа надо жалюзи продувать.

Дошел черед до главного агронома. Выступать первой или второй Мария Савельевна не любит. Позывной, для радиоперекличек, номер у нее третий: первый — председатель, второй — главный инженер, третий — главный агроном. Голос у нее не охрипший в перебранках с механизаторами, не потускневший на совещаниях и планерках, не прокуренный, какой-то льющийся, вольный, степной...

— Дело к концу... Производительность труда падает... На токах тысячи тонн хлеба. Случись дождик — и все поплывет. В ночную смену на токах практически мало что делают. Вот на абрамовском току...

В уборку Мария Савельевна со своим шофером Игорем накручивает на «УАЗе» с рацией поболее председателя. Чего у нее нет, так это высшего агрономического образования, только диплом Славгородского сельхозтехникума да двадцать четыре года стажа в «Восходе».

В агрономской судьбе Марии Савельевны бывали такие годы, когда ее, небольшого росточка, с покладистым и одновременно не уступающим ни пяди характером, оттесняли более молодые, образованные, с идеями и хорошо подвешенными языками. Мария Савельевна оказывалась «неконкурентноспособной», ее переводили на должность участкового агронома,

В самом хлебном 1975 году главным агрономом в «Восходе» был Владимир Федорович Резников. «Восход» вышел тогда на первое место в крае по урожайности. К восходовскому успеху еще не привыкли, искали его причину и находили: в таланте молодого главного агронома. Похоже было, что и сам Володя Резников уверовал именно в эту первопричину большого хлеба на полях «Восхода». Я помню, Резников был в ту пору на взлете, окрыленность сквозила в его облике и речах.

Весомая по любым меркам урожайность твердых и сильных пшениц в предгорной алтайской степи сыграла в судьбе молодого способного агронома роль катапультирующего устройства. Владимир Федорович Резников как-то чересчур скоро пошел на повышение. В 1976 году я застал его на посту первого секретаря Змеиногорского горкома КПСС.

Афанасьев по-хозяйски решил, что от добра добра не ищут — и отдал приказ о возвращении на должность главного агронома Марии Савельевны Тарасовой.

Резников пробыл первым в Змеиногорске недолго, его послали учиться.

.. Афанасьев выслушал доклад главного агронома, обратился к ответственному за абрамовский ток лицу: — Юрий Николаевич, тебе доверие страшное.. . Договаривать он не стал, и так всем понятно.

Юрий Николаевич поднялся.

— Опрокидыватель сломался. «Зилок» на него въехал по завязку нагруженный.. . Сталь по шву лопнула.

— Ну и какое вы приняли решение?

— Заварили.

— Это хорошо, что заварили. Давайте говорить о том, что завтра будем варить.

— Мехтока проектировали, когда машин такой грузоподъемности и в природе не существовало, — заметил главный инженер.

Юрий Николаевич не садится, что-то надо ему еще сказать.

— Шоферы отказываются поздно работать, Антон Григорьевич. Им ночью помыться негде. Вот молодой такой толстый парень, с барнаульской колонны, вчера возникал.. .

— Баня четыре дня в неделю работает до часу ночи, — заметил Иван Иванович.

Юрий Николаевич сел.

Афанасьев смотрит на часы. Планерка начинается в

восемнадцать, кончается в девятнадцать. Пересиживать тут не принято, особенно в уборочную страду.

— И значит, такая просьба ко всем,— подводит черту председатель,— в первую очередь к экономистам, бухгалтерам. Без задержки рассчитать приехавших к нам на помощь механизаторов. Чтобы никаких обид не было. И— давайте поработаем. Осталось четыре дня. Нам надо одну победу!

8

После планерки Афанасьев некоторое время проводит в одиночестве, просто сидит за столом, никуда не звонит, никого не вызывает. Может быть, он ни о чем сейчас и не думает и голова у него гудит от перегрузки. Он подвигает к себе лежащую на столе «Алтайскую правду» от 12 сентября. . . В ней статья Ильи Шумакова «Наш подарок съезду». Афанасьев знает этот победный рапорт соседа чуть ли не наизусть. И он также знает, что в каждой строчке рапорта— укор ему, опять затянувшему уборку. И вспоминает всеми услышанные слова соседа: «Мы убираем вовремя, не как некоторые весной молотят. . .» Он читает статью Шумакова, и предчувствие победы возгорается в нем. . .

«10 августа наш колхоз продал государству первую партию зерна нового урожая. Красный обоз из 20 машин доставил на Третьяковский элеватор тысячу центнеров хлеба. Сегодня мы рапортуем об окончании уборки. . . Уборка проведена организованно, качественно, в оптимальные сроки. . . Раскачки не было. К напряженной работе с первых часов страды люди были подготовлены заранее. . .»

Главным стимулом к ударной работе для коллектива был высокий урожай, выращенный на полях колхоза. По предварительным подсчетам мы должны были собрать с каждого гектара по 25 центнеров. Но в итоге показатель оказался еще выше— 29 центнеров. Люди сделали все возможное, чтобы не потерять ни колоска, ни зернышка.

Работа велась ипатовским методом. . . Впервые нынче мы применили вахтовый метод организации уборочных работ. Третья часть комбайнового парка была укомплектована двумя механизаторами. Они работали посменно. Машины использовались с максимальной эффективностью».

Афанасьев мельком подумал, что точно так же, теми же словами можно будет рапортовать и ему о победе «Восхода» над «Россией». («Нам надо одну победу!») Только бы продержался еще дня четыре северный ветер.

«... Конечно, при недостатке кадров переход на вахтовый метод связан с большими трудностями. Но все усилия по подготовке механизаторского резерва с лихвой окупаются...»

Внедряя это новшество, мы решаем и еще одну важную задачу — воспитательную. Подсменными к опытным механизаторам ставили молодежь: выпускников школы, десятиклассников, ребят, только что вернувшихся из армии. В одну смену с ними назначали одного-двух старших товарищей...»

Афанасьев включил рацию. Обостренное чутье ко всему происходящему на полях колхоза — как хочешь его назови: телепатией или жизненным опытом — подсказывало ему: что-то случилось.

— Первый, первый, первый, — шкворчала, звала, тревожилась восходовская радиоволна.

— Я первый, я первый. Слушаю, Мария Савельевна.

Давно ли она вот тут сидела, а сейчас на самом краю слышимости...»

— Беда, Антон Григорьевич. Мальчишки, двое, из СПТУ, на комбайнах они штурвальными работали, на Новокузнецовском участке... Их комбайнеры послали валки исправить, ветром завило, а они молодые еще, поиграть захотелось. Под валок-то забрались, как мыши... В это время машина прямо полем к комбайну, на полной скорости, да прямо на них...

Антон Григорьевич вдруг почувствовал холод и какое-то покалывание в ногах.

— Ладно, что только краешком их задел, а то бы могло такое случиться, непоправимое...

— Живы? — спросил Афанасьев.

— Одному-то чуть руку помяло, а другому ногу переехало.

— Ну и что — переехало? С ногой-то что?

— Трудно пока сказать, Антон Григорьевич. Открытого перелома не видно, но и подняться не может, лежит парнишка.

— Парнишки чьи?

— Да наши, карамышевские.

— Ну и... какие приняли меры?

— Сантранспорт вызвали из Змеиногорска. Своя

фельдшерица шину наложила. В ГАИ сообщили. Вот ждем.

— Окупаются с лихвой...— для чего-то произнес Афанасьев фразу из статьи Шумакова в «Алтайской правде».

— Что вы сказали, Антон Григорьевич?

— Вам можно и не ждать, Мария Савельевна. Пусть начальник участка разбирается. Его в угол поставим за технику безопасности... Комбайны из «Северного» пришли? Из «Красной гвардии» завтра пятнадцать придут. Послезавтра из «Памяти Кирова» обещали. За ними глаз да глаз нужен. Они у себя бегом по хлебу бегают...

— Встретим, Антон Григорьевич. Я сама не своя, как узнала... На полметра бы шофер вправо взял...

— Ладно,— оборвал переживания главного агронома председатель.— Давайте поработаем, Мария Савельевна. Всех мальчишек, из СПТУ которые, школьников наших и присланных, с комбайнов немедленно снять! — Он нажал тумблер рации.— Центральная! Я первый! Зоя, передай на все участки, всем управляющим, агрономам: мальчишек с комбайнов снять, отправить по домам. В течение часа пусть мне доложат об исполнении. Как меня поняла?

— Вас поняла, Антон Григорьевич: мальчишек с комбайнов снять.

Он выключил рацию, но сам отключиться от этой тревоги, от этого немыслимого напряжения не мог, не было у него такого тумблера. Темпы, темпы, темпы уборки — он раздувал темпы, подгонял, ответственный за каждый пуд хлеба и за каждое человеческое существо, вовлеченное в конвейер машинной уборки. И чем больше машин работало на полях, чем сложнее становились машины, чем скорее бежал конвейер, тем тревожнее становилось за мальчишек, им же, председателем, благословляемых на первую самостоятельную жатву, таких же шустрых, любопытных, непослушных, не выполняющих правил техники безопасности, каким был и сам Антон в свои отроческие годы. Но тогда хлеб от комбайнов возили в бестарках, на лошадях...

В прошлом году, в жатву, погиб карамышевский школьник, десятиклассник Юра. Он работал на мостике комбайна, подручным, и так не хотелось ему уходить с мостика... В последний день перед школой отец с ма-

терью наказали Юре быть дома, поотдохнуть — наработать, хватит.

И до того показалось Юре тесно и скучно дома, и до того хорошо в степи, на комбайне, что не выдержала Юрина душа, не выполнил сын родительского наказа. Убежал в степь, хоть посмотреть вблизи на жатву...

Прилег в копну соломы, юношеский летучий сон смежил ему веки (две недели недосыпал, работал наравне со взрослыми)... Идущие полем к комбайнам машины не выбирают дороги, не объезжают соломенных куч...

И траурную линейку у входа в школу сентябрьским утром Антон Григорьевич Афанасьев носил в душе как рану. Много, много было на той линейке, и по дороге на кладбище, на сопку над Корболихой цветов, — не в честь победы на хлебном фронте, а в знак всеобщего, никаким хлебом не утоляемого горя.

Хлеб в том году был большой и погода стояла. Уезжая из Карамышева за несколько дней до окончания жатвы, я поздравлял Афанасьева с, казалось, неминуемой победой...

По дороге из Карамышева в Барнаул мы с моим барнаульским другом завернули в Краснощековский район, на Чарыш, и порыбачили там, половили хариуса на мушку. Хариус как раз скатывался с верховьев Чарыша на зимовку...

В холле барнаульской гостиницы «Центральная» я повстречался с Антоном Григорьевичем. Он разительно изменился за четыре дня, что мы не виделись с ним, опал с лица и сильно прихрамывал, и глаза выражали одну безысходную грусть. В Барнаул его вызвали не для вручения приза за высокую урожайность, а на административную комиссию крайсовпрофа, «на ковер», «снимать стружку» — за несоблюдение правил техники безопасности.

9

До захода солнца Афанасьев свозил еще нас с киношниками на близлежащую (или правильнее сказать «близстоящую»?) сопку.

— Мы так ее зовем — Мохнатая, — объяснил Антон Григорьевич, — а как она называется официально, не знаем.

Мохнатая потому, что, в отличие от лысых соседок, вся она кучерявилась зарослями тальника, таволги, боя-

рышника, росли на ней и березки, и осинки, и тополя, и ране всех зарозовевшие рябинки.

Чтобы попасть на сопку, надо было переехать по мосту Корболиху, выбраться на тракт, ведущий из Змеиногорска в Третьяки, свернуть на полевую дорогу, мимо шахтных строений — шахта действующая, добывает в некогда богатых здешних недрах какой-то редкий металл — прокатиться по высохшему до асфальтовой твердости грунту; по всей дороге утекшие с хлебовозов струи зерна; на даровом этом корме пасутся свиньи, телята, гуси делают вид, что сейчас улетят, колготятся галочки стаи. Воробьи так далеко не залетают, им хватает дела на токах. На вольных хлебах отъелись куропатки и косачи. Уборочная страда — время пира для домашней и степной живности.

На прилегающем к сопке поле трактор К-700 с соломокопнителем складывал солому в скирды. Антон Григорьевич поехал помедленнее и рассказал нам новеллу о трактористе. При этом он то и дело снимал руки с баранки, сопровождая речь округлыми, плавными взмахами жестами.

— ...Володю Плешкова мы попросили на трактор сесть, больше некому. У него вообще к технике врожденный талант, ну, действительно, ас. Мы ему первому К-700 доверили, когда они к нам поступать стали. Механизаторы приходили смотреть, какие он чудеса вытворял. Мы его в двадцать три года к ордену Трудового Красного Знамени представили, и он получил. Ну вот, кажется, все удавалось парню. А он с детства любил лошадей. Он у нас один в колхозе журнал коневодства выписывает. Я думал, что это так, вроде хобби. Он же механизатор высшего класса, ас. Оказывается, нет... Он ко мне как-то заходит, Володя Плешков, говорит: «Я буду работать с лошадьми, хочу быть конюхом». Как это понять? И заработок другой, и, как теперь говорят, престижность не та... Один из лучших механизаторов, в двадцать три года кавалер ордена Трудового Красного Знамени — и конюх... Я ему эти доводы привожу, а он, я вижу, уперся, внутреннее решение принял, сердце его лежит к лошадям. Как было мне поступать? Давить на него моим жизненным опытом и властью? Мне как председателю Плешков-механизатор нужнее, чем Плешков-конюх. А станешь давить, вдруг сломается? Назначили мы его конюхом, и в оплате он потерял, а счастливый. И детей к коням приваживает, На днях заходит ко

мне, говорит: «Я в Барнауле на конном заводе договорился, они там списывают двух лошадей, а лошади породистые; они их согласны нам отдать. Отпустите, говорит, меня в Барнаул, я привезу этих коней на племя, заверяю вас, говорит, мы свою карамышевскую породу выведем, на весь край прославимся». И я поверил ему. «Вот, говорю, поработаешь на тракторе, заскридуешь солону — и ехай». Завтра поедет.

В том самом месте, где рассказчик поставил точку в новелле, начался подъем в гору.

Вообще, езда Афанасьева на машине по сильно пересеченной местности достойна отдельного описания в журнале «За рулем». Что любит Антон Григорьевич, так это поездить по горкам. Если бы был такой вид спорта — автоальпинизм (мотоальпинизм уже есть), то, просидев рядом с водителем три уборочные, могу рекомендовать его кандидатом в сборную.

Воистину не хлебом единым жив этот, посвятивший себя хлебу насущному, такой разнообразный, отзывчивый на все, чем богата жизнь, человек. Однажды мы ехали с ним по относительно ровной — вверх, вниз — дороге и, пользуясь этой ровностью, заговорили о литературе. Из прочитанного в последнее время (до начала уборочной страды) ему запали в душу три книги: «Жозеф Фуше» Стефана Цвейга, «Слово и дело» Валентина Пикуля и «Петр Первый» Николая Павленко. Он говорил о героях этих книг не как о литературных отвлеченностях, а как о реально бытующих — не только в исторической дали, но даже и в наше время — феноменах человеческой природы. Жозеф Фуше у Цвейга... Ведь он был сподвижником Робеспьера, служил революции. И вдруг — шеф полиции в империи Наполеона. Значит, что же? Человек не только способен изменить своим убеждениям, но вообще... повернуть оглобли на сто семьдесят градусов? Антон Григорьевич призадумался, словно искал в памяти жизненную аналогию литературному образу. Волинский у Пикуля... Уж до того он был увертлив, удачлив. Не гнушался коварством, вероломством, лишь бы достичь поставленной цели. Друзья же его и предали. Как ни искусно вел игру, а проиграл... Оять Афанасьев подумал, что-то прикинул в уме. Петр Первый... Как он ухитрялся такой страной управлять, будучи постоянно в разъездах? То он в Архангельске, то на Азовском море, то в Амстердаме, то в Париже, то в санях, то в возке, то на корабле... Антон

Григорьевич улыбнулся. Видно ему пришлось по душе моторность царя, легкость на подъем. . .

«Интересный он человек, Илья Яковлевич, начнет говорить, заслушаешься. . .». Такую фразу нынче обронил Антон Григорьевич, задумчиво глядя куда-то.

Мне кажется иногда, что наша дружба с Антоном Афанасьевым, мало-помалу обретенная в поездках вдвоем по полям и горам, на прогулках в предзимнюю слякоть по набережным Ленинграда, простекала вот из этого, общего у нас, чисто духовного свойства — любопытства к феноменам человеческих характеров.

Летом — да и зимою тоже — сидя у телевизора, с каким-то сладким замирием сердца наблюдая перипетии Олимпиады, я особенно остро переживал страсть и волю, драматическое самовыявление характеров вырвавшихся вперед бегунов, велосипедистов, лыжников — на сверхдальней дистанции, марафонцев. . .

Переживая Олимпиаду как нечто очень личное, я вдруг понял, что не поеду к Черному морю (уже были куплены путевки на всю семью). Не так-то просто было объявить семье, что ехать придется без меня, а я опять в Карамышево. По счастью, моя семья привыкла к убытиям отца и мужа в восточном направлении. Я-то знал, что сухой, вечно движимый ветром, настоящий на полях и пшенице воздух предгорий Алтая и доброе осенью солнце этих мест полезнее для меня, чем Кавказ. Не только для тела — целительней для души. И если я изменю в эту осень возлюбленным мною алтайским степям, и если не дохнет мне в лицо жаром решающих дней жатвы, то в зиму станет вдруг скучно и пусто. . .

Будто по следу слаломиста, только снизу вверх, мы въехали на Мохнатую сопку, увидели разом и Карамышево, и Березовку, и Змеиногорск, и шахту с копром, и степь с четко прочерченными на небе сегментами многоярусных холмов, с мягким при вечернем освещении сочетанием чуть проявленных цветовых пятен, пастельных красок. . .

Кинохроника пострекотала камерой на все стороны. Стало тихо.

— Одно и то же делаешь каждый год, — сказал Антон Григорьевич, — двадцать лет подряд. Могло бы и надоест. А весной отсеешь, поедешь в степь: тут пшеница зазеленела, там кукуруза, там травы — и все живое, будто в первый раз увидел. Это — как симфония. . .

И правда, будто послышалась музыка.

В гостинице колхоза «Восход» самое насущное жизненное благо — это электрический самовар. Спираль в нем настолько теплотворяща, что через пять минут самовар уже запекает, его песня греет душу. В Сибири без чаю не жизнь. И еще библиотека — тут же, на одной площадке с гостиницей. Давно уже я так властью не читал всю подряд текущую периодику. Пью чай с бубликами и вареньем из мандариновых корок. От этих приятных занятий меня отрывает звонок.

— Поехали по полям, Александрыч.

— Ну конечно поехали, Григорыч.

Одиннадцатый час вечера. Темно. Куда мы едем? Рдеет глаз включенной рации. Играет музыка — Афанасьев всегда ездит с музыкой по полям. Днем я еще малость ориентируюсь, хотя как сорентируешься? Одно поле похоже на другое. Хаты и тополя в Новокузнецовке такие же, как в Воронеже и Березовке. Спустились к какой-то речке, шупко, без шума, без брызг, как звери входят в воду, въехали в речку, резво, отряхиваясь, выскочили из нее, взбежали на горку, остановились на опушке березняка.

До неба, кажется, можно было достать указкой, как на уроке астрономии, дотронуться до Большой Медведицы и до маленькой; вот этот зернистый тракт — Млечный Путь, а вот это — Венера. . .

Однажды, помню, гуляя в такую вот полнозвездную ночь в степи под Карамышевом, я был зачарован и поражен не то земным, не то небесным знамением. На что уж я, как и все мои современники, нагладелся на всякого рода сполохи и фейерверки, но такого не видывал въявь, только разве что на экране. Столп синеватого света вдруг вырос откуда-то из потемок земных, восстал до самого неба, как указующий перст. Свечение в нем было подвижным, живым, и сам он словно перемещался. Найти какое-либо объяснение увиденному в ту ночь я не смог. Утром Антон Григорьевич мне объяснил: запустили, должно быть, космический корабль: до Байконура от Карамышева двести километров по прямой. Подробности запуска и биографии космонавтов я узнал в тот день из газет.

. . . В аспидной черноте степной ночи полыхали огни, одни комбайновые звенья подбিরали валки, другие переезжали с обмолоченных полей на ждущие обмолота.

Афанасьев глядел на ночную работу в степи. Что-то видел, невидимое мне. И опять мы куда-то мчались. Въехали на освещенное фарами идущих комбайнов поле. Афанасьев вылез из машины, пошагал вслед грохочущему, пылящему агрегату, нагнулся, что-то поднял с земли. Обогнал комбайн, сделал знак остановиться. Комбайнер спустился наземь — мужчина в годах. Лицо его выражало известное каждому из нас душевное состояние: знает кошка, чье сало съела.

Из тьмы на свет вдруг явился агроном Николай Шишкин, молодой, худощавый, высокий, в брезентовой куртке и кирзовых сапогах, с полевой сумкой через плечо, с обметанными щетиной и пылью острыми скулами, насупленный, непрощающий.

— Что же ты, Петр Степанович, — выговаривал комбайнеру Афанасьев. — Хлеб ведь не наш с тобой, государственный. . . Над хлебом изгиляться, это уж я не знаю. . . В войну, вспомни, как колоски собирали. . .

— Я всем говорил: на первой повышенной! — рывкнул агроном Шишкин.

— Дак я. . . на второй пониженной. . . попробовал, — мучился комбайнер.

— . . Он у нас механиком в мастерских, — сказал Афанасьев, когда мы опять остались вдвоем в машине и зазвучала музыка. — Наш кадровый механизатор. Из Воронежа. Всем хочется побыстрее, побольше, а побыстрее не получается, хлеб не тот. . . Наших мы рублем воспитываем. За выслугу лет платим, механизатору начиная с трех лет, животноводу — с двух. Кто пятнадцать лет отработал, начисляем надбавку в размере двадцати пяти процентов годового заработка. Это же большие деньги. За нарушение трудовой дисциплины, за брак в работе снимаем надбавки. Вообще-то чаще всего потом на общем собрании амнистируем. Мужик встанет, покается, все знают его как облупленного, мужик-то свой, жалко. . . Ну, конечно, при общих высоких показателях. Нам надо одну победу! Напряжение страшное, все понимают. . . А вдруг завтра дождь, — и поплывет, и начнет разваливаться. . . В уборку надо втянуться — это особое психологическое состояние. Завтра по-другому работать будут, чем сегодня, а послезавтра еще лучше, это же надо втянуться. . . Два дня мы жали, начали выборочно обмолачивать, и тут — черт знает что — откуда-то нанесло тучу, как специально для нас. У соседей

ясное небо, и в Змеиногорске сушь, а у нас дождь зарядил и поливает, такой подлый дождь, с утра до вечера. Я в Новокузнецовку прибежал, мне говорят, один из лучших наших комбайнеров Горшков напился, ушел с комбайна. К утру тучу угнало, солнце жаркое, хлеб подсох, а Горшков пьянствует. Ну как это понять? Ведь сам же человек всю жизнь себе зачеркивает, и заработок, и доброе имя, и все. И дети у него. У меня такая злость была, думал, выгоню из колхоза. Потом прошло. Горшков ко мне является: «Простите, бес попутал...» Ладно. Вижу, мучается мужик. Сейчас с комбайна не слезает, в кабине и спит.

Дело к полночи, а все так же бежит под колеса дорога, горит рубиновый глаз рации, бренчит музыка. Идет жатва. Как будто спать никому и не надо.

Мне вспомнился другой мой старый знакомый, великий мастер земледелия, агроном из Ленинградской области, заслуженный агроном республики, Герой Социалистического Труда Александр Федорович Петров. Инвалид войны, он без малого тридцать лет проработал главным агрономом в совхозе «Красная Балтика», а с недавних пор стал научным сотрудником Агрофизического института. Нынче летом мы ездили с ним по полям «Красной Балтики» (там опорный пункт института). Было время уборки, убирали ни шатко ни валко. На ячменном поле гектаров в сорок носами друг к дружке стояли шесть комбайнов «Нива» с полными бункерами зерна. Обслуживала этот комбайновый комплекс почему-то всего одна машина. Комбайнеры полеживали на соломе. Пожаловались своему бывшему главному агроному: «Вспоминаем, Александр Федорович, при вас такого и быть не могло».

Я сидел за рулем моего «Жигуленка», Александр Федорович рядом со мною. Мне хотелось ехать по полям, по стерне с тою же лихостью и уверенностью, с какою ездит мой алтайский товарищ... Агроном Петров, глядя в даль возделанной им когда-то, освобожденной от камней и кустарников, удобренной, превращенной в угодыя нечерноземной равнины, высказал самую важную свою мысль: «В сельском хозяйстве, если хочешь что-нибудь получить от земли, надо работать с упоением!»

— ...В Сибири хлеб никогда сам не давался в руки,— сказал Афанасьев,— у нас зона рискованного земледелия. Надо выкладываться до предела. Некоторым

кажется — раз машин стало много, теперь у нас вроде как на производстве, от и до... Такой тракторист у нас есть, Трунов, тоже в Новокузнецовке... Наши умельцы в мастерских толкач изготовили — простое приспособление, на «Беларусь» навешивается; машина с хлебом на ток пришла, борта откинули, толкачом можно все за пять минут спихнуть. А так, вручную, лопатами, часы уходили, да и людей у нас нет... Трунову на «Беларусь» и навесили первый толкач, он аккуратно работает. Ага! Дело идет, все довольны, ну просто загляденье. Трунов до девяти часов поработал и говорит: «Все, мой рабочий день окончился». Ему: «Ну как же окончился! Люди работают, машины с зерном прибывают на ток. Уборочная страда!» А он уперся, ну, принципиальную занял позицию, дескать, не обязан, это не по закону и все прочее. Ну как не по закону? Мы же учитываем, сверхурочные платим. Уборка — такое дело: один недоработает — на общем результате сказывается. Значит, и все теряют. У кого такого сознания нет, тот в нашем колхозе не может существовать. Ну, что? Посадили на «Беларусь» другого тракториста. Трунова отправили на ферму скотником.

..Приехали на какой-то ток. Попробуй их отличить один от другого, особенно ночью: над землей висит эдакая бандура, величиною с районный Дом культуры, внутри происходит не видимая с земли работа, что-то урчит. На асфальтированной площади горы, холмы и сопки зерна: пшеницы, ячменя, овса, гороху. Въездная арка ворот с весами. У ворот избушка на курьих ножках. Внутри избушки на стенах какие-то сыскались лозунги, сводки, вдоль стен лавки, на лавках забывшие, когда спали, осовелые люди; включенная, с тлеющим угольком-лампочкой рация; за столом заведующий (в данном случае заведующая)...

- Если бы председатель и не заехал ночью на этот ток, веялка и сушилка все так же бы веяла и сушила, зерно бы текло по транспортерам, моторы урчали. Но председатель каждому несущему ночную вахту на току что-то такое сказал, кому надо было высказаться, того он выслушал. Что-то и присоветовал, по-отечески, как глава большой семьи: «Гороху просили из Третьяковского совхоза, приедут, так вы им дайте. За пшеничкой следите, чтобы не согрелась внутри бурта». Председатель и пошутил, поулыбался. И вроде как пободрее зажужжали веялка и сушилка. И люди, похоже, проснулись, зашеве-

лились. И никого не осталось в конторке тока, только мы да заведующая Матрена Афанасьевна, в сапогах, телогрейке, в повязанном по-старушечьи платке. Что было когда-то в этой женщине женского, все она изжила за свою долгую крестьянскую жизнь, только глаза остались такого цвета, как льняные поля у нас в России, или, как теперь говорят, в нечерноземной зоне.

— Подержись еще, Афанасьевна, — ласково сказал ей Антон Григорьевич. — Вот уберемся — и запируем.

— Я-то подержусь, Антон Григорьевич. Вон молодые носами клюют. — Афанасьевна улыбнулась, еще заметнее стали ее глаза.

— ...Вечная труженица, — сказал Афанасьев, когда мы уехали с тока. — Моложе она — ну, не то что красавица была, а так, женщина симпатичная. Замуж вышла, что-то у них не получилось с мужем, он уехал, у нее сын остался. В общем, личная жизнь не заладилась, а так, по работе, она всегда безотказная была. Такая заботливая, хозяйственная. На току у нее всегда подметено, чисто. Посидишь с ней рядом, она тебе улыбнется — как будто солнышко выглянуло.

11

...Кажется, я уже потерял способность ориентироваться не только в пространстве, но и во времени. В голове крутились строчки когда-то читанных стихов: «Местопребывание — Земля. Времяпровождение — Эпоха...» Голова явно теряла крепость сочленения с телом, совершала произвольные кивки и наклоны.

Заснуть рядом с бодрствующим водителем было бы как-то совсем уже мелкотравчато. Закурить?.. Однажды, следуя за Афанасьевым, подобно продолговатой вечерней тени, по стерне, мимо куч только что вышедшей из комбайновых молотилок соломы, я сладостно сжег папиросу, как мы говорили в нашем отрочестве, «до фабрики» и кинул окурки, считая, что от щепотки чуть тлеющего пепла поле не загорится. И вдруг я перехватил взгляд председателя, проследивший за полетом окурка «беломоринны». Он быстро шагнул в точку падения окурка и с омерзением его задавил.

Глядя, как я закуриваю по-новой, он сощурился и не то попросил, не то посоветовал: «Ты бы бросил курить. Тебе бы легче стало. Я четыре года назад в санаторий приехал в Карловы Вары, пачку «Беломора» открытую

на стол положил, сказал себе: «Все». И не тронул. Так и осталась лежать».

Закуривать в машине, пожалуй, не стоило.

По счастью, мы уже въехали в Карамышево. А там и мой, то есть восходовский, самовар. И можно наконец сделать те самые баиньки, которые я заслужил, проведя день-деньской на буксире у председателя одного из самых хлебных колхозов на Алтае, в пик уборки...

Но сон вдруг отстал от меня. Даже расхотелось ложиться. Жаль тратить время на сон.

Вдруг переменится ветер?.. Чем кончилось у парнишек, придавленных под валком? Как выкрутятся с горючим, — обещанная цистерна в Третьяки так и не пришла... Догонит «Восход» «Россию» по урожайности? А вдруг перегонит?

Хотелось, чтобы скорей было утро.

12

Утром Афанасьев появился непроницаемый, неразговорчивый — он это умеет, — только сообщил мне, что с парнишками все обошлось, руки-ноги целы, сами могут ходить. И цистерна пришла наконец в Третьяки...

Он мельком поговорил с пришедшими позавтракать рубцовскими девчушками, педалируя для чего-то на возлюбленные средствами массовой информации, имитирующие ученость словечки и обороты типа: «импульс», «регнон», «психологический барьер», «нравственный климат».

— Ну, как адаптируетесь?

Вперед выступила самая бойкая:

— Да не очень-то адаптируемся. Постираться некогда, и в баню тоже сходить надо, уже который день ночью возвращаемся...

— А вы по скользющему графику... — посоветовал председатель.

Девчушки не нашли, что сказать. Кажется, никто из них не знал, что такое «скользящий график». Афанасьев не стал объяснять. На чело его нашла туча. А день обещал быть таким же погожим, как и вчера, может быть еще и получше.

Я прикинул, откуда ветер: солнце встало вон там — там восток, подалось кверху и к югу... Ага! Ветер с севера. При безоблачном небе, северном ветре и благо-

приятно складывающихся обстоятельствах Антон Григорьевич был не в духе. Чужая душа потемки.

Он мне сказал, что сейчас придет секретарь горкома. Предстоял разговор об увеличении обязательств продажи хлеба государству.

13

Я решил воспользоваться окном в распорядке дня, сбежать на ближнюю сопку. Задумано — сделано. Вначале прошелся долиной Корболихи, с крутыми берегами, заросшими таволгой, боярышником, черемухой, с отмытыми галечными косами, с нависшими над звонкоструйной, по-горному синевато-прозрачной рекой деревьями ивовых пород — их называют и тальниками, и лозняками, и просто ивами, и ракетами; с чудной игрою света и тени, с первозданно-укромными уголками, шатрами ветвей над головой, тихими заводами и щебетливыми перекатами. Тропую, пробитой в сплошной заросли — шагу в сторону не ступить, — я добрался до означенной природой черты, выше которой по склону были только камни, мхи и пучки полыни.

На вершине сопки ветер дул с такой силой и постоянством, что в поднятых руках осязалась первооснова когда-то, быть может, запроектированных и ощищенных тысячелетней эволюцией крыл. Внизу у подошвы сгрудился вокруг учительницы отряд школьников, по виду — пятиклашек, и глядел на меня — единственное живое существо на обозримых, вполне необитаемых в эту пору каменистых горных грядках. Учительница дала ребятишкам добро, и они, как птичья стая, порхнули вверх по склону. Наши бы, городские пятиклашки и не решились, а карамышевские вмиг, с камня на камень, набрали высоту и окружили меня, сохраняя, впрочем, дистанцию. Они подсматривали за мною, притаивались в складках местности, похоже, выслеживали. Игра эта в кошки-мышки (я исполнял роль мышки) длилась какое-то время, затем мои красные следопыты спорхнули с сопки и что-то такое доложили своей предводительнице.

Мне ничего не оставалось, как порезвее скатиться к ним вниз, пока они еще не донесли о выслеженном ими праздношатающемся подозрительном субъекте куда следовало.

Внизу карамышевские ребятишки не так опасались меня, как навверху. Они спросили:

— Вы кто, геолог? Вы откуда приехали? А что вы там делали?

— Мы подумали, что вы преступник, — объяснила подошедшая учительница повышенное любопытство ко мне карамышевских ребятишек. Она обескураживающе улыбалась.

Я подумал: «Спасибо вам за внимание», но не сказал. Просто понял, что давно уже мне пора пойти в Карамышевскую среднюю школу и объяснить ребятам, кто я есть, а уж они-то разнесут по селу.

14

Когда я рассказал Антону Григорьевичу о похвальной бдительности детей полеводов и механизаторов вверенного ему колхоза, он словно прочел мои мысли:

— Может быть, выступишь перед ребятами? Им же интересно. Они живого писателя не видали.

Афанасьев вызвал по рации «центральную Зою», попросил ее позвонить в школу Нине Михайловне и сказать, что сегодня в час дня перед старшеклассниками выступит писатель...

Карамышевские старшеклассники отличались от своих сверстников-горожан сибирской, крестьянской, полевой загорелостью пополам с румянцем, изрядными телесными формами. В мальчишках угадывались ширококостные, большерукие, способные водить трактора и комбайны мужики, в девчонках — крепкие сибирячки, основа всего. Светлая масть преобладала над темной. Вселенское акселератство если и коснулось этих мест, наружу не выпирало.

О чем говорить с карамышевскими ребятами — такого вопроса передо мной не стояло, мне надо было поделиться чувством, которое привело меня на Алтай, — любовью к этому краю, этой земле. Здесь прошли годы моей молодости — главные годы, основа судьбы, целина, осознание себя гражданином великой, непобедимой, неистощимой страны привольных хлебных степей, синих гор, шумных рек, отзывчивой на душевный порыв и труды человеческие, — России. Сколько я успел пройти по тропам Алтая, надышаться его целебным воздухом, напитать зрение его красотой, столько унес с собой в жизнь восторга перед высоким предназначением простых, обыденных человеческих дел на прекрасной земле моей родины. Уезжая с Алтая, я вновь возвращаюсь

сюда — подзаправиться этим восторгом, без него моя работа вянет и замирает.

На Алтае я повстречал Шукшина. Отсюда началась наша дружба с Василием Макаровичем...

Отговорив сорок пять минут до звонка, я вышел под синее небо, под жаркое солнце, на дующий с севера ветер, и было мне хорошо от молотьбы языком, как хорошо бывает от честно и с пользой для кого-то исполненного дела.

15

Раз уж отбилась с утра от председателя, то и сел в автобус, через пятнадцать минут вышел на конечной станции в Змеиногорске, пыльном городишке под лысой Змеевой горой, с кратерами бывших шахтных выработок и карьеров, с краснокирпичными строениями на площади, дошедшими до нас из восемнадцатого века — демидовской эпохи.

В редакции районной газеты «Прогресс» после первых же наводящих моих вопросов я выслушал, по-видимому, выношенный, ждавший случая быть оглашенным монолог хорошо информированного ответственного сотрудника:

— ... Не знаю, конечно, могут быть разные мнения, но я ставлю Шумакова как руководителя хозяйства выше Афанасьева... Хотя лично у меня отношения с Шумаковым трудные. И вообще человек он нелегкий. Но — интересная, богатая личность. Вы послушайте, как он выступает, как говорит, — не только о своем, но остро, принципиально реагирует и на то, что у соседей делается... Вообще в «России» другой масштаб, чем в «Восходе». Шумаков внедряет у себя все технические новшества. У них в колхозе построили животноводческий комплекс на тысячу двести голов. Теперь хранилище для сенажа возвели — импортное; другие председатели пока в затылках чесали, Шумаков у себя поставил. Сейчас санаторий колхозный строит на сто мест. Да и вообще, сравните Барановку и Карамышево по благоустройству, — это же небо и земля. А возьмите уровень специалистов в «России» и в «Восходе»... У Афанасьева на командных должностях нет ни одной крупной, хоть сколько-нибудь самостоятельной фигуры, ему это не надо... Конечно, по хлебу в «Восходе» хорошие показате-

ли, а по животноводству, по строительству и вообще. Человек не хлебом единым жив...

Я хотел было возразить моему змеиногорскому собрату по перу, напомнить ему, что председатель «Восхода» включился в хлебный марафон много позже соседа, «Россия» к той поре уже располагала изрядным экономическим и производственным потенциалом, председатель «России» собрал урожай признания и наград... И на что было делать Афанасьеву ставку, как не на хлеб, когда он начинал строительство в Карамышеве, имея под боком пример отстроившейся много раньше Барановки.

Но я не стал возражать, памятуя о том, что не бывает пророка в своем отечестве, а если и бывает, то уж не более одного. Единственная вакансия на роль пророка в Змеиногорском районе уже занята: председатель ордена Ленина колхоза «Россия» издавна соответствует этой роли.

Кто из двух председателей лучше, выше, талантливей, — я не задавался таким вопросом. Мне думается, любой ответ на него оказался бы на поверку несправедливым. Идущему впереди — всеобщее внимание и хвала. Но взгляните в того, кто дышит в затылок лидеру, догоняет на финишной прямой, вырывается вперед на сантиметр, то есть на центнер...

16

Я спускался по длинному взвозу, ведущему из центра Змеиногорска к перекрестью дорог, к автостанции. Пустынно было так же, как пустынно в дни уборки на широких улицах здешних сел. Только озабоченные своими делами, беспородные, тем и гордые, очень самостоятельные, лохматые, пегие, рыжие, коротконогие, трусили по разным направлениям змеиногорские псы. Нещадно налило солнце.

Я пребывал в глубоком раздумье, куда теперь ехать, в Карамышево или...

К автостанции подошел карамышевский автобус. Я занял в нем место. Кондукторша объявила:

— Едем в Барановку. Школьников со свеклы вывозим.

Я взял билет до Барановки.

Тополевыми, тальниковыми проулками мы выехали в

степь. Она была тут положе, ровнее, чем по дороге в Карамышево. Всю ее распахали — подняли зябь. Посреди черной пахоты дотлевали сожженные кучи соломы, сладко пахло дымком. Как мне было уже известно, солону в «России» сожгли за ненадобностью: кормов скоту там заготовили чуть ли не на две зимовки.

Село Барановка привольно расположилось «среди долины ровныя». От самой околицы начинался не то топовый лес, не то руками саженный и вошедший в зрелую пору парк. Сначала меж тополиных стволов мелькали беленые хаты, ближе к центру пошли добротные кирпичные дома. Барановские жители докапывали на усадьбах картошку. У моста через речку армянские каменщики-зодчие-скульпторы возводили фонтан: три огромные белорыбицы с разинутыми ртами вполне уже были готовы к тому, чтобы из ртов их ударили струи.

Я вышел из автобуса, огляделся, шагнул в подъезд колхозной конторы, поднялся на второй этаж, вошел в приемную председателя, не ждавшего меня, не предупрежденного ничьим звонком, — мне говорили, что так просто к Шумакову не стоит соваться, он может и не принять...

— Илья Яковлевич у себя? — спросил я секретаршу.

— Он уехал в Барнаул, — отвечала она, оглядывая и оценивая неизвестно откуда явившегося посетителя.

Автобус битком набит змеиногорскими школьниками, с большими ножами и тяпками, торчащими из мешков и корзин. Было видно, что оттяпывать свекольные хвосты для этих ребят — привычное дело.

Давшие мне место парнишки быстро всего меня «разобрали на части», выделили наиболее интересную для них «часть». Один без обиняков осведомился:

— Вы где эти джинсы купили?

Я задумался на мгновенье, что отвечать, и признался чистосердечно:

— В городе Лондоне, на улице Оксфорд-стрит.

— А сколько стоит?

— Десять фунтов стерлингов.

Мои соседи малость насупились, обособились от меня. Может быть, они подумали обо мне то же, что и карамышевские пятikleшки, выслеживавшие меня на горе.

Может быть, и не стоило так сразу выкладывать неподготовленным отрокам всю правду-матку о джинсах.

— У меня никакой специальности нет,— сказала диспетчер Зоя.— Я вообще-то секретарь-машинистка. А раньше в Рубцовске на мясокомбинате, на колбасной линии, работала — тяжелый физический труд. Мой муж техникум закончил, его сюда направили, мы еще к его родителям заехали в Усть-Пристань. Там у него лодка моторная, и вообще он любит водные просторы. А я сама из России, из Кирова. . .

Зоя с удовольствием щебетала со мною. Какая девушка осьмнадцати лет не любит пощебетать во время исполнения своих прямых служебных обязанностей? Она сидела за пультом на центральной диспетчерской, на втором этаже конторы, неподалёку от кабинета председателя. Когда рация подавала признаки жизни, Зоя тотчас прерывала свой щебет, добавляла в девический, ясный, отчетливый, по-вятски певучий голос нужную унцию металла, то есть становилась центральной.

Была она не по-сибирски хрупка и долговяза, с подкрашенными губками и подсиненными веками. Сибирское солнце не опалило ее, да и какое тут, в диспетчерской, солнце? Зоя сначала мне рассказала всю-всю, до краешка памяти, свою юную жизнь, а после уже спросила, кто я такой. Собственно, даже и не спросила, я сам назвался. Зоя смотрела на людей много доверчивее карамышевских пятиклашек.

— Ой, вы знаете,— щебетала Зоя,— мы сюда с мужем (ей очень нравилось слово «муж») приехали, нам Антон Григорьевич предложил трехкомнатную квартиру. А куда нам такая площадь? У нас же ничего нет. Потом однокомнатная освободилась, мы в однокомнатной. . . Мой муж на меня ворчит, я же должна ему готовить и вообще. . . А мне и дома бывать некогда. Я и в поле ни разу не была. Мария Савельевна обещала меня взять с собой, а нам и времени не выбрать, то она занята, то я не могу. В первый день я как села за этот пульт, мне что-то говорят, я ничего не понимаю. Потом уже понемножку стала входить в курс дела. Я вообще никогда в деревне не жила, в городе там идешь, все новые лица. А тут одни и те же каждый день. И в театр не пойдешь, никуда. Может быть, привыкнем, люди же живут, правда же? Два года уж точно после техникума мужу отработать надо, а потом посмотрим. У нас и огорода нет, а тут у всех огороды. Родители моего мужа

присылают картошку и все... Вон видите на втором этаже крайнее — это наше окно. Мой муж домой вернулся, он электромеханик, раньше меня возвращается,— и сердится, что меня дома нет. Мы с вами разговариваем, а он нас видит.

Зажегся глазок на пульте.

— Центральная! Я — первый!

— Слушаю, Антон Григорьевич!

— Зоя, соедини меня...

Зоя сделала мне глазами:

— Это вас.

— Ты куда потерялся?

— Да я...

— Ладно, спускайся, сейчас приеду. Хочу тебе кое-что показать.

18

— Пятнадцать комбайнов из «Красной гвардии» пришло, — сказал Афанасьев. — Надо с председателем повидаться. Без личных контактов такие дела по-доброму не решают. Завтра из «Памяти Кирова» еще придут. Три бы дня постояла погода... Тьфу-тьфу-тьфу...

Мы ехали куда-то на «УАЗе», миновали Змеингорск. Дорога шла все гористой, склоны делались круче, пахота съезживалась. В седловинах меж сопок открывалась панорама второго горного яруса, там уже была тайга.

Остановились в центре села у конторы «Красной гвардии». Заметно вечерело, однако армянские каменщики, шустро работая мастерками, лепили кирпич на кирпич, возводили здание с узкими продолговатыми окнами, в восточном стиле, непонятного нам пока что назначения.

Спросили у прохожего, что за дом. Он ответил, что баня.

— А чего же окна-то узкие?

— Чтобы не подглядывали,— серьезно объяснил прохожий. Добрую шутку и надо изрекать с серьезной миной. Иначе грош ей цена.

Тут приехал председатель «Красной гвардии», совсем молодой, зеленоглазый, простоволосый, в сером костюме, наимодной сорочке, при польском однотонном галстуке с большим узлом. Не председатель, а картинка. Я уже знал, что он доводится троюродным племян-

ником Антону Григорьевичу и фамилия его Афанасьев.

Младший Афанасьев пересел к нам, чего-то посуетился насчет припасу, но старший по-отечески пресек это дело. Троекродный дядюшка не спрашивал у племянша дорогу. Он ехал с хорошо известным мне вдохновением, все более оживлялся, сворачивал на гранатового цвета гречишные пажити, искал косачей, которые были когда-то, а нынче не видно. Наконец он съехал в глубокую падь, машина умолкла.

Солнце светило сбоку, вровень с хребтом горного кряжа, поросшего чистой редкой сосной. Оно светило именно так, как следовало ему светить, чтобы открылся взорам обработанный до завершенности ветром-вяте-лем, зноем, стужей и временем каменный останец. Он являл собою величавый профиль женщины.

— У нас ее называют Барыня. Я хотел тебе ее показать. И освещение в самый раз,— сказал Антон Григорьевич.

Многому научились люди, но Природа все знала и все умела и без людей, до людей. Царственность человеческого лика, его нерукотворность, самоценность в ряду горных кряжей вселяли в сердце восторг и трепет открытия мира, приобщения к таинству творения Красоты.

.. На самом доньшке пади, в высоких травах струился ручей. Вода его, подобно водам Ганга, несла в себе растворенное серебро. Афанасьевы, старший и младший, наперебой делились своими познаниями о целебных свойствах этого ручейка.

— Однажды я привез сюда московского драматурга,— сказал Афанасьев-старший.— Он уже старенький, лет семидесяти. И вот он как увидел все это, стал на колени, припал к земле... «Это, говорит, святая земля!»

Я даже подивился такой поворотливости карамышевского председателя: и хлеб лучше всех выращивает, и со мной уже который год цацкается в уборочную страду, еще успел и московского драматурга сюда завезти... Ну Антон, ну Антон!

Старший Афанасьев совершенно преобразился, стал светлым, по-детски радостным, все говорил, говорил — о том, что раньше вот здесь, в этой балке, стоял кордон лесника-поляка. И была у поляка прекрасная пасека, а сам поляк был строгий и неподкупный лесник, стерег леса как зеницу ока... И водилось в здешних ручьях не только серебро, но и золото...

— Я помню, году, наверно, в тридцать четвертом,

тридцать пятом... отец нас в баню возил в Змеиногорск. А там у бани ручей протекал. И на ручье старатели золотишко мыли в лотках. Ну, по горсточке намывали за день золотого песочку. А кому и зернышки попадали, когда подфартит... Сдавали в торгсин...

Постелен был на хвое под елками у ручья давно мне известный брезентовый полог — личный, карамышевского председателя. Его знакомство с обычаями заморских стран (Антон совершил круиз на лайнере по Средиземному морю) внесло некоторые изменения в состав напитков, подаваемых к бивачному столу: в одной бутылке была прозрачная влага, в другой — бордового цвета. Такую прихоть он объяснил следующим образом: «Я был там у них на приеме, они сначала водку подают, а после коньяк под кофе... Так что уж давайте как в лучших домах Лондона».

Анатолий Андреевич Афанасьев смотрел на своего троюродного дядюшку, внимал его речам с отроческой преданной любовью, впрочем, не заискивая перед ним, сознавая свое равенство со старшим в председательском корпусе, просто любя Антона, отдавая ему первенство не по годам, не по родству, а по хлебу. И радуясь тому, что пришел на эту встречу с дядюшкой, под Барыней у ручья, не с пустыми руками, а с пятнадцатью комбайнами, которые уже обмолачивают восходовский, афанасьевский, то есть общенародный алтайский хлеб.

Стало смеркаться, над ручьем восстал туман. Из зарослей тальника в распадке вдруг материализовалась комолая лосиха, приблизилась к нам и слушала наши речи, прядая ушами.

19

Антон Григорьевич включил рацию — восходовская волна и сюда доходила, под Барыню, — спросил вечернюю сводку, отвез домой Анатолия Андреевича, идти в гости к младшему отказался, как тот ни просил, объехал поля «Восхода». В Карамышеве повернул не к гостинице, а к собственному дому.

— Полине я сказал, чтобы баню стопила...

Это значило много. То есть это значило, что председатель «Восхода» почувствовал перевал в уборочной страде: главный, необходимый ему для существования хлеб сжат, обмолочен, свезен на тока. Ранее этого перевала он меня в гости к себе не водил, в бане мы с ним не паривались.

73

— По тридцать центнеров будет. По сегодняшней сводке, — сказал Афанасьев.

Мы попарились с ним в добро натопленной, с мягким паром бане.

Дом у председателя «Восхода» новый, под четырехскатной цинковой крышей, на взгорье с краю села. Я бывал и в старом председательском доме, он тоже был неплох, но этот лучше. Вся земля на усадьбе — под огородом и цветником. Имеется хлев: Афанасьевы держат корову; и сыновья, а теперь и внучатки вспоены молоком от собственной коровы. В гараже стоит собственная, Антона Григорьевича, белая «Волга». Когда и куда он ездит на ней, не знаю, не видел. Держат поросенка, а нынче вот еще завели целую стаю желтеньких гусенят. (У Антона Григорьевича вообще пристрастие к водоплавающим; вспомним, что родом он из приозерной деревни. И в колхозе утиная ферма — его любимое детище.)

В доме полы застелены коврами и стены завешаны — это по-сибирски, для тепла. Разуваются у порога. В гостиной-горнице цветной телевизор, стеллажи с книгами: общественно-политическими, сельскохозяйственными и художественными.

К столу после бани сошла вся семья Афанасьевых. Приехал старший сын Виктор — лобастый, большоголовый крепыш — с женою; она работает экономистом в совхозе «25 лет Октября». Сонные внучки пришли почеломкаться с дедом и вскоре были уложены спать. Хозяйка, Полина, хлопотала у стола, приносила с кухни яства. Младший сын, именуемый по-домашнему Женькой, инженер-электрик, уплетал за обе щеки и помалкивал. Хозяин сидел во главе стола, в той же позе, в какой он привык сидеть за столом в председательском кабинете, не расслаблялся. Или, может быть, тяжесть прожитого дня давила ему на плечи.

На столе был представлен полный набор карамышевских огородных культур. По-сибирски засоленные помидоры не лопались, будучи проткнуты вилкой, сохраняли свою помидорную плоть. Грузди и валуи со сметаной и репчатым луком таяли во рту, оставляя привкус чего-то терпкого, как поцелуй в студенческие годы. Янтарная картошка исходила духмяным паром. А пельмени... О, пельмени! Они подавались в неисчислимом количестве. И еще дожидались своего черед а опята, жаренные таким образом, что каждый опенок мог быть

отправлен в рот, проглочен и оценен сам по себе, отдельно от массы.

Участвуя в семейном застолье в хлебосольном доме Афанасьевых, я думал, что на привычный для хозяина этого дома вопрос «Как вам удается выращивать высокие урожаи?» можно бы было ответить самым неожиданным образом, как говорят, зайти с другой стороны. Хорошим председателем колхоза на Алтае, да и где угодно, едва ли можно стать, не обзаведясь вначале женою — хозяйкой, стряпухой, искусной домоправительницей, доброй душой, подругой.

Не навешивая порядка в собственном доме, не уповай на успех и на общественной ниве... Эту старую, как мир, истину я заново постигал, уписывая подаваемые Полиной на стол разносолы, проникаясь духом какой-то особенной любовной бережливости друг к другу, царящей в этой большой, в лучшем смысле интеллигентной семье.

20

Утром, как всегда, Антон Григорьевич мчался по степи.

— Я вчера перед сном почитал «Председательский корпус» Георгия Радова, — сказал он мне (сам я уже перед сном ничего не мог почитать). — Ну молодец, так здорово все берет... В каком-то колхозе, он пишет, на Кубани, утром на разнарядке весь день спланировали, как положено, все по полочкам разложили... А он с бригадиром — ага! — в повозку сел и в бригаду, на стан. А там — одно, другое, кто-то не вышел в поле, у кого-то теща померла, трактор сломался, пищу вовремя не подвезли. И все пошло наперекосяк. Еще и тучу нагнало. Планировали одно, а вышло другое... В сельском хозяйстве, конечно, надо планировать и день, и кампанию, и год... Но все равно каждый день сочиняешь заново. Как у вас, у писателей? Чистый лист бумаги перед собой кладете... Есть вдохновение — значит, дело пойдет. На земле тоже надо трудиться с вдохновением...

Навстречу пылил грузовик. В зубах у шофера зажата папироса. Стекло к кабине опущено. Ветер дует. Искры летят.

Афанасьев надавил на тормоз и одновременно на сигнал: «Стой!»

— Почему курите? Одной искры хватит, чтобы все

спалить на таком ветру... Да нет, я говорю, своя-то голова у тебя есть на плечах? Вот сейчас ссадим с машины и отправим домой с отрицательной характеристикой... Ну ладно. Бежи. А смолить прекрати. Два дня осталось, избави бог, загорится.

Афанасьев долго, неумоимо, невозмутимо разыскивал кого-то по телефонной сети. Другой, ну вот хотя бы и я, давным-давно бы смирился и трубочку положил на место. На нет и суда нет. Антон Григорьевич все просил у девушки вот такой-то номер, а если этот не ответит, тогда вот такой, а если и там не получится, тогда через Третьяки...

Связь то нащупывалась, то пропадала. Время было такое: уборка; абонент ускользал, не давался. Когда наконец Афанасьев достиг желаемого, услышал единственно нужный ему в это утро голос, он чуть не прослезился от радости:

— Микола! Я тебя как в облигацию выиграл.

Речь с Миколой пошла о комбайнах, то есть о том, когда и сколько комбайнов направит Микола в «Восход», и еще о том, что надо бы повстречаться сегодня, откладывая некуда, в четыре часа, у края березняка над логом, где «Восход» овсы сеял, а сосед за межой — кукурузу.

— Ну, ты помнишь, мы с тобой там в прошлом году сбегались... У меня гость из Ленинграда, — уговаривал, соблазнял Афанасьев Миколу.

Закончив разговор, Антон Григорьевич с минуту переживал осуществление желаемого, отдыхал после затраты нервов на телефонный розыск, потом обратился ко мне:

— Это сосед мой, председатель колхоза «Память Кирова» Бадулин Николай Михайлович. Я вас с ним познакомлю. Интересный человек. Мой друг старинный... Он у себя в колхозе пивной завод построил. С урожаем у него не очень, средне, а доход от пива страшный. Сорты ячменя они сеют наилучшие для пивоварения, и еще вода... От воды качество пива тоже зависят. Он тебе понравится, Микола Бадулин. Крестьянин исконный, войну всю прошел, отчаянной прямооты мужик, правду-матку кому хочешь врежет. Он в колхозе своем как батька — и строгий, и ласковый.

Афанасьев говорил о своем лучшем друге мечтательно, будто и сам бы хотел стать таким, да вот не сумел. — Мы с ним вместе институт кончали, четыре года в однокашниках проходили. Председательский стаж у нас у обоих почтенный, у него побольше, чем у меня. . . А дипломов-то не было. Без диплома в наше время поганно, как все равно комплекс неполноценности. Я на зарочное подал в сельхозинститут и Миколу тоже уговорил. Экзамены сдавать приемные, а там высшая математика. . . Наши знания какие после техникума? Да и что знали, забыли под корень. Мой сосед поглядел, такое дело, и в кусты. «Нет, говорит, Антон, и позориться не буду на старости лет». Я тоже засомневался. На душе кошки скребли. Решил заявление брать обратно. Ладно, люди нашлись, от кого зависел прием. Говорят мне — это не дело: мальчишек, девчонок с дипломами мы как котят бросаем в сельское хозяйство, а перед такими специалистами, как вы, вдруг двери закроем. В общем, приняли и меня, и Миколу я уговорил. . . Первое время, конечно, тяжело было, мучились мы с ним, а когда пошли практические дисциплины, тут мы уже тузами ходили. В общем, закончили, в семьдесят третьем году нам дипломы вручили. И такая радость была. . . Знаешь, будто самый счастливый день в жизни.

Антон Григорьевич пережил свою радость, она проступила на его открытом, отзывчивом на движения души лице. Он взял трубку восходовского коммутатора, набрал номер и не то чтобы дал указание, а попросил: — Мария Никаноровна, приготовь к четырем часам. . . , легкий полевой обед. . .

22

В четыре часа мы култыхались по кукурузному жнивью. На нем паслось стадо коров, под присмотром верхоконного пастуха. Афанасьев ехал предельно тихо вдоль опушки березового колка; можно было увидеть сквозь частокол белых стволов прозелень затененных лужаек и дотянуться рукой до гроздьев красной калины. «Калина красная, калина вызрела. . .»

Въехали на лысый пригорок, с него далеко было видно, километров на пять во все стороны. Из деревни Воронеж выкатил маленький автомобильчик, запылил в Карамышево. Может быть, повернет к нам? Не повернул. Сосед опаздывал. Время шло, а цена ему оставалась высокой.

Афанасьев включил рацию, словно эфир донес ему чьи-то зовы. И правда, рация зашкворчала.

— Первый, первый, первый... Я третий,— взывала главная агрономша «Восхода».

— Слушаю, Мария Савельевна.

— Антон Григорьевич, на Новокузнецовском участке «харьковская-46» не доспела. Сыровата еще, с бобышками. Два бы дня ей долежать, дойти до кондиции...

— Экспериментов не будет! — произнес председатель «Восхода» таким голосом, чтобы всем было слышно. — Некогда долеживать. Вышли все наши сроки! Пора кончать! На току досушивать будем. Рисковать у нас нету права. Вы меня поняли, Мария Савельевна?

— Поняла, Антон Григорьевич. Жалко, потери будут. Зерно не вымолачивается полностью.

— Все. Действуйте.

Афанасьев съехал на травку под сень берез, расстелил брезентовый полог, сервировал легкий полевой обед. Так тихо, славно, тепло было в мире, что если чего и хотелось, так вот приникнуть к теплой земле и слушать цвирканье кузнечиков.

— Что-нибудь его задержало, знаешь, на председателя колхоза всегда спрос. Председатель — и поп, и комиссар, и отец родной, и стрелочник... Приедет. Он на «Ниве» ездит, салатного цвета. Ну, давай... — Антон Григорьевич малость нервничал. Повода для легкого полевого обеда вдвоем, с глазу на глаз, у нас вроде и не было, — я доживал в «Восходе» вторую неделю: как будто мы все сказали друг другу, что надо было сказать. Очень нам не хватало соседнего председателя.

— Так хорошо, что даже выпивать не хочется, — подумал я вслух.

Афанасьев оставил этот мой крик души без ответа. Он все более погружался душою и мыслями во что-то свое, неизвестное мне...

— Ты, наверно, заметил, — сказал он после долгой паузы, — вчера утром я в дурном настроении был. Так прижало, просто места не находил... К маме я зашел, час с нею пробыл... Она уже старенькая, больная, беспомощная. С нами жить не захотела. Полина ей помогает, но, знаешь, невестка... Ей что-то еще нужно. Она смерть чувствует, ей скучно одной. У меня, кажется, теперь-то все... и деньги, и возможности, а чем ей помочь? Она меня спрашивает: «Ну как, сынок, хлебушко?» Я говорю: «Все хорошо, мама». Она меня по руке

вот так погладила: «Благословляю тебя, сынок». И в глазах у нее слезы. И я сам разреветься готов. А мне идти надо, ждут. . .

— Я тебя понимаю, Антон, я похоронил мою маму нынче весной.

Салатного цвета «Нива» вдруг бесшумно выделилась из прозелени травы и листьев, остановилась в двух шагах от нашей скатерти-самобранки. Николай Михайлович Бадулин, в распрекрасном костюме, цветной сорочке, в серой фетровой шляпе в тон костюму, в безупречно надраенных ботинках на толстой подошве, седой, похожий на киногероя из репертуара Жана Габена, явился нам как ангел-спаситель. Мы приступили к легкому полевому обеду, он был сдобрен наисвежайшим, фирменным — колхоза «Память Кирова» — пивом. И вскоре наши речи полились так же вольно, как льются песни жаворонков над весенней степью. У каждого из нас песня была своя, в общий хор они не очень-то сплетались. . .

— Вот, говорят, счастливое время — это детство, — без заминки, без притирки начал Бадулин, — а у нас, помнишь, Антон, какое было детство. . . Ты-то помладше. А я мальчишкой как впрягся. . . Тридцатые годы голодные были, коллективизация, раскулачивание. Или, говорят, счастливое время — юность. У меня юность — это война. После войны опять голодуха. . . А председательскую лямку тянуть — это что, легкий хлеб? . .

Николай Михайлович все курил, Антон Григорьевич прослеживал полеты окурков.

— Я помню, — вторил он другу, — году, наверно, в тридцать девятом, мне тринадцать лет было, я на бестарке хлеб возил от комбайна. Машин тогда в МТС ладно если пять штук было. А хлеб из бункеров, как и сейчас, на ходу высыпали. На бестарках лари установлены, в каждый килограмм по пятьсот хлеба входило. И вот мы, мальчишки, наперегонки, кто первый к комбайну успеет. И у всех у нас, помню, во рту сигарки. Самосад мы курили, из газеты сигарки скручивали, здоровые такие «катушки». Ветер дует, искры летят. А под ларями солома настелена. Такой случай вышел, я его на всю жизнь запомнил, к огню у меня особое отношение. Не могу видеть, когда рядом с хлебом курят. . . Ну, в общем, вспыхнула солома, огонь и зерно захватил. Я растерялся, мальчишка, в те годы за килограмм зерна в тюрьму сажали. Солома-то, знаешь, как порох го-

рит... Ну, как тут быть? Ладно, мужики рядом были, прибежали, кое-как погасили... А сейчас, возьми, трактора К-700 и комбайны все тоже... Они же в работе искрят. В конструкции что-то не продумано, ну, чтобы искроуловители были...

— Я в Сочи в санатории отдыхал,— завязывал свою новеллу Бадулин,— там со мной в палате соседом оказался главный инженер пивзавода из Риги. Ему я о своих делах рассказываю, он мне о своих. А у меня давно уже эта мыслишка была обмозгована: свое пиво варить. По урожаю с Антоном тягаться я уж зарекся: вон там, за логом, мы овес сеяли, едва по двадцать центнеров собрали с гектара, а у Антона рядом, на соседнем поле,— за сорок. На той же самой земле, под тем же небом...

Антон Григорьевич ухмылялся.

— Ячмени у себя я завел отменные, семена купил, все... А специалиста-пивовара не было. В общем, договорились мы с этим рижанином, он к нам в колхоз приехал, с технологией познакомил. Оборудование мы купили чешское. Варим свое пивечко, попиваем да похваливаем. И весь район в нашем пиве ус мочит, и край пользуется...

Я дождался паузы в председательском дуэте и тоже встрял, заявил мою тему, вполне созвучную, впрочем, тому, о чем шла речь у двух председателей колхозов, в алтайской степи, в осенний день, в канун завершения жатвы (в «Памяти Кирова» вчера закончили)...

Потом мы послушали песни. Бадулин принес из машины магнитофон. Концерт своего колхозного хора. Песни были протяжные, печальные, очень русские. И веселые тоже были.

После концерта председатели поруководили по радио делами в своих колхозах. Глядя на них, я пожалел о том, что не взял с собой фотоаппарата. Представьте себе такую картину: два добрых молодца, один краше другого, на фоне синих гор и многоярусных, нежной, пастельной окраски степей, на опушке яркого по-осеннему леса — один у коричневой «Волги», другой у светло-зеленой «Нивы», с поднесенными к устам микрофонами, с одинаковым выражением волевого усилия на обветренных, загорелых, одухотворенных предчувствием победы лицах,— отправляют свои войска в последний решающий бой...

Впрочем, войска Бадулина пришли теперь на подмогу армии Афанасьева.

Наступил такой момент, когда можно нам было, пожалуй, и разбежаться. Но тут внезапно Бадулин задал вопрос:

— Ты сколько, Антон, за уборку спал?

Антон улыбунулся, махнул рукой.

— Знаешь что,— сказал Николай Михайлович,— давай мы часок с тобой соснем. У меня спальный мешок всегда при себе.

— Да и у меня есть,— сказал Афанасьев.

И как-то очень быстро председатели облюбовали себе местечки под кустами калины, убралась в спальные мешки и, как говорят на Вологодчине, зауснули.

И я прилег на обеденном брезенте. Сон выдался легкий, полевой, как обед.

Нас всех троих разбудил в одно время будто побудчик-насмешник. Было десять минут седьмого. Впервые за всю страду, а может быть, и за всю свою председательскую жизнь, Антон Григорьевич опаздывал на планерку — она начинается в «Восходе» в восемнадцать часов. Он включил рацию, странным, будто и не своим голосом сказал в микрофон:

— Центральная... Я первый...

— Слушаю, Антон Григорьевич.

— Ну, как там, Зоя?

— Все собрались, ждут вас, Антон Григорьевич.

— Ждут... Это хорошо, что ждут. Передай, Зоя, сегодня не будет планерки. Пусть едут все по участкам.

— Хорошо, передам...— В голосе Зоном можно было прочесть понимание сути момента.

Антон Григорьевич выключил рацию, стал веселым.

— Давай-ка, Микола, повози нас по полям. Моя председательская «Волга» в «Восходе» всем уже глаза намозолила. А мы с тобой поедем инкогнито. Как туристы.

Николай Михайлович Бадулин ехал по степи и по холмам таким образом, чтобы пассажиры удостоверились в его водительских способностях высшего пилотажа. Он был рад выпавшему случаю продемонстрировать настоящую езду. Сутками, месяцами, годами, десятилетиями гоняя по степи, он ждал оценки своему умению

водить машину, нуждался в этой оценке, как нуждается каждый смертный в оценке хорошо исполняемого им труда. И я, грешным делом, возя Антона Григорьевича на своем «Жигуле» по ленинградским улицам, украдкой поглядывал на пассажира,— дескать, смотри, Григорьич, мы тут в Питере тоже кое-чего умеем, в смысле баранку крутить. И езда у нас не та, что у вас в степях...

— Вот по телевизору смотришь авторалли, — сказал Бадулин, — все мастера... А если бы нам бы дали поучаствовать в таком авторалли, при нашей-то тренировке... Мы бы чемпионами стали.

— Ну, может быть, и не чемпионами, а в общем-то... — полусогласился Афанасьев.

Бадулин такой половинчатости не принял:

— Да чего там в общем-то? Не знаю, как другие, а меня допусти, я бы точно занял первое место.

Бадулин привез нас на поле, где подбিরали валки шесть комбайнов из «Памяти Кирова». И шестеро комбайнеров, завидев салатную «Ниву» своего председателя, обрадовались, как радуются зимовщики прибытию самолета с материка, сбежались, сияющие зубами и белками глаз. Из бездонного багажника бадулинской «Нивы» появились на свет божий ровно шесть бутылок родимого пивечка, никто не был обделен, трудовой энтузиазм повысился.

Афанасьев немножко поворчал, в том смысле, что у нас не то что у вас, у нас хлеба другие, на больших скоростях у нас по верхушкам не скачут. И вон колоски остаются...

— Да мы же знаем, Антон Григорьевич, — заверили восходовского председателя комбайнеры. — Мы ж с вами не первый год замужем...

Весело было комбайнерам из «Памяти Кирова» домолачивать восходовский хлеб. Комбайнеров Бадулин прислал соседу, видимо, самых классных. Особенно выделялся среди них один, по фамилии Гердт. Он был черен не только от благоприобретенных пыли и копоти, но и от природных генетических причин. Недельная щетина на щеках придавала лицу Гердта вид обугленный, на голову он нахлобучил ушанку так, чтоб одно ухо было закрыто, а другое все же хоть что-нибудь слышало. В летнюю теплынь на нем была овчинная шубейка, на ногах подшитые валенки. Таких комбайнеров я в жизни еще не встречал (в кинохронике их и не показывают).

Лично Гердту я успел задать всего один вопрос, в отношении валенок, почему он выбрал именно эту обувь. Гердт ответил смеясь:

— В валенках ноги не потеют.

Остальное об этом жгучем брюнете (и то, что фамилия его Гердт) я услышал от председателей. Афанасьев знал комбайнеров «Памяти Кирова», пожалуй, не хуже Бадулина. Гердт когда-то был личным шофером у председателя колхоза, но затем отпросился, ушел на трактор и на комбайн. В своем колхозе он нынче намолотил семь тысяч центнеров. И тут, в «Восходе», еще тысячку прихватит. Шубу он надевает для того, чтобы, не уходя с комбайна, ночью по холодку завернуться в нее, часок-другой придавить — и поехал. . .

24

Потемки разом задернули степь, и езда превратилась как будто в погоню. Мы спешили к тому, что сулил впереди дальний свет фар. Бадулину явно хотелось еще покатать нас по горам и долам. Решили съездить за Новокузнецовку, на то поле, где работали «дамы» из женского комбайнового звена совхоза «Северный». «Дам» тоже прислали на помощь «Восходу», и они обмолачивали восходовский хлеб.

Однако же «дам» возле комбайнов мы не застали, должно быть они уехали почивать. Зерно осталось в бункерах. И когда в бездорожной степи вдруг проблеснула фара неведомо куда держащей путь машины, председатели по-охотничьи наострили глаза и нюх.

— Давай, Микола, наперехват! — воскликнул Антон Григорьевич. — Может, кто хлебцем из бункера решил поживиться.

— Да ну уж, хлебцем, — усомнился Микола, — просто на свиданку к бабам чешет.

Однако прибавил газу, свернул с проезжей дороги, спустился в какой-то лог. Вот тут-то я и поверил, что правда смог бы Николай Михайлович Бадулин стать чемпионом по авторалли. Гонка разворачивалась по классическим законам автопогони, совсем как в кино. Только в кино не кидает тебя, не трясет, не бьешься ты грудью о спинку переднего сиденья, не мотаешься от одного борта к другому, не глотаешь пыли и, главное, не боишься, что кувырнешься или врежешься в камень. . .

Сама по себе эта гонка настолько увлекла водителя, что предмет погони мы потеряли из виду. Может быть, шофер-злоумышленник выключил фары и притулился в тальниковом кусту. Но, скорее, и злого умыслу не было.

Мы еще раз съездили к комбайнам с полными бункерами зерна. Там все было тихо. И взяли обратный курс...

Что-то вдруг стало меняться в степи, откуда-то снизу засочился и быстро растекся по ровности горизонта багровый клубящийся свет пожара. Возгорелась степь, и над нею встало розоватое дрожащее зарево. Какая степь? Где? Стерня загорелась? Солома? Или?..

— Похоже, что это слева от Карамышева,— захоловшим, севшим голосом произнес Афанасьев.— Там у нас большой массив небомолоченный, больше ста га... Если хлеб загорелся, все прахом пошло... Давай, Микола, надо до моей машины добраться.

Рация на бадулинской «Ниве» работала только в диапазоне «Памяти Кирова».

Хлеб, солома, стерня горят споро; горя, отбрасывают в небо одинакового цвета зарево. Ночная степь, разбуженная заревом, с ненасытимым жором огня по горизонту, напоминает о чем-то древнем, грозном, кровавом, чуть ли не о набегах полчищ Батыеа на Русь...

Для председателя колхоза «Восход» горящее хлебное поле означало крушение всех надежд — не только этого года, этой жатвы, а целой судьбы. Слишком много вложено было в нынешний — главный хлеб жизни.

— Давай, Микола...

Бадулин рванул с места и пошел — с какой-то звериной, природной чуткостью к направлению и рельефу, с отчаянной безудержностью, основанной на осязании почвы под колесами. Афанасьев ему помогал. В любой гонке экипаж машины состоит из двух человек — водителя и штурмана. Так было и тут. Мы мчались под сплохами зарева, и чем пуще оно занималось, тем явственнее присыхала на губах какая-то особенно горькая, погорельческая горечь.

Коричневая «Волга», которую, казалось, и не найти в такой-то огромной степи, в ночи — все равно что иголку в стоге сена, — так вся и засияла, запереливалась под кустом калины...

Пожар в степи вроде поунылся. Афанасьев включил рацию.

— Центральная...

— Я центральная. Слушаю, Антон Григорьевич.

— Ну, что там, Зоя? — спросил Афанасьев таким уставшим, будто озеро переплыл, голосом.

— Все нормально. Сводки собираю.

— Сводки... ну, а... хлеб не горит под Карамышевом? Зарево до Воронежа видать.

— Не знаю, Антон Григорьевич, ничего не слышно было. А... да... Что-то такое было... я слышала разговор. Это березовские трактористы зябь пахать поехали и солому подожгли.

— Солому... Им бы штаны спустить да крапивой выпороть.

Зоя промолчала.

— Ну, хорошо, — сказал Афанасьев и выключил рацию.

25

Наутро мне оставалось перехватить Марию Савельевну, пока она не упорхнула в поля. Что-то такое писать об урожаях пшеницы в колхозе «Восход», имея в виду только широкую спину, луженую глотку да хозяйскую волю председателя, и не заметить звонкоголосую, легкую на подъем, небольшенького росточка, очень женственную главную агрономшу было бы не только несправедливо, но и как-то не по-мужски. Я бы себе этого не простил. Хотя... и не такое прощаешь. И непощенным живешь, продолжаешь свое...

Мария Савельевна пела по телефону, и словечки в ее речитативе то и дело складывались по-особому, на сибирский ладок: «К концу дня расхоложенная работа...» — выпевала кому-то (не выговаривала, а именно выпевала) Мария Савельевна. «Вы туда подъезжайте...», «коло самого культстана...»

Наблюдая украдкой за Марией Савельевной, слушая ее напевные речи, я вспомнил характеристику, данную Афанасьеву местным газетчиком из «Прогресса»: «Он крупных фигур рядом с собой не терпит».

Крупная ли фигура Мария Савельевна Тарасова — главный агроном колхоза «Восход»? Я даже улыбнулся, приложив к Марии Савельевне этот газетный шаблон «крупная фигура». Он к ней решительно не прикладывался...

Мария Савельевна положила трубку, взглянула на часы,

— У меня есть минут пятнадцать. Хватит?

Что есть, то и наше.

— ...Я сама местная. Приехала в Карамышево... Славгородский техникум закончила и приехала вот такой же девчушкой, как наш центральный диспетчер Зоя. Было это двадцать четыре года назад. Двадцать четыре года... Здесь замуж вышла, ребят вырастили. Ну и, конечно, главное — это хлеб. Сеем мы наш хлеб — пшеницу, каждый сорт в свои сроки. Позднее посеем — значит, рискуем. Вон «алтайка» на воронежском участке местами еще зеленая стоит... Сроки уборки тоже у каждого сорта свои. Начинаем мы убирать те пшеницы, которые в восковой спелости. Постепенно другие подходят. Валок бывает массивный, агроному на жатве надо следить, чтобы вся технология соблюдалась... У каждого поля своя агрономия, мы, агрономы, знаем, как лучше его вспахать, плоскорезом или глубокой вспашкой пройти, в каком направлении, чтобы влагу не упустить... Химические удобрения мы не на площади вносим, а одновременно с севом, в рядок. Это более трудоемко, сеялку надо заправлять вручную, и механизатору невыгодно — больше возни, а урожай повышается. Люди это у нас понимают и делают все путем. Обработку каждого поля в период весеннего сева мы проверяем — и присваиваем знак качества. Семьдесят восемь процентов наших полей в этом году мы приняли со знаком качества, а двадцать два процента на «удовлетворительно».

Мария Савельевна опять взглянула на часы...

Необмолоченных валков на полях колхоза «Восход» оставалось четыреста пятьдесят гектаров — на день, ну, на полтора дня работы. Средняя урожайность на круг получалась не меньше тридцати центнеров. Пока что — не меньше...

Мой самолет Змеиногорск — Барнаул улетал в десять утра. Шел девятый час, погода стояла в высшей степени летная. Дул северный ветер.

26

— ...И еще что важно, ну, чтобы урожай получить, — это семяотражатель, в сошнике, в сеялке... — Антон Григорьевич досказывал мне свои секреты мастера земледелия. А уж и досказывать времени не оставалось: самолет — тезка восходовского председателя, «Ан-

тон», — катился по полю Змеиногорского аэропорта. — Заданная глубина для семян шесть-семь сантиметров, — торопился Антон Григорьевич, — а если семяотражатель камушком отогнуло — это часто случается, — семена лягут на четыре или три. Глубина недостаточная, почва прогревается, иссыхает. У нас семяотражатели берегут как зеницу ока. Такая мелочь, а на урожае сказывается. . . Ну ладно, извиняй, если что не так.

— Большой тебе удачи, Антон!

— Нам надо одну победу!

27

Самолет сначала летел над долиной Чарыша, потом над Обью. Видимость была превосходная. Отава на лугах, болотца, солончаки, тальниковые заросли и березовые рощи-колки зеленели внизу. Вода в серпообразных обских стардцах девственно голубела, на сивом жнивье причудливо и красиво переплелись только сверху и видимые следы сотен уборочных машин. Все было ладно, гармонично на алтайской земле — и до того просторно, безлюдно, свежо, что дух захватывало.

28

Двадцать седьмого сентября в шесть утра (по алтайскому времени в десять) мне в Ленинград позвонил из Карамышева Антон Григорьевич Афанасьев и сообщил о полной и убедительной победе колхоза «Восход» по урожайности в крае: тридцать два и две десятых центнера с гектара!

РАННЯЯ ВЬЮГА

1

Осенью 1981 года я опять летел на Алтай. . . Око моей памяти вглядывалось в два портрета на доске лучших людей Змеиногорского района, на площади у горкома: первым в ряду Шумаков, следом за ним Афанасьев. У Ильи Яковлевича глаза расставлены широко, притянуты малость к вискам. Лицо открытое, взор распахнутый, устремленный: человек что-то видит, не видимое другим, далеко, возможно за горным кря-

87

жем; он видит цель, идет к этой цели, его нельзя остановить.

Илью Шумакова сняли для доски Почета таким, каким он был в то мгновение, — самим собою; портрет свидетельствовал о необычайной подвижности, импульсивности этого человека: вот он вдруг загорится какой-то идеей (идея всегда у него — и поступок), глаза его засияют или заиндевеют от гнева, или же он вдруг сощурится, стиснет зубы... На войне Илья Шумаков был разведчиком.

Антон Григорьевич Афанасьев сняли не крупным планом, а средним, за столом в председателском кабинете; его красивое, крупное, по-сибирски очень мужское лицо так уж сразу не выдавало всех свойств характера и души; Антон Григорьевич малость позировал для снимка на доску лучших людей района.

Два председателя век свой прожили рядом, бок о бок, в огромной степи, но редко, редко встречались. Доска Почета свела их вместе — на годы: Шумаков первым в ряду, вторым — Афанасьев.

Илья Шумаков создал, отладил, держал на своих плечах, тянул громаду хозяйства. Под зерновые в «России» распахивали 11 400 гектаров, сеяли пшеницу несколько ранее, чем в «Восходе» сеют, сознавая, что могут малую толику недобрать, — шли на это, чтобы управиться до ненастья. И еще: Илья Яковлевич любил первым рапортовать о победном завершении той или другой кампании.

В том же духе он воспитал и своего главного агронома Ивана Меркулова. Агроном-то знал, когда лучше посеять, но задача агронома или, скажем так, его миссия в колхозе «Россия» состояла не только в прибавке центнеров урожая, а в выращивании семенных, элитных сортов: «Россия» — хозяйство семеноводческое. Получить у Шумакова семена хотелось бы многим алтайским председателям колхозов и директорам совхозов, но тут следовало знать, с какой стороны подойти к Ильюхе. Председатели величают за глаза Шумакова Ильюхой почтительно, ласково, в некотором роде даже и восхищенно. Иные обижаются на Шумакова. Но... Шумаков есть Шумаков. Тут ничего не попишешь.

Однажды Антон Григорьевич Афанасьев рассказал мне такую байку о соседе:

«Илья выступает в крайисполкоме на совещании по животноводству... И вот пошел, и пошел, и пошел...»

Мы куда-то ехали по стерне, Афанасьев снял руки с баранки, помогал своему рассказу округлыми жестами, самую малость сбросил газ.

«Если бы,— Илья говорит с трибуны,— Афанасьев не развезжал по курортам да по столицам, у него бы и дела в колхозе шли лучше...» Я слушаю, мне обидно, ну вот просто режет меня по горлу».

«Обратно мы едем домой и вместе сели в одно купе. Я говорю: «Как же так, Илья Яковлевич? Как можно с трибуны такое сморозить? Мы на одной же земле работаем, а ты меня позоришь на весь край...» — Антон Григорьевич крикнул. Он вообще великий мастер покрывать. Исходящий из недр его могучего организма крик и многозначен и многооттенчат, он может выразить высшую точку удовлетворения, а также и крайнюю степень обиды, презрения, гнева.— Вот мы так сидим друг против друга. Что ему отвечать? Он весь непредсказуемый, как погода... «Прости меня, Антон,— говорит Илья,— меня заносит...»

Антон Григорьевич остановил машину, что-то увидел. Ага! Трактор волочит на тележке кое-как наваленную копну соломы, выстилает соломой путь за собой. Председатель колхоза сморщился, будто горького принял:

«Ай-я-яй! Что делают, что делают! — Включил рацию: — Седьмой, седьмой! Я — первый. Как слышите? — Рация зашкворчала. — Что у вас солому трусят на дорогу? Нет, ну это же не дело. Втрое больше можно нагрузить, если приложить руки. Порожняком-то зачем трактора гонять? Я-то вижу... а ты что, галок нанялся считать? С трактористов надо взъеживаться! Ты меня понял?» — Антон Григорьевич вырубил рацию, нашел в эфире музыку, потеплел лицом.

«Мы, когда мальчишками были, в Саввушке жили... Корова у нас, а кормить нечем. Матери сена не застави — и покоса не давали, и силенок не было. Мать на сердце жаловалась. Отца-то не стало,— должно быть, на нервной почве у нее от горя сердце стало сдавать. И вот же до каких лет дожил... Ну, мы с братаном, бывало, мальчишки, в воротцах заганмся и ждем, когда кто-нибудь воз с осоклой по улице провезет,— на берегу озера косили... Мы следом за возом — мужик сидит наверху, не видит,— осоклы надергаем и к себе за брата. Пальцы в кровь изрежем... А сейчас что делают... Подборщик ему навалит в тележку, а он даже пальцем не пошевелит, чтоб уложить, увязать. И не оглянется,

половину растрясет по дороге. А солома на вес золота. Половине хозяйств в крае своих кормов не хватает. И из соседних областей к нам за соломой едут... Что делается с людьми? Не знаю, не знаю...»

Так ли было или не совсем так у Афанасьева с Шумаковым в купе хорошо знакомого мне поезда Бийск — Лениногорск, когда они ехали до станции Третьяково с совещания в крае... Не знаю, не присутствовал, свидетелей не опрашивал. Но что-то такое было.

Лет десять тому назад один барнаульский литератор взял на себя труд подготовить к печати книгу Ильи Шумакова «Колхоз наш „Россия“». Мне известно, что лит-обработчик, соавтор, как ни старался, не смог найти общего языка с Шумаковым. Председатель «России» проявил в этом деле не показное, а, по-видимому, органичное для него безразличие к какой бы то ни было само-рекламе. Литератор гонялся за Шумаковым, ловил его, а тот ускользал. Бывало, назначит писателю встречу в пять утра, ни раньше, ни позже. «Вы в пять выходите, вместе поедем по полям». Писатель замешкается на минутку, а Шумакова и след простыл, ищи ветра в поле.

Сказанное когда-то Шумаковым, записанное не только сохраняется, но со временем прибавляет в весе...

«Судьба Барановки, в общем-то, схожа с судьбами многих сел. За плечами крестьянства нашей страны сорокалетняя дорога колхозного строя. Колхозы рождались в коллективном объединении мозолистых рук. Вспомним шолоховского Кондрата Майданникова. Со слезой и кровью рвал он пуповину, соединяющую его с собственностью, с волами, с родным клочком земли. А сколько таких Кондратов было на каждом селе! Но ничто не утратило крестьянина, ничто не ослабило его тяготения к новой жизни. В этом у него был хороший союзник и опора — рабочий класс, в этом у него был верный вожак — Коммунистическая партия.

Добавлю к этим словам и свое личное. Здесь, в далеком алтайском селе, во время коллективизации погиб мой отец. Сюда я вернулся тяжело раненным с фронта. Вернулся на костылях. Колхозам тогда жилось трудно и голодно. В родной моей Барановке, да и не только в ней, пахали на коровах. Жуткое это было зрелище. Кто видел хоть один раз, не забудет.

Но надо было жить, работать и побеждать.

Председателем колхоза «Россия» я стал с первого дня

его образования — с 1950 года. Наше хозяйство возникло на базе нескольких мелких колхозов. Вот цифры, говорящие о том, с чего мы тогда начинали. Общий годовой доход едва переваливал за шестьдесят тысяч. На строительство мы могли потратить не более трех тысяч. Урожайность зерновых составляла шесть-семь центнеров с гектара. Мяса мы продали в тот год государству восемьсот центнеров. . .

Приводя эти цифры, я не хочу кому-нибудь доказать, что в те времена люди работали худо. Нет. Их работу можно назвать подвигом. Они делали все, что можно было сделать в ту пору. Судите сами. В колхозе тогда имелось всего пять еле живых «полуторок». Несколько движков. Вот и вся механизация. Работали вручную. А руки-то были, главным образом, женские».

История колхоза «Россия» складывалась в полном соответствии со всеми партийно-правительственными решениями по сельскому хозяйству. Ее (историю) и не понять, не зная документов этого ряда. «Ну и что здесь такого особенного? — может перебить ход моих рассуждений нетерпеливый читатель. — То же самое можно сказать про любой колхоз». Оно конечно, однако же председатель колхоза «Россия» Илья Шумаков постановления выполнял в наикратчайшие сроки, без колебаний, без какой-либо утайки, заначки. И столько вкладывал в каждое дело партийной страсти да еще таланта, мужицкой двужильности, хитроумия, что дело у него не только шло, но и вскоре являло взору вполне осязаемый результат. (Говорят, у него даже кукуруза-«чудесница» подымалась как на дрожжах.)

Решили свозить колхозные деревеньки в одно большое село. Отнеслись к такому решению кто как. Шумаков исполнил решение твердой рукою — все мелкие села, расположенные на землях колхоза «Россия», под корень свел, крестьян в Барановку свез; и никого не прижал, не обидел. «Как это так ему удалось?» — тут могут спросить. Есть кому усомниться. Столько наломано дров. Чтобы понять Шумакова, лучше всего пройтись по Барановке, по ее центральной асфальтированной улице или по боковым проулочкам. Еще лучше пожить в этом красивом, удобном для жизни — именно крестьянской — благоустроенном селе.

Председатель колхоза «Россия» предложил крестьянам, век свой прокукувавшим в никому не видимых за

сопками деревеньках, такие условия жизни в Барановке — ну, разумеется, не всем сразу, а по труду, по заслугам,— что даже долг перед родительскими могилами, шелестение собственноручно посаженных верб, тополей, с детства милое щебетание ручьев и речек, тепло родимых стен, очагов и все другие ценности этого рода оказались бессильными перед благом нового дома в процветающей Барановке.

Вспомним другой подход к решению этого насущнейшего для каждой крестьянской семьи вопроса. В свое время у нас был случай посочувствовать осмотрительности председателя колхоза «Восход» Афанасьева, который не торопился сселять всех скопом в Карамышево. Напротив, давал возможность укорениться каждой семье под дедовскими вербами и тополями. Две линии, два подхода. Не будем спешить с приговором, кто прав. Порадуемся пока что за те крестьянские семьи, которым колхоз по-отечески подал руку в переломный момент, чтобы лучше жилось,— одним на центральной усадьбе, другим за сопкой, в тиши полей. На то и колхоз, на то и председатель. . .

Впрочем, я должен оговориться: все штрихи к портрету председателя колхоза «Россия» Ильи Яковлевича Шумакова я делаю не с натуры, а пользуюсь молвой, легендой об этом человеке. Я предвижу возможность несовпадения отдельных черт воспроизводимого мною с чужих слов портрета — с оригиналом. Кто-то может не согласиться, протестовать, кто-то увидит Илью Шумакова (или Антона Афанасьева) с другой позиции, точки. Работа в документальном жанре подобна торению пути в людской толпе: того гляди кому-нибудь наступишь на любимую мозоль. Вот если бы взять да отвлечься от этих самых реалий, отказаться от собственных имен, придумать для персонажей имена литературные, да типизировать их, обобщить жизненный материал, да еще сочинить концовку. . .

Уже упомянутый барнаульский писатель, историкограф колхоза «Россия», однажды мне рассказал эпизод из времен сселения крестьян в Барановку. (Мы с ним сидели в писательском клубе в Москве, наши соседи поднимали и решали мировые вопросы, а мы бормотали все об одном: о Барановке, Карамышеве, Афанасьева, Шумакове.) Пришла к Шумакову бабка Кондрашиха, скандальная бабка, под хмельком или, как говорят, «поддатая»,— и требует дом для сына, «Тому, Илья

Яковлевич, дал и этому дал, а мой хоть пропади, а у него двое детей и третьим его баба того гляди рассыпется. . .» Шумаков объясняет, что дом один дан агроному, другой добросовестному механизатору, а у нее, у Кондрашихи, сынок свои зенки зальет, после еще на земле валяется у всех на виду, и мать срамит, и себя. . . На эти попреки председателя Кондрашиха привела неожиданый довод: «Что ли, уж сынку моему и полежать нельзя на нашей родной советской земле? . . .»

«Дарю тебе эту деталь», — расщедрился историкограф. Я с благодарностью принял сей дар. Вот, пригодилось.

Когда на очередном Пленуме ЦК сказано было о переводе сельскохозяйственного производства на индустриальные рельсы, Шумаков не стал чесать в затылке, как это издревле заведено у крестьян, а приступил к сооружению животноводческого комплекса. Решиться на такое строительство в Змеиногорском районе один Шумаков и мог — при экономической мощи «России»; едва ли бы кто другой вытянул, если бы и решился. В «России» комплекс построили, коров поставили в стойла, производство молока перевели на индустриальные рельсы, мелкие фермы и скотные дворы ликвидировали — и оказались впереди соседних колхозов по животноводству по крайней мере на десять лет. (Так сказал мне первый секретарь Змеиногорского горкома КПСС Евгений Игнатьевич Жусенко: «Соседи отстали от «России» на десять лет».) Понятно, что соседи, особенно в «Восходе», умывались и утирались: догнать Шумакова по молоку у них не хватало силенок. «Что ему дается, то нам и не снилось. . .»

Конечно, я упрощаю и что-то важное упускаю в рассказе о председателе ордена Ленина колхоза «Россия», Герое Социалистического Труда Илье Яковлевиче Шумакове — рассказ-то мой с чужих слов. Отзывы, байки, даже отдельные фразы о личности легендарного Илюхи характеризуют его то так, то эдак. Но кое в чем отзывы сходятся, какие-то качества Ильи Шумакова всеми распознаны однозначно. «Ты знаешь, — рассказывал мне мой алтайский товарищ, — вот чего я никогда не замечал за Ильей, так это чтобы он работал на износ, чтобы перед кем-то выслужиться, что-то такое получить. Он работает колоссально много, с пяти утра до двух ночи по полям, по токам, по бригадам, по мастерским, по фермам, Сам за руль не садится, хотя умеет, чтобы

энергию не потратить, всю ее на пользу дела пустить. Он работает вдохновенно и азартно, как игрок. Нет, вернее, как художник, как мастер. Проигрыша у него не бывает, не может быть. И такие же люди вокруг него, близкие ему по духу, — целый ансамбль: вот Торкаев, главный животновод, на нем комплекс держится, да и все животноводство... А с Михаилом Покрышкиным вообще целая история...»

Мне довелось услышать эту историю от разных лиц, в различной интонационной окраске, то есть одни видели в истории отношений Шумакова с Покрышкиным прозорливость Ильи Яковлевича, другие, напротив, неуправляемость, непредсказуемость его натуры. Началась история давным-давно. Шумаков в пору первоначального становления колхоза «Россия» искал повсюду сподвижников того же полета, что и он сам. Посылал гонцов во все края, в сельхозинституты. Так был найден Покрышкин, тогда барнаульский студент, однако уже проявивший себя как будущий инженер, отмеченный знаком таланта. Покрышкина пригласили в «Россию» на преддипломную практику. Дипломной работой он избрал проект механизированного комплексного тока, без которого зерновой конвейер в колхозе — не только в «России», вообще во всех колхозах — дальше двигаться не мог. По проекту Покрышкина в «России» выстроили первый мехток, прибыли от этого новшества исчислялась сотнями тысяч. Диплом Михаил Покрышкин защищал в кабинете председателя колхоза «Россия», сюда же приехала и государственная комиссия Барнаульского сельскохозяйственного института. Защитив диплом, Покрышкин тут же и остался, главным инженером колхоза.

А потом? Что было потом? Мы не знаем, мы только пользуемся молвой... Покрышкин взял и уехал из Барановки, которой отдал лучшее, что было у него, — молодость. А потом?..

В последние два года про Илью Яковлевича говорили, что он ищет себе преемника на посту председателя «России». Вспоминали другого знаменитого алтайского председателя — Гринько. Не стало Гринько — куда подевалась слава колхоза? Говорили, что Шумаков ездил к Покрышкину, звал его обратно в «Россию». «Ты после меня будешь. Ты справишься...»

Такова легенда о Шумакове.

Доподлинно известно, что в 1941 году разведчик Шу-

маков участвовал в битве за Москву. В 1981 году его избрали делегатом XXVI съезда КПСС.

Илья Яковлевич вернулся домой из Москвы, со съезда, впрягся в работу с какой-то неистощимой страстью. По утрам, перед разнарядкой, разговаривал со своим народом по колхозному радио. Речи его, посвященные вполне будничным, вполне насущным проблемам быта и производства, по глубине чувства, накалу тона, пронзающей искренности и особому таланту красноречия напоминали пламенные воззвания. Однажды Илья укорил своих односельчан в том, что пускают свиней на сельскую площадь, а там памятник павшим воннам-землякам и цветы у памятника. . . а свиньи они же и есть свиньи. От этого заурядного факта он поднялся к таким высотам гражданского пафоса, скорби, верности памяти, ответственности перед землей. . .

Прошлой осенью, живя в Карамышеве у Афанасьева, и после, сидя над повестью о председателе «Восхода», получая письма с Алтая, встречаясь с алтайскими моими друзьями, следя за прессой, я жадно впитывал любую весть о колхозе «Россия», об Илье Шумакове; во мне нарастало какое-то чувство долга и перед ним, и перед собственной моей совестью.

Ладно, еду, наконец-то собрался.

Перед отъездом моим на Алтай в редакцию зашел поэт Михаил Дудин.

— Я слышал, ты на Алтай едешь. . . О Шумакове будешь писать, тебе это может пригодиться, такая деталь. . . Мне как-то пришлось быть у Шумакова в «России», с писательской бригадой. Он всех нас обошел, весь строй, каждому руку пожал, пристально в глаза посмотрел. После было застолье. Сам я в рот капли не беру, и стихи читать не собирался за столом. В клубе почитал, а тут, мне казалось, не нужно. . . Но Шумаков настоял, есть в нем такая способность — на своем настоять. И я прочел вот это, послушай. . . — Михаил Дудин раскрыл только что вышедшую толстую книгу в красивой обложке:

Не приказа ради, не в услугу,
А своею волей, как хотел,
Рыжий конь по скошенному лугу
Без узды и всадника летел. . .

— Это понравилось Шумакову, — сказал Дудин. — Он попросил меня прислать ему книгу. Я хотел адрес

записать, Шумаков усмехнулся: «Алтай, колхоз «Россия», Шумакову. Дойдет». Он сам был как конь, скачущий без узды.

2

Лететь-то нынче в Сибирь, в самую ее серединку, — всего ничего: во Внукове сел в ТУ-154, журнальчик полистал, куриный мосол обглодал, вздремнул, глядь — сели в Барнауле. Ага! А где же Серега? Вроде «УАЗ» Серегин подан, стоит. А вот и Серега.

— Ну как, Михалыч?

— Все нормально.

Спокойный, светлоглазый, немаленьких лет, бывалый сибирский шофер. Который уж год он возит по краю собственного корреспондента «Известий», моего старого товарища — вместе начинали работать в «Молодежи Алтая» — Зою Михайловну Александрову. И мне довелось поездить на корреспондентском «УАЗе» по алтайским дорогам, с Сергеем Михайловичем за рулем. И жгли костры в ночи, за кюветом, и песни певали, из последних загашников памяти выскребывая слова, совершенно дикими голосами, чтобы водителю не дремалось. Однажды в немыслимо короткое время, за полночи, отломали дорогу от Бийска до Барнаула, успели к нужному самолету. Тогда и дороги-то не было, ее только строили, ехали все в объезд. . .

— С хлебом нынче как на Алтае, Михалыч?

— Сам знаешь как, все выгорело.

Знаю, конечно. Все знают, кто о хлебе думает. Алтайскую степь летом 1981 года иссушила, выжгла жесточайшая засуха. Девяносто дней ни капли дождя не пролилось над степью. . . Но Алтай-то велик. На юго-западной его окраине, в предгорьях, в Змеиногорском районе, хлеб сумели взять, и немало. То есть что значит сумели? Кому-то больше повезло, над чьими-то землями появлялись «тучки небесные, вечные странники», а чьи-то обошли. Кто-то накопил за зиму и удержал на полях влагу, а кто-то упустил. Кто-то посеял в такое время, чтобы зерно не иссохло до первого дождя, а кто-то поспешил.

Антон Григорьевич Афанасьев, еще до начала уборки, сказал мне по телефону: «Опять рекорд будет по урожаю. Конечно, влаги кот наплакал, но все же главное — культура земледелия». Потому я и приехал на

Алтай. К погорельцам в гости не ездят, о них не пишут. . . Если в «Восходе» порядок с хлебом, стало быть и в «России» . . .

Сергей Михайлович привез меня к подъезду знакомого дома, подымаюсь по знакомо пахнувшей лестнице, меня привечают старые друзья: Зоя Михайловна, как всегда в запарке, что-то передает по телетайпу в редакцию. Виктор Николаевич, ее муж, литератор, автор повестей и рассказов (только что закончил роман), алтайский землепроходец, рыбак и любитель футбола, по-сибирски широкий в плечах (хотя вообще-то он родом из Тулы), с сибирской широкой душой, после первых знаков радости, задает мне ненужный, немислимый, запредельный, дикий вопрос:

— Ты знаешь, что Шумаков умер?

— Как умер?!

— Да, умер. На совещании здесь, в Барнауле, в крайисполкоме. Свалился прямо в зале. Аорта лопнула. . .

Зоя Михайловна вышла из своей домашней телетайпной. Машина все продолжала стучать.

— Обсуждали новый сорт пшеницы, «Вера» называется, засухоустойчивая и зерен много в колоске. Терентий Мальцев ее вывел. Шумакову дали колосок, он ручку достал, принялся описывать свойства этой пшеницы, чтобы потом у себя внедрить. В этот момент и помер внезапно. С колоском в руке. Красивая смерть. . .

Что-то вдруг замедлилось, застопорилось, совсем остановилось, будто умолкли извечно тикавшие часы, сломалась машина времени. И тишина воцарилась такая, что с нею было не совладать слабым нашим головам. И слова шелестели как нечто постороннее, как чирканье воробьев у свежерытой могилы. Хотелось усомниться в услышанном, оспорить его. Но тот, кто оповещает живых о чьей-то смерти, еще никогда, никогда не ошибся. . .

Я помню: темный осенний вечер, Дом творчества в Комарове, пять ступенек бетонного крыльца; вхожу с улицы в холл, навстречу мне поэт Игорь Нерцев. Мы мало знакомы, но я ему нужен зачем-то, я вижу его глаза, обращенные только ко мне, и вопрос: «Вы знаете, что умер Шукшин?» — «Как умер? Почему? Может, вы ошиблись?» И — надежда в глазах у Нерцева: «Я слышал, . . . А вы?»

И еще помню погожий октябрьский день, Новодевичье кладбище, где-то вдалеке играют марш военные оркестры, доносится топот многих сотен солдатских сапог. Военские части тренируют к Октябрьскому параду. И хоронят Василия Шукшина.

Но почему же он умер? Почему умирают так нужные нам люди, недодав нам какого-то первоосновного вещества жизни, не восприняв от нас им предназначенной нашей любви, порыва к чему-то всечеловеческому, общему, доброму?

Почему умер Илья Шумаков?..

Говорят, что творчество произрастает из таланта художника, творящего искусство, пусть это искусство слова. Все верно, однако талант постоянно ищет в сонме человеческих судеб и душ нечто однородное себе, одноименное, может быть более сильного заряда, дабы подключиться к источнику... Так и в жизни...

— Без Шумакова Антону скучно будет,— сказала Зоя Михайловна,— и враждовать не с кем, и побеждать некого. Шумаков был талантлив, на его таланте, как на дрожжах, все подымалось. Интересно же было рядом с ним каждому председателю...

Мы сидели за столом в гостеприимном, хлебосольном, всегда, как я помню, открытом каждому доброму человеку сибирском доме. За этим столом сживали и Шумаков и Афанасьев,— Зоя Михайловна отыскала их в среде председателей алтайских колхозов (их сотни, у каждого свое лицо), рассказала на страницах газеты о хлебном марафоне в предгорной степи.

Чуткая, все видящая, близко к сердцу принимающая дела человеческие Зоя Михайловна поглядела на меня своими серыми, многих привораживавшими глазами (она настоящая сибирячка), сказала мне одному:

— Ну что же делать? Умер человек, и все. Теперь не воротишь. Жалко, что ты его не повидал.

Умер человек, и все. Нет ничего бесповоротнее заключенного в этих словах факта. «Человек предполагает, а бог располагает. Смерть да жена богом суждена». Житейская премудрость пословицы успокаивает тебя рядом с чьей-то до времени смертью. Поэзия же, напротив, заранивает тебе в душу искру, чтобы жгло и свербило: «Спешите делать добрые дела!» Поэтическая директива вспыхивает в памяти, когда уже поздно.

Спешите делать добрые дела!

Сколько бы ни собиралось народу за этим столом, каждому хватало соленых груздей, валуев, сыроежек, пельменей и всего другого. Яства и напитки подавались к столу, съедались и выпивались сами собой; поварское искусство хозяйки, припасливость хозяйна не подчеркивались, не выставлялись напоказ. Застолья в этом доме всегда вершились с какой-то поэтической безалаберностью, кто во что горазд. Как сказано у Козьмы Пруткова: «Раз начав, трудно кончить три дела: чесать, где чешется, вкушать вкусную пищу, закончить беседу с товарищем, вернувшимся из дальнего странствия». Пища всегда бывала вкусна, товарищ, приехавший издалека (ну вот хотя бы пишущий эти строки), излагал события, коим стал свидетелем. Языки, понятное дело, чесались и у других сотрапезников.

Сев к этому столу, подыматься из-за него решительно не хотелось. Тем более что предстояла студеная темная ночь, медлительный поезд Бийск — Лениногорск, одиннадцатый купейный вагон; его двери без ручек; просунешь палец в дыру от ручки, потянешь и выйдешь в тамбур, покуришь; в вагоне курить нельзя. И год из году в купейном вагоне все тот же, знакомый тебе проводник, парень лет тридцати, с рыжеватой копной волос, всегда в одном и том же, по-сибирски ровном, доброжелательном настроении.

Он выдаст тебе белишко прямо из стирки, не только не высушенное, но и не отжатое; завернешься в компресс на верхней полке; сон к тебе не придет. Будешь слушать кряхтенье, дерганье, стоны старого поезда, жалобы твоего давно живущего и тоже уставшего тела. Если все-таки вдруг закемарить, добрый малый проводничок проворкует тебе в самое ухо: «Вы до Неверова едете?» Ты ошарашенно вскочишь: «Нет, я до Третьяков». И долго-долго потом будешь слышать ласковый тенор штатного побудчика: «Кто до Неверова? . . .» Он снова приблизится к тебе: «Это вы до Неверова?» — «Нет, я до Третьяков». — «Ага! до Третьяков. . .» Такой старательный, такой рассеянный и, кажется, навсегда закрепленный за одиннадцатым вагоном проводничок. . .

Однажды я ехал на этом поезде в Бийск, в общем вагоне. Из разбитого окошка изрядно-таки дуло, но, как это заведено у сибиряков, никто не жаловался, не роптал. Поезд опаздывал на четыре часа. Так мне хотелось всласть насмотреться на алтайский пейзаж, но за окошком все глуше чернела ночь. Негодовать по этому поводу здесь, в Сибири, было бы просто несерьезно и глупо. Время, как и пространство, в поезде Ленингорск — Бийск до сих пор кажется немеренным.

В Бийск мы прибыли таким ранним утром, когда любые визиты и даже прогулки по городу преждевременны. И что же? Это только подумать! Кто бы мог ожидать? Как в старые добрые времена, в конце пятидесятых — я тогда работал собственным корреспондентом одной газеты по Бийску и бийской группе районов, — в буфете на станции Бийск в шестом часу утра продавались — что бы вы думали? — соленые рыжики. Давали по полкило на рыло, ни больше и ни меньше. Представьте себе, что такое полкило соленых рыжиков в пять часов утра... Это очень вкусно, но просто так ведь рыжики не проглотишь, а если и поднатужишься, проку-то что? Перевод добра... И там понимали это, в буфете на Бийском вокзале, и к рыжикам подавали не только ноздреватый пшеничный алтайский хлеб, но и беленькое в розлив. Таким образом, опоздание поезда не только искупалось, но и вознаграждалось неожиданным для пассажиров призом. (Ну, разумеется, для мужчин.)

Стало развидняться, я помаленьку двинулся, пока что без определенной цели (то есть цель у меня была, но рано, рано еще), в пределы города Бийска. Город переменялся, конечно, за двадцать лет, но что-то в нем сохранилось из моей молодости: запах сгоревшего в топках кузбасского угля, перемешанный с терпким привкусом тополиной смолки; тополя вымахали, взматерели; и прохлада, снежная свежесть близких предгорий, и дыхание хлебных степей. Я вплывал в город моей молодости, как в знакомую воду, примечал не только общее, но и частности...

Подымалось солнце, позвякивали трамваи, двери трамваев выстреливали наружу трудовой люд. Ночное, сумеречное рассеивалось, на берегах Бии занимался посибирски погожий, обыкновенный — и непредвидимый,

как самая жизнь,— осиянный лазурным небесным куполом день.

Я быстро отыскал нужный мне подъезд, поднялся по лестнице, позвонил в квартиру с хранящимся в памяти номером... По тому, как звучит звонок, безошибочно можно предвидеть, откроют ли, выйдут ли, есть ли кто дома...

В тот раз я приехал в Бийск с единственной целью: повидаться с Марией Сергеевной Шукшиной, матерью Василия Макаровича. Пока не поздно...

Звонок ввинчивался в пустоту.

Тут я впервые почувствовал, как далеко забрался, то есть как мне теперь далеко добираться до дому. Не столько даже далеко, сколько обидно: несолоно хлебавши... (Соленые рыжики не в счет.) Второй раз едва ли скоро соберусь.

Списать бы вначале с Марией Сергеевной, договориться о встрече. Но что-то удерживало меня вот от такой предназначенности событий. Я прожил в общем-то целую жизнь, но все еще надеялся на счастливый случай. Заявок на будущее не подавал или же опаздывал с заявками. Это мое неискоренимое легкомыслие не раз бывало жестоко наказано. Надо включать себя в план общих дел, не уповать на планиду. Не подготовив почву для исполнения задуманного и оказавшись ни с чем: не встретив нужного человека, не побывав в том месте, где надо бы побывать, не получив того, что причиталось,— я после, как все непрактичные люди, казился, отчаивался, ужасался... Но, по правде сказать, казнясь, отчаиваясь, ужасаясь, я всегда находил — внутри своего сознания — такой укромный закоулок, чтобы отсидеться, переждать невзгodu и даже утешить себя ну, скажем, оброненной гением фразой: «Человек должен страдать». Или чем-нибудь доморощенным, какой-нибудь расхожей мыслишкой, вроде того, что сам я — поскольку пишу, поскольку писатель,— и не участник игрищ, празднеств и драм, а только их соглядатай. И если мне плохо — и ладно, и хорошо. Пережитое мгновение горечи, горести, горя даст новый оттенок в палитре красок, куда погружаю я кисти мои...

Вот такие защитные средства и болеутоляющие снадобья я прикладывал к уязвимым, свербящим местам моего мыслящего и чувствующего существа. Бывало, что эти снадобья не спасали, не утоляли боли мои. Бывало...

Но где же Мария Сергеевна? Пошла к дочке своей Наталье? А вдруг укатила в Москву? Или что-нибудь нужно ей в Сростках? Или просто отправилась в магазин? . . .

5

В мои молодые собкоровские года я любил ездить в Сростки. От Бийска рукой подать, село стоит на тракте, выращивают сростинцы на своих полях не только всем понятные ячмень да пшеницу, но еще и хмель, и махорку, и коноплю. В особенности привлекал меня хмель; профессия хмелевода таила в себе нечто романтическое, не в пример полеводу или какому-нибудь там картофелеводу. В молодости я был романтиком, возможно, сохранил в себе до седых волос это воспеваемое в молодежных песнях тяготение к неведомому, где-то там вдали происходящему.

В 1955 году, в октябре, я повстречал в Сростках хмелеводку (она и коноплей занималась) Лиду Краскову, комсомольского вожака. Газета ждала от меня статью о сельском комсоре. Я не обманывал ожидания моей газеты. . .

«Когда Лиду Краскову избрали секретарем комсомольской организации колхоза «Путь к коммунизму», она знала, что наладить работу будет нелегко. В колхозе двадцать два комсомольца, а организации по существу нет, предстоит все начинать сначала.

Поздно вечером, после собрания, Лида говорила своей подруге Нине Красиковой:

— Знаешь, я думаю, обязательно надо придумывать что-нибудь интересное, увлекать комсомольцев чем-нибудь новым». Так начиналась статья.

..Туго пришлось Лиде Красковой с председателем сростинского колхоза «Путь к коммунизму» Алексеем Федоровичем Квасовым. Он был председателем старой крестьянской закваски, и то самое новое, интересное, что затевала в колхозе Лида, не находило отклика в его душе. Но. . . Лида расшевелила своим комсомольским огоньком, своей «живинкой в деле» председателя-тугодума. Иначе и статьи бы не было — про Лиду Краскову. «Когда комсомольцы все, как один, вышли на воскресник по подвозке кормов к ферме, сдался и Квасов. Он приехал к Лиде на участок и после разговоров о конопле,

о разных хозяйственных делах как бы невзначай сказал:

— Да, пока не забыл... Если там нужно когда собраться, так я сказал сторожике. Можете в правлении. А собрание будет, напомните: зайду послушаю, а может, и сам что скажу.

Лида посмотрела вслед председателевой бричке и вспомнила тот далекий день, когда две девушки в черных плюшевых жакетах, в запыленных сапогах, одинаково повязанные платочками, в первый раз несмело поднялись на крылечко конторы правления, представились председателю:

— Нина Красикова. Лида Краскова. Агрономы. Приехали к вам на работу.

Глаза Квасова чуть-чуть иронически выглянули из-под кустистых бровей.

— Значит, агрономы. Сельское хозяйство поднимать... Ну что же, идите смотрите ваш участок. Он за трактом. Километра два».

Выспрашивая сельских жителей — пусть даже симпатичную хмелеводку Лиду Краскову, — вытягивая из них нужную моей газете информацию о трудовых победах, я уставал, не физически, а по-другому, уходил за село в поля и набирался там духу для новых моих репортерских подвигов. В Сростках я уходил к Катунь, перебрал по мосткам катунскую протоку, углублялся в топовые заросли, там отдыхал душой, обновлялся, там бывало мне хорошо.

В это же время работал в Сростках, директором вечерней школы, Василий Шукшин, коренной здешний житель. До первой с ним встречи мне оставалось жить еще семь лет...

6

Осенью 1976 года я приехал в Сростки. Языки легко довели меня до заметного на угоре дома под четырехскатной шиферной крышей. В доме кто-то жил, огород был возделан, в палисадничке желтели золотые шары и лиловели астры. Я помялся у калитки, опасаясь собаки. Меня должны были увидеть из окон, но наружу никто не показывался. Преодолевая себя (всю жизнь только и делал, что преодолевал), я вошел в ограду, постучался в дверь; не получив ответа, вошел в сени и дальше, в глубь помещения, Навстречу мне выступила жен-

щина, невеселая на вид, понурая. Она как будто не удивилась незнакомому лицу в своем доме, знала, зачем я пришел, пригласила меня в боковуху, потупясь выслушала мои сбивчивые объяснения, вздохнула и выложила мне свое самое главное, чем жила, то есть то, что мешало ей жить, как все люди живут.

— Мы, наша семья, Шукшина не знаем. (В подтексте, в выражении глаз, в интонации читалось: «И знать не хотим».) Мы из другой деревни. Дом купили у Марии Сергеевны за семь тысяч, а теперь готовы его отдать, ну, конечно, за ту же цену. . . Вы знаете, — женщина обращалась ко мне не только с истовой русской потребностью излить душу, но и с надеждой на помощь в какой-то крайней нужде, — жить стало нельзя, ну просто никакой нету жизни. Мой муж больной лежит, дети в школе, а я как собака, к дому привязанная, сижу. Дня не было, чтоб кто-нибудь к нам не пришел, и все спрашивают про Шукшина. Ну вот прям с ножом к горлу. . . Давеча два автобуса школьников привезли. Они высыпали наружу да прям через ограду к нам в огород, всю морковку повыдергивали. . . Муж болен, и я больная совсем. Как на осадном положении живем. . . Им говоришь, что мы Шукшина не знаем, а они обижаются, будто мы что скрываем от них. Знали бы, что так получится, и не поехали бы сюда. . .

Я постарался утешить женщину тем доводом, что вот уж дом откупят под музей Шукшина, она резонно мне возразила:

— А мы-то куда же, мы-то при чем?

Оставаться долее в доме Шукшиных было решительно незачем. Дом на бугре в селе Сростки, как и надлежало ему, служил пристанищем для людей, им владела семья человеческая, в доме топилась русская печь. Но простой этот сельский дом (избою его не назовешь) не давался в руки хозяевам, созывал к себе на подворье чужих людей со всего бела света, и каждый из приходивших и приезжавших считал себя вправе войти в него, минуя его законных хозяев. Так получалось, что прежний владелец приглашал к себе в гости бесчисленных друзей, да еще с женами и детьми, а сам взял да и помер. . .

Вот такая история, прямо шукшинский рассказ.

Я живо представил себе Василия Макаровича, как бы он вдруг явился с того света, вошел неузнанным в свой, то есть материнский, дом, как бы серьезно, обстоя-

тельно, поигрывая скулами, выслушал хозяйку и обязательно написал бы рассказ. Писать рассказы, как он писал — о чем-то таком человеческом, и трагическом, и смешном, одинаково важном для каждого из нас, — никто другой не умеет.

Объяснить хозяйке, в чем сокрыта загадка этого дома, я бы не сумел, она бы и слушать не стала. Я извинился, наскоро с нею простился и поспешил уйти за порог. . .

Сразу вспомнил дорожку к реке, к протокам, к тополевым рощам в катунской пойме. Надо было мне отдохнуть, отдышаться. . . Все же нет тяжелее работы, чем приходиться к незнакомым людям, пусть на короткое время, по должности ли, по велению ли сердца, — все равно становишься должником. А платить-то чем и когда? . .

7

Старая, грузная, ширококостная женщина повернула к той самой парадной. Я последовал за ней. На той самой площадке мы поравнялись. Она вставляла ключ в ту самую дверь.

— Здравствуйте, Мария Сергеевна.— Я назвал себя.

Из потемок глубоких глазниц на меня глянули внимательные, пристальные, серые с прозеленью шукшинские глаза. Женщину мучила одышка.

— Здравствуйте. Вы писали, в прошлом году приедете. У меня много кто побывал, а вы не приехали. . .

— В прошлом году не смог, вот собрался.

— А я уж думала. . . Написал, что приедет, и не приехал. Здоровье мое совсем никуда — давление очень большое.

Мы вошли в жилище Марии Сергеевны и вскорости принялись распивать некрепкий чаек с печеньем. Между нами сразу же воцарилась какая-то родственность, будто я доводился Марии Сергеевне, скажем, двоюродным племянником, во всяком случае человеком свойским, домашним, а не казенным. И так хорошо, душевно мне было изживать этот день заодно с Марией Сергеевной Шукшиной. И страшновато за нее было: как же она одна-то, с ее по-крестьянски большим, грузным телом, с ее давлением, в этой квартире-ящичке, среди множества, может быть, любопытствующих, но отчужденных людей, без березок и яблонек под окошком. . .

В кармане у меня лежало письмо Марии Сергеевны,

она прекрасно помнила, что мне писала и что я ей писал. И разговор наш как будто уже начался, продолжать его было легко.

Вот, кстати, это письмо, написанное рукою, не шибко наученной грамоте, в двухклассной-то школе... Не столько даже рукою, сколько душой...

«Добрый день дарагой чилавек глеп по батюшки ненапишиш вот приходитца полуименем величать. Вы же хотели приехать и не приехал ну я ришила дарагой чилавек побиспокоить. Я вас прошу несочтите затрут ради бога пришлите мне адрис союз писателей куда абратитца к кому. Вы глеп знаете напишу сама своей ма-лаграматной рукою насчет памятника. Когда на похоро-нах я просила мертвое тело сына моево милова сына мне ниадали сказали поставят памятник. Вот прошло два года третий идет и низвуку. Мнежы хочетца пока жива посмотреть хоть памятник и тобы была рада. Здор-овья совсем не осталось жызнь наваласке потом он мне не нужен будет. Писала директору студии и бон-дарчуку и никто не отвечает. Господи если вы еще неот-ветити тогда не знаю куда кому написать. Я видала в Москве у скульптора он слепил господи я даже испу-галась. Метра 3 вышины весь сморщенный сугулый ру-ки согнул как подбитый питух крыльи атпустил. Стрась глядеть насмех что-ли. На родине его таким не видали. Ну глеп милый чилавек убедительно прошу постарайся ради бога. Буду ждать ответа хоть бы я пришла к па-мятнику посидела посмотрела может мне легче бы было».

...Чего не было в глазах у Марии Сергеевны, так это старческой потусторонности. Мать Василия Шукшина сознавала себя не только обиженной судьбой, безвре-менно потерявшей любимого сына (и двух мужей) ста-рухой, но и распорядительницей, хозяйкой сыновнего наследства — не материального, а духовного. Она осво-ила и цепко держала в уме то, что пишут про Васю, как пишут и почему, улавливала тонкости, оттенки, подтекст множасьихся мемуарных и критических высказываний о ее сыне, знала критиков пофамильно и по почерку. На некоторых она сетовала, других хвалила:

— Лев Аннинский все жгёт и жгёт Васю... Чего ему Вася-то худого сделал, этому Льву? Вроде хвалит, а сам подъялдыкивает: того Вася не успел, того не сде-лал, того не докончил. Он же не виноватый, сынок-то, што не успел. Он, бывало, приедет в Сростки и все-то

в комнате сидит, пишет. Мужики, которые его еще молодым знали, заходят, зовут его пойти с имья выпить, а он ни-ни. Денег им давал, кому сколько — я и не знаю. Он и в детстве добрый был мальчик и уж такой работающий. И все бы ему книги читать. Учительница у нас в Сростках была, в войну из Ленинграда эвакуированная, она Васю любила и выбирала ему, что почитать. Бывало, мне скажет: «У вас мальчик особенный. Он далеко пойдет...» Вот и пошел... И нету больше моего Васеньки, и не увижу я милова сына. За что его так-то? За что? Лучше бы мне помереть. Кому я-то, старая, нужна?

Мария Сергеевна плакала, но недолго, не позволяла горю осилить себя. Опять говорила про Васю. Иные люди, предметы, оценки всплывали в ее сознании только в связи с Васей.

— Ко мне все идут, идут, чего-то хотят от меня. Я уж и отличить не могу, кто по доброте душевной, а кто из корысти. Все чего-то хотят от меня, а чего с меня взять, со старухи?

Мария Сергеевна посмотрела на меня изучающе, строго, будто даже с укрызной. Но я не чувствовал за собой ни вины, ни корысти; мне приходилось выдерживать тяжеловатый, как у матери, взгляд из глубоких глазниц самого Василия Макаровича. И слезы, пролитые мною над гробом так нужного мне человека, все еще не простыли в моих глазах.

Со стен однокомнатной квартиры на нас смотрел Василий Макарович, разный на всех портретах, как и в жизни, и в кино: совершенно счастливый, смеющийся — с детьми, с друзьями; сощурившийся, нацеленный, как ружье, — в кожаном пиджаке Егора Прокудина; безмерно усталый — в солдатской пилотке, в просоленной гимнастерке; простоволосый, по-крестьянски собранный, ладный — с косою в руках в алтайской степи; в черном костюме, с черными провалами глазниц, глядящий в глаза своей смерти, — с таким Шукшиным прощались те, кто пришел проводить его в последний путь.

— Коробов хорошо написал про Васю, — говорила Мария Сергеевна. — И тут он жил у меня — плохого обём не скажу, по-человечески относился. А иные — не приведи господи... .

Мы распивали чай. Пришел Саша Лукиных, славный малый, бийский журналист, совсем еще юный, но успевший поработать у Шукшина в съемочной группе и напечатавший про это очерк в журнале. Он принес что-то

сьестное. Мария Сергеевна поворчала на него. Он был своим в этом доме.

Время утекало незаметно, уже и в окнах стало темно. Странное чувство владело мною: хотелось вот так просто жить вместе с этой женщиной, в том самом, единственном и все убывающем мире, откуда произошел Василий Макарович, жить у истока таланта и личности Шукшина, внимать журчанью истока и обновляться, как в тополевой роще над Катунью.

До поезда оставалась всего только ночь. Я заикнулся было, что мне пора... Мария Сергеевна замахала руками:

— Куда ты пойдешь на ночь глядя. У меня ночуй. Вокзал-то под боком. Посидим, потолкуем ладком.

Этого мне и нужно было. На это я даже надеяться не смел. Сразу же согласился.

И опять зажурчал исток, заговорил — своим единственным голосом.

Мария Сергеевна вспоминала Васино детство:

— Васю маленького я брала с собою на пашню... От этой... от Катунь его увести, потому что там — страшное дело. Катунь такая бурная. И они купаются и за собой маленькую сестренку ведут. Спасибо бригадиру... Я говорю, можно мне его брать, я прямо сознавала положение... что меня беспокоит. Я даже не слышала порой... вот рядом со мной люди работают, говорят, я их не слышу, у меня свое на уме, как бы там чего не случилось, думаю... Вот только думаю... Он разрешил, говорит, от бери пожалуйста, пусть он здесь и ночует. Он-то радехонек, Вася... А эту, маленькую-то, одну оставляли... она в огороде сидит, в избе боится, в огороде сидит, в ботве, в картошке. А его верхом посодют, и ешо кто с им сядет, он-то маленький... И так он привык и привык и так полюбил... Даже вот в армии четыре года служил, приходил в отпуск, и то... ходил в бригаду... «Я вот на одну ночку, мама». Я говорю: «Ну уж, сыночек, только на одну ночку, чего же я тебя ждала-ждала, ты пробудешь опять там, мне хоть охота с тобой...» — «Да я понимаю, милая», — он любил меня... А вот увезли, уехал и три ночи ночевал. Книг набрал с собой, газет набрал — заехали на почту. И там это... никак не отпускают. Он и с косцами, и со жнецами, на беседочку их посодит, им охота... Никак не отпускают... За им повариха заехала дня через три: «По-едем, Вася, ешо хоть на одну ночку к матерн...»

Мария Сергеевна рассказывала о Васиной юности и взрослом Васе. Детство, юность, московская, взрослая жизнь сыночка переплелись в сознании, сохранились в сердце матери неподделанными; все это было ее единственным, ею возвращенным, отпущенным в жизнь — и не убереженным Васей.

— Я когда увидала «Калину красную» первый раз — он на тракторе едет, — у меня, я думала, сердце лопнет... «Миленький, говорю, самостоятельно сидишь — едешь...» Тогда-то его эти... трактористы с собой поводят, он едет с ими на тракторе... А тут один... Так он привык, привык и привык... Давече долгие ночи сидел с бригадиром, от, все у него выспрашивал: когда какая культура сеется, когда она высеивается, когда наливается — все... и как почву готовить, и зябь и пары, и все, чтобы он до основания знал. А это бригадир дядя Ермолай... ешо он писал — читали рассказ «Дядя Ермолай»?.. Ну вот, он маленький был — и взрослый. Он его переспросил, бригадир говорит: «Вася, и зачем уж тебе теперь это... крестьянство?» А он говорил: «Это мне все нужно будет, это все нужно мне... это... чтобы мне все знать, не ошибиться ни в одном слове». Ну вот, это он имел в виду все...

Которые побогаче жили в селе, выбились, это... я им даже завидовала. «Ну вот видишь, говорю, как они одеваются, живут вот, а мне вас прямо жалко, детей моих родных...» А он говорит: «Не завидуй, мама, не надо завидовать, а это... они попозже, говорит, нам позавидуют...» Это он мне велел...

А тут уже... когда в скольких картинах снялся... В «Два Федора» он студентом снялся... Там же это... студентам плотят половину, что вот артист за такую работу получает. Ну и то, он так хорошо завелся, даже письмо мне прислал, оно у меня целое, письмо-то это... «Ну, мама, не беспокойся, я приборохлился, так что у меня с избытком всего. Все я накупил себе и сестре даже стал присылать...» Она ешо в Новосибирске училась, в пединституте. Он ей даже стал присылать...

Потом только его при Москве оставили, квартиру получил. Правда, без квартиры он много помучился. Прописаться некуда было...

8

Потом прошли годы, Мария Сергеевна умерла. Все быльем поросло,

И опять всплыло в памяти, всколыхнулось в душе, когда я увидел фильм «Праздники детства», по рассказам Шукшина, снятый в Сростках, по-шукшински пристально вглядывающийся в человеческие лица; вдумывающийся в судьбу крестьянской семьи, сопряженную с судьбою Родины, одухотворенный высокой правдой народной жизни, красотой и мощью алтайской природы, естественный в каждом слове и эпизоде, задушевный. Его поставили режиссеры Григорьевы, Ренита Андреевна и Юрий Валентинович, они учились вместе с Васей во ВГИКе, вместе отправились в свою первую творческую командировку — в Сибирь, на Алтай, в Сростки. Снимая фильм, год прожили в Сростках, побывали в каждом доме. Примером истового служения своему делу, открытостью, человечностью убедили жителей Сросток в том, что искусство такой же труд, как труд хлебороба, и нужно людям, как хлеб насущный, как мясо и молоко, как хмель, конопля и махорка. И те даже поверили в то, что Васина слава не зря, не от лукавого. Уж на что они были скептики, Васины односельчане, зная Васю с пеленок... Поверили наконец: «Да, что-то есть...» Их в этом удостоверил фильм «Праздники детства», им первым показанный. Они увидели в нем самих себя, свою жизнь, село свое Сростки. Искусство соединилось с жизнью, возвысило ее: красиво, трогательно до слез — и все по правде, как есть...

9

— Вы до Неверова едете? — спросил меня посреди ночи свежим голосом рыжеволосый, моложавый, румяный мой проводник.

— Нет, я до Третьяков.

— Ах да, Третьяков... Кто едет до Неверова? — понес он по вагону свою неусталость, незаспанность, бодрость и юношескую рассеянность.

10

Час предзвездный, звезды на небе. Зоревая кайма над степью, в той стороне, где Гилевское водохранилище, где село Корболиха, колхоз «Память Кирова», председатель Бадулин...

Проследив мой взгляд, Петр Никитич (так зовут шофера) похвастался:

— В «Памяти Кирова», вон там, за логом, по четырнадцать центнеров взяли пшеницы с гектара, а у нас по двадцать пять. Озимая рожь хорошо уродилась. В «России» больше сорока центнеров, и у нас тоже неплохие показатели.

В предрассветный час степная дорога пустынна. Степь отдыхает. Со всех сторон подступает ее послежатвенная, настоявшаяся, огузшая тишина.

— По двадцать пять и семь десятых на круг, — сказал Петр Никитич. — Это самая высокая урожайность в крае. Может быть, и во всей Западной Сибири, по нынешней засухе... В «России» по двадцать...

То же сообщил бы мне и председатель «Восхода», если бы сам меня встретил вот тут, на границе своих владений. Шофер изучил своего председателя, знает, с чего начинать разговор с председателевым гостем.

А вот и мосток через Корболиху. За мостком налево центральная площадь. Если взять вправо, тут ждет тебя, путник (словечко «путник» — из стародавних, карамзинских времен; в наше время «путников» не бывает, все больше командировочные; да и село Карамышево в стороне от проезжих дорог), не что-нибудь — пивбар... То есть он-то тебя не ждет, его откроют в шестнадцать часов по местному времени, на склоне дня. В урочное время в пивбаре сядет за стойку пригожая карамышанка, будет читать какой-нибудь журнал. Тут и здоровая бочка с пивом — с медным штырем и крантиком. В углу — навалом — среднеазиатские арбузы, штук сто или двести, каждый величиною с бочонок. Пиво в этом пивбаре не пьют, его продают навывнос. Потребители (или, лучше сказать, прихлебатели) пива приходят сюда с трехлитровыми банками. Пить пиво у стойки, как пьют его немцы, чехи, эстонцы, латыши, карамышане еще пока не умеют — чтобы тихо-мирно прихлебывать и помалкивать. Нет, пока не умеют...

Пиво привозят из «Памяти Кирова» — фирменное бадулинское пиво, ячменное, солодовое, беспримесное, сваренное на чистой ключевой воде. Говорят, что бадулинское пиво (сам Бадулин говорит) не только придает легкость мыслям, но и вылечивает желудочно-кишечные заболевания, полезно для почек и печени. Цены нет этому пиву (цена на него такая же, как у нас). Каждый год ячменное пиво приносит миллион дохода в кассу колхоза «Память Кирова». Пива вволю, очередей за ним не бывает. Девушки в сельских пивбарах в Зменно-

горском районе Алтайского края — барменши — могут в рабочее время не только подымать свое благосостояние на пене, но и заниматься самообразованием.

Если взять еще поправее, там карамышевская баня, с паром. Пар не то чтобы очень, но есть. Это — старая баня, рядом с нею строится новая, белокаменная. Строят ее, ну конечно, армянские каменных дел мастера во главе с неизменным Вардгесом Айвазяном. Он родом из Эчмиадзина, уже десять лет строит сибирское село Карамышево. И еще хватит строить на десять лет. Если спросишь Вардгеса, каково ему, южному человеку, изживать свои лучшие годы в этих дальних краях, он грустно улыбнется и скажет: «Такие же горные места...»

Если спросить у Антона Григорьевича Афанасьева, почему такой мосток через Корболиху — перила повалены, настил измочален: по нему же хлеб возят, по нему въезжают в знаменитое на весь край село Карамышево, в гремящий на всю страну урожаем колхоз «Восход», — я знаю, он наговорит с бочку арестантов. Потому и не спрашиваю. Антон Григорьевич скажет, что дорожники, туда их и сюда, тоже что-то должны... есть у них свои, пусть хилые, средства... и сельсовет, и тэдэ и тэпэ... Нельзя же все на одного председателя... Антон Григорьевич снимет руки с баранки, произнесет монолог, входя в роль, рассматривая поднятый вопрос со всех точек, материализуя речь-филиппику энергическим жестом...

Но это я забегаю вперед. Пока что Петр Никитич проводит меня в мой апартамент, в тот самый гостиничный номер, коему предстоит стать люксом, вот ужо подведут горячую воду... Ага! И самовара нет... (Вскоре он найдется, у соседа, московского драматурга.) В окно мне видна центральная площадь, обнесенное штaketником место для будущего парка. Парк по сию пору не заложен, чугунные ограды не поставлены. Не сразу и Москва строилась.

Восьмой час утра (у нас четвертый). Двадцать третье сентября. Уборка закончена. В колхозной конторе светится окно — председательское. Антон Григорьевич не встречает меня. Встреча наша, я знаю, будет наиплейшей, но председателю надо, чтобы гость поостыл, такой у него характер, у председателя, он не любит демонстративности, каких бы то ни было аффектаций.

Я жду, а что же мне делать?

Зачем я приехал в такую даль?

Хотя бы чаем горло прополоснуть, но нет самовара. Курю папиросу за папиросой — «Беломорканал», бийской фабрики. Дым горек до слез. Этим же дымом травил я себя в молодые годы, просиживая ночи над первыми моими рассказами, в городе Бийске, в Заречье, в избе с русской печью и одной общей горницей на всю семью, отгородясь от семьи ситцевой занавеской. Семья была вдовьей: хозяйка — вдова солдата Отечественной, хозяйкина мать — вдова партизана, воевавшего с Колчаком, и двое мальцов. И я у них — постоялец. С жильем было худо в те годы в Бийске; единственное, что я себе, корреспонденту, прискал, — вдовый дом.

Мальцы — один на стройке клал кирпичи, другой в мастерских слесарил — вернутся с работы перемазанные как чушки, бабушку матом обложат со всех сторон, беззлобно, даже ласково. При матери не решались, а бабушку не чтили. Та их и усюестит, и укорит, и воззовет к памяти деда, отца, отдавших жизни свои вот за это, чтобы им жилось... И накормит их щами, картошкой, яичницей с салом. Свинина у них была своя и яйца свои. А мальцы хорошие, работяги, только жуткие матерщинники.

Бывало, сгоняю куда-нибудь в командировку — ну, конечно, по Чуйскому тракту: в Онгудай, Шебалино, Усть-Коксу, на попутке, рядом с тем самым шофером, коему в скором времени предстоит стать героем рассказа Василия Шукшина: Пашкой Холманским, Гринькой Малюгиным, Спирькой Расторгуевым... — вернусь, и бабушка, вдова партизана, встретит меня как родного, накормит яичницей с салом, картошкой с солеными огурцами. Малость поотойдешь с дороги — и за свою писанину. Жить было мне тогда интересно. Главное, было, о чем писать. Только успевай заливать чернила в вечную ручку. Шариковой тогда у меня еще не было.

... Хлопнула внизу дверь, мужские шаги по лестнице, на пороге, по-летнему, в белой кепочке (день обещал быть летним), полный всяческих, телесных и душевных сил, вырос Антон.

— Ты давно приехал? А я...

Как будто не знает, хитрован, когда я приехал.

Обнялись, почеломкались.

— Ну ладно, пойдем завтракать.

— Как дела, Антон?

— Да ничо... Хлеб вывозим с токов. Много еще возить. Зябь непахана. Земля ссохлась, плуг выворачива-

ет. Свекла некопана. Скот готовим к зимовке. А так... все путем. — Антон крикнул. — Ладно, соловья баснями не кормят. Хорошо, что приехал. Я уж тебя заждался.

И правда, мне сделалось хорошо. Как будто что-то, самое главное, я забыл, потерял и вот вспомнил, нашел: сначала надо вывезти хлеб с токов, вспахать зябь, выкопать свеклу, приготовить скотину к зиме, а потом все другое.

Извечный, разумный, единственно возможный ход жизни...

Следовало внять этому ходу, предаться ему, идти дальше.

Не зря я приехал в Карамышево. Так надо.

11

Мария Никаноровна оказалась такой же, как в прошлом году, ласково лучащейся.

— Опять к нам? Понравилось?

— Понравилось.

День выдался ясный, теплый, без ветерка.

Первым делом я сбегал на ближнюю сопку, искупался в синеве и теплыни, надышался разнотравными, полынными, житными запахами предгорной степи, нагледелся на бесконечные переходы черной пашни в белесое жнивье, прозелени озимых в желтизну березняков, лиловато-пепельных каменистых пустошей в багряные таволожники. И еще — рденье калины, алость шиповника и боярышника, коричневые крапины татарника, розовато-серые гряды, зубья, сады камней по хребтам. Остановившееся мгновение полной гармонии красок, цвета, пространства, объемов. Ни один листок не дрожал...

Мой сосед по гостинице, драматург, набрал за месяц житья в Карамышеве изрядно шиповника и калины; калину развесил, шиповника насыпал целую выгородку в углу. Зимой в Москве пригодится. Он оказался добрым малым, большим ходяком по сопкам, рослым, плечистым, сорокашестилетним, в кепке с длинным козырьком, с московской повадкой сразу занимать трибуну и высказывать суждения, излагать программы, хорошо научившийся говорить и почти не умеющий слушать, ничего путного пока что не написавший (все впереди, как и у пишущего эти строки), ни на секунду не теряющий решимости взять свое.

Другим моим соседом в гостинице колхоза «Восход» оказался сибирский писатель (он так всем представлялся, я слышал: «писатель»), по-сибирски неразговорчивый, неулыбчивый, ширококостный. Ему было за сорок, он три года служил на Тихоокеанском флоте, поэтому близко, по-флотски сошелся с зампредседателя Иваном Ивановичем (И. И. служил на Балтике, на торпедных катерах,— вначале пахал на быках, пересел на трактор, потом на торпедный катер). Где-то на Салаирском хребте у сибирского писателя имелась избушка, он там жил, охотился и рыбачил. Написал книгу в двенадцать листов — про медведей. Он так и сказал: «Двенадцать листов. Про медведей». Каждое утро сибирский писатель по-флотски наглаживал свои брюки, надраивал ботинки ваксой. И — помалкивал, держал язык за зубами. В наши с драматургом разговоры не ввязывался, снисходительно усмехался: «Мели, Емеля, твоя неделя». Вообще, я замечал, многим сибирякам свично чувство превосходства над нами, наезжающими в Сибирь с «запада»...

Может быть, оно не так и беспочвенно, вот это осознание сибиряками своего достоинства и первородства: их же предки завоевали Сибирь, распахали ее — для нас, для России... Все же я спросил у Антона Григорьевича про его гостя: кто он таков, откуда, есть ли у него хоть какой-нибудь документ. Антон Григорьевич поскреб в затылке:

— Да, понимаешь, он сказал — писатель... Говорит, на сельскую тему пишет. Заметку показал, в газете напечатана. А так... черт его знает! Ну, я думаю, раз писатель... ага! А у нас шиферу нет ни грамма. Мы сидим у меня в кабинете с Иваном Ивановичем, мозгуем, как выйти из нашего пикового положения. Ну... а он заходит... «У меня, говорит, директор завода шиферного в Новокузнецке мой друг». Ну, что?... Снарядили машину в Новокузнецк. Иван Иванович поехал и этот... писатель. Через неделю простые вернулись. Ничего у них не вышло... — Председатель крякнул. И правда, как тут не крякнешь. — Иван Иванович говорит, ну, когда они в Новокузнецк приехали, у писателя-то вроде бы там жена. «А он со мной в гостиницу вместе, — Иван Иванович говорит. — Я его спрашиваю: «Ты чего к семье не идешь?» А он говорит: «Да ну ее...» Темное дело. Ладно, попутный груз был, машину не зря гоняли, а то бы...

Все же доверчивый человек Антон Григорьевич. Уж на что он крепкий орешек, хозяйственный мужик, прижимистый, скуповатый хозяин, но есть в нем слабинка... к художественной интеллигенции. К писателям он неравнодушен и еще к художникам.

Помню, в один из моих приездов я застал в Карамышеве целый табор художников, со всей России съехавшую творческую бригаду. Из Барнаула их направили прямо в «Восход», к Афанасьеву: и местность красивая, и колхоз хороший, и председатель с пониманием. Квартировали художники в старом деревянном здании школы — зимой там интернат, — с утра разбегались, разъезжались по полям, писали свои картины, рисовали свои рисунки. Были в этой бригаде добрые молодцы-бородачи, в потертых вельветах, в ковбойках с засученными рукавами, работавшие в манере Матисса или, скажем, Сезанна, была супружеская пара — оба графики. И была прекрасная дева — в джинсах, с челкой, с глазами такого цвета, как омуты в Корболихе: рябщие на солнце, вобравшие в себя прозелень береговых лозняков. Этюдник под мышку, взбежит на сопку, сидит день-деньской, чего-то малюет. Антон Григорьевич погоняет по степям — сужающимися кругами — и заглянет на сопку к художнице. Постоит рядом с ней, поулыбается, присоветует, где еще есть местечко, покрасивее этого, шире видно...

Все-таки интереснее жить председателю колхоза, когда рядом художники, — что-то рисуют. Или писатели, — что-то напишут. А то все хлеб да хлеб, да свекла, да скотина...

Художники наработались за месяц, и захотелось им напоследок пикника с шашлыком. Дело было за малым: получить у председателя барана. Художники намекали Антону, но тот намеков не понимал, отшучивался. Посылали к Антону художницу, тоже без пользы.

Тогда пошел я, сказал, что ребята поиздержались, а барашка им очень бы надо, после трудов...

Антон призадумался.

— А чего же они? Так бы и сказали. А то вертят хвостами, вокруг да около.

И он написал бумажку (ну, конечно, крикнул, это само собой).

После мне говорили, что пикник удался, в березовой роще, на сопке.

Дружба — такое дело: где-то, когда-то вдруг улыбнется кому-то, просыпется на чью-то голову манной небесной. Или подарит барашка. . .

12

Самовар возвратился на то самое место, на каком он урчал в прошлом году. У самовара образовался постоянно действующий (даже в ночное время) литературный пост в колхозе «Восход» (единственный литпост, возникший стихийно, не зафиксированный в отчетности). Чай сдабривался приносимым уборщицей тетей Настей молочком.

Главную радость литераторов, изучающих жизнь в передовом алтайском колхозе, составляли среднеазиатские арбузы. Всезнающий драматург утверждал, что арбузы очищают почки и выводящие пути (как пиво бадулинской марки). Он (драматург) приносил обыкновенно кавуны должного нутряного румянца, с глянцеви́тыми, черными, как глаза у среднеазиатских девушек, косточками, спелые, сладкие. У сибирского писателя раз на раз не приходился. Мне с арбузами не везло.

Я думаю, что способность каждого индивида выбрать арбуз могла бы сослужить службу психологам — в качестве испытательного теста. . . Я знал, конечно, как выбрать арбуз: обстукать его, будто ты врач и у тебя под рукой грудь больного; обхватить за бока и потискать, чтобы слышался хруст спелой плоти изнутри, — для этого надо иметь силенку. Зная все это, я всякий раз полагался на фортуна: покупал арбуз, как лотерейный фантик «лото-спринта», вспарывал его и в очередной раз убеждался в немилосердии ко мне фатума. Уроки самопознания горьки (в случае с арбузом — кислы), мы их несем в душе, как и добрые всходы изредка совершаемых добрых поступков.

На огонек к нам (на чашку чая, на арбуз) заглядывали то Иван Иванович, то председатель сельсовета Гиرونимус, то строитель Вардгес Айвазян, то Николай Александрович Муратов, парторг, — он не сработался с председателем, сдавал дела, уезжал на рудник, начальником отдела кадров. Заходил, конечно, и председатель.

Как-то в гостиницу колхоза «Восход» завернул главный агроном «России» Иван Андреевич Меркулов. При Илье Яковлевиче Шумакове он едва ли поехал бы сюда. . .

Иван Андреевич оказался рослым, плечистым, молодежым, со сросшимися над переносом соболинными бровями, с определенностью черт и суждений, с какой-то врожденной (может быть, приобретенной в «России?»), независимостью поведки, с горделивой осанкой красавцем. Он десять лет проработал у Шумакова. Шумаков отыскал Меркулова в ту пору, когда молодой агроном из Белокурихи сдавал экзамены в аспирантуру; разглядел-таки в толпе, взял к себе в «Россию», главным. Кандидатом наук Меркулову статья не пришлось, на его широкие плечи легла вся громада хлеба в колхозе «Россия», Шумаков занимался стратегией, тактикой, общим руководством. Меркулов сеял, выращивал, убирал хлеб. Вот уже десять лет...

Иван Андреевич походя, без нажима сообщил, что нынче в «России» намолочено, свезено на элеваторы или убрано под крышу («Мы хлеб на токах, под открытым небом не держим») пшеницы, в основном семенных сортов, на два с лишним миллиона рублей.

Вопросов Меркулову пока что не задавали, суетились насчет арбуза и прочего. Иван Андреевич сам знал, что надо сказать для прессы. Он сказал, что посеяли нынче в «России» чуть раньше, чем в «Восходе», зато и собрали чуть меньше. («Конечно, поздний сев в нашей зоне дает прибавку, но... у нас не модно особо перекрывать нормы»). Это он сказал шумаковскую, хорошо известную в районе фразу. Теперь она стала его, меркуловской... Нынче в «России» убирал хлеб без председателя. Не Шумаков убирал, а Меркулов.

13

..Илью Яковлевича Шумакова хоронили в августовский погожий день. Только началась уборка. Тысячи людей (я слышал: три тысячи) пришли на площадь села Барановка. По одну сторону площади — правление колхоза «Россия», по другую сторону — тополевая роща, там и кладбище. На нем похоронены два брата Ильи Шумакова. Оставлено было место для третьего брата...

Гроб с телом Шумакова привезли из Змеиногорского аэропорта в Барановку к полудню. По улицам села стекались на площадь, на кладбище люди. По степным дорогам пылили в Барановку машины: из Кольвани, Староалейска, Рубцовска... Траурный митинг открыл секретарь Змеиногорского горкома КПСС Евгений

Игнатъевич Жусенко, предоставил слово первому секретарю Алтайского крайкома Николаю Федоровичу Аксенову...

Усиленные динамиками, голоса выступающих разносились над Барановкой, звук двоило, звенящий от зноя воздух хорошо резонировал, над толпою кружились с граем вспугнутые галочки стаи. В мгновения тишины с полей было слышно жужжание жаток: уборка не прерывалась и в день похорон.

Люди стояли, как это всегда бывает на похоронах, каждый в таком удалении от могилы, насколько был близок с усопшим. Ближе всех была горестная женщина в черном — вдова...

О, как это умеют женщины — хоронить своих мужей. Уменьше заложено в их природу, ждет своего часа — не расплескать скорбь, не выплакать ее, не растечься слезами, не уронить себя, явить собою — на похоронах мужа — пример безупречного, жертвенного служения... И сколько иконописной смиренности в лицах жен, в их позах у гроба, в узелках и кончиках черных платочков, повязанных на голове, в ничего не видящих, пеленою горя застланных глазах.

..Помню, как хоронили моего отца, на Северном кладбище под Ленинградом. Покойник был нестандартный (так его укорили могильщики), гроб не влезал в загодя выкопанную, по общей мерке, могилу. Речей говорилось много, от парткома и от месткома, от старых друзей. Все подустали и с облегчением потекли к воротам, к автобусам, к поминальному столу. Остались мы с мамой — двое ближайших. Мама вдруг надломилась, пала на колени, коснулась лбом сырой земли, сказала только два слова: «Прощай, дед». Эти два слова, так сказанные, как никто не мог бы сказать, мне надо было услышать, чтобы понять: «Все кончено, не воротись. Прощай, дед. Мы будем жить дальше, теперь без тебя». С тех пор как у меня родилась дочь, отца мы звали дедом.

...Долго двигался круг прощанья. Стукнули комья алтайского чернозема о крышку гроба. Толпа потихоньку редела. И, мне говорили, стоял над могилой, в глубокой задумчивости, утирал слезу Николай Михайлович Бадулин, председатель колхоза «Память Кирова». О чем он думал, того нам знать не дано. Он был чуть моложе Ильи Яковлевича Шумакова. Они вернулись с одной войны, меченные одним огнем и металлом...

Рядом с могилой стояли Антон Григорьевич и Полина...

А после... после убрали хлеб. Без Шумакова. И думали: что будет дальше, кто станет на место Ильи Яковлевича, единственного, таких больше нет. Думали вслух: в семейном кругу, в кабинетах и на крылечках колхозных правлений, не только в Барановке, но в Карамышеве, Саввушке, Змеиногорске... Судили-рядили, прикидывали, соображали — на полевых станах и фермах, у рыбацких костров на Корболихе, Гилевском водохранилище, Кольванском озере. Это стало вопросом номер один, жизненно важным для всех: кто заменит Илью, кто решится, кого рекомендуют, кого поддержит народ. Называли Меркулова, Покрышкина.

Осенью 1981 года сильно разговорился народ в Змеиногорском районе Алтайского края. Район гудел, как потревоженный улей, как новгородское вече на заре российской государственности.

Один из выступающих, дело было на пасеке, помню, сказал так: «Да... трудно будет новому председателю в «России». Там люди такие, их Шумаков воспитал, они на двадцать пять лет впереди всех живут».

Колхоз «Россия» переименовали в колхоз имени Шумакова. Имя Шумакова присвоили улице в Барнауле и средней школе.

Председателем колхоза имени Шумакова рекомендовали Шахалевича; до сих пор Шахалевич председательствовал в колхозе имени Тельмана, в Саввушке.

Собрание в колхозе имени Шумакова... нет, в «России», новое название еще не прижилось, буду держаться старого, протекало бурно. Я приехал в Змеиногорский район спустя неделю после того собрания в Барановке, но прения все еще продолжались, речи произносились, кандидатуры обсуждались, составлялись прогнозы и гороскопы — во всем районе и за его пределами.

Выступавшие колхозники, молодые, неробкие, с прорезавшимися зубами мудрости — такими их воспитал Шумаков, — назвали своим кандидатом Меркулова (не сговариваясь, каждый сам от себя). При голосовании — открытом — простым большинством голосов прошел Шахалевич. Меркулов немного недобрал, голоса два раза пересчитывали.

...— Когда я работал управляющим отделением в Белокурихинском совхозе,— сказал Иван Андреевич Меркулов (в продолжение нашего разговора в гостинице колхоза «Восход»),— там все было ясно, как люди к тебе относятся, как ты к ним... А здесь... Я десять лет с Шумаковым проработал, и такой вопрос вообще не стоял. Шумаков — всему голова, и ладно. Я, главный агроном, с людей требовал выполнения правил агротехники. Вот и все. Оценивался мой труд по сводкам... Это было для меня неожиданностью, когда народ обо мне заговорил, на том собрании... Я бы пошел председателем... если надо. Фактически так бывало. Нынче, в июне, только отсеялись...— Иван Андреевич улыбался, от него исходила особенная сибирская неунывность,— Илья Яковлевич вызвал меня к себе, по рации. Ну, раз надо, являюсь. Он мне говорит: «Все, Иван, проводим радикальную реформу. Силы у меня, говорит, уже не те, что были, и я часто в разъездах, мне в Москву, в Барнаул, в Казахстан еще надо ехать. Стаелю тебя моим первым заместителем. Входи в дела, принимай хозяйство. Надо глядеть вперед...» Я — что же? Я от работы бегать не научился. «Ладно, говорю, я согласный. Только при одном условии. Чтобы агрономическая политика за мной осталась. Значит, я и первый зам и главный агроном... И еще агронома мне дайте в помощники, как дублера». — «Все, говорит, Иван, так и сделаем, проводим реформу. Завтра еду в край, докладываю начальству». Уехал, три дня его не было. Вернулся, меня не зовет. Ну, у меня своих дел хватает, без реформы. Потом, планерку проводит, гляжу, видок у него неважный. Он вообще в последнее время начал сдавать — все же годы и перегрузки сумасшедшие... После планерки говорит: «Останься, Иван». Поглядел вот так на меня, грустным взором. «Реформы, говорит, не будет, Иван». Он вообще-то мужик не особенно откровенный, но от меня ему нечего было скрывать: он по полям в шесть утра поедет, а я уже там, в полях... «Приехал, говорит, в Барнаул, дружков повстречал... Реформы не будет. Ехай в поля».

... Заглянул в гостиницу Антон Григорьевич Афанасьев, по всему видать — обрадовался нежданному гостю. Иван Андреевич спросил у Антона Григорьевича — о хлебе. О чем же еще-то спрашивать? О здоровье? Так и здоровье — в хлебе.

— Как, Антон Григорьевич, много хлеба возить осталось?

— Да есть маленько...— Антон безмятежно улыбался.

— Так-то бы надо, по делу, — подыграл восходовскому председателю главный агроном «России», — создать в районе штаб на всю уборку и вывозку зерна, распределять людей и технику, по хлебу, между хозяйствами...

Антон Григорьевич крикнул.

— Да ничо. Бог не выдаст, свинья не съест.

15

Как-то раз варили уху — на Колыванском озере, зеленатовато-карего цвета, в тальниковых, калиновых, жимолостных, смородиновых, таволожных, боярышниковых кустах. Сибирский писатель ночью ловил рыбу, от нас с драматургом никакого проку не было (никто его от нас и не ждал). Уху сварили в двух ведрах. Из ведер торчали хвосты линей, окуней — таких здоровых, какими лини и окуни бывают только в Сибири. Щуки поймались средние, как везде, тощеватые, костистые, зубастые, желтоглазые. Ловили рыбу местные люди разных профессий, объединенные общей страстью рыбачества, из которой проистекала общая у всех черта характера: артельность, покладистость.

В этом деле участвовали приглашенные председатели: «Восхода» и «Красной гвардии» — Афанасьевы, старший и младший.

Тут я должен заметить, что младший Афанасьев за год взматерел и как-то обособился, стал самозначащей фигурой. Что с ним случилось? Да ничего особенного. Он проработал год председателем колхоза на Алтае. Была зима, с морозами и буранами, с подвозкой кормов к фермам, со снегозадержанием, строительством, партучебой, — долгая, бесконечная сибирская зима. Потом весновспашка и сев. Потом лето со зноем и засухой, уборка... Весь год председатель провел на юру, на семи ветрах, что-то в нем обозначилось, отвердело, как годовое кольцо.

В этом засушливом году «Красная гвардия» собрала на круг по семнадцать центнеров зерновых с гектара. Старший Афанасьев порывался, как прежде бывало, по-

хлопать младшего по плечу: «Давай, племяш!» Младший уклонялся от похлопывания. Из племяша он и сам вырос в дядюшку.

Уху, конечно, варили мужчины; женщины — жены рыбаков — здесь же, на берегу, ночевавшие, такие же, как мужья, артельные и покладистые, варили картошку, сервировали постеленный на траву брезент, потчевали домашними соленьями и вареньями.

Едва улеглась первая радость удавшейся ухи, как приступили к главной повестке дня. Потянет Шахалевич или не потянет? Дотянет ли до Героя и депутата — председателю «России» это положено, такое хозяйство — или не дотянет? Что им руководило, когда соглашался? Почему не прошел Меркулов? Если бы прошел Меркулов, потянул бы он или не потянул? Можно ли вообще кем-нибудь заменить Шумакова?

Старший Афанасьев активно участвовал в обсуждении. Младший помалкивал, уху чуть пригублял. Как-то в нем вынашивались, созревали свои, отдельные от дядюшкиных, взгляды на текущий момент и виды на дальнейшую жизнь.

Вспомнили любимую притказку Шумакова: «Чей берег, того и рыба» — не только в том смысле, что здесь, на берегу Колыванского озера, рыба была Шахалевича, а теперь стала Кондрашкина, нового председателя колхоза имени Тельмана (прежде он был партторгом в этом колхозе), но еще и в каком-то другом... Тут было о чем подумать.

Поднимался и такой вопрос: потянет Кондрашкин колхоз имени Тельмана или не потянет?

16

Когда мы ехали домой в Карамышево с Колыванского озера, широкой улицей села Саввушка, Антон Григорьевич указал рукой на двухэтажный дом в стороне от дороги, почему-то вдруг вспомнил:

— Вот в эту школу меня мама привезла из нашей деревни, из Варшавы, во второй класс. А сама уехала. Ага! Я как в классе остался — ну, ребятки мне незнакомые, чужие — и заревел, ручьем залился. Вот стою и реву...

С кем не бывает в детстве. Да и не только в детстве...

Что-то такое было, витало в воздухе — общее настроение. Что-то грустно было в Змеиногорском районе в осень восемьдесят первого года. Умер один человек, а всем было грустно.

17

Перепадали дожди, образовалась смазочка на дорогах. Езда по степям стала другая, чем в летнюю пору.

— Что делают, чем думают?! — Антон Григорьевич вдруг даванул на тормоз. Машину повело... Был виден трактор, пахущий зябь. Защелкал тумблером рации. — Каменистый участок пахут. Лемеха поломают, а зябь вся непахана. Это же напоследок надо оставить, а они...

Пока стояли, было тихо, только сороки трещали. Поехали — ветер завыл.

.. Нахохленные девушки медленно, неохотно гребли лопатами зерно на току. Председатель что-то сказал девушкам, и они ему тоже что-то, без обычной игры, без улыбок. Зачерпнул горстью зерна, пожевал, сморщился, будто в первый раз попробовал. Вернулся в машину, похлопал себя по карману.

— Бумагу прислали из Рубцовского торгового техникума, просят отправить девчат на учебу. А кто работать будет?

В нехлебный нынешний год в «Восходе» собрали чуть ли не столько хлеба, сколько во всем районе. И, странное дело, этот убранный, свезенный на тока хлеб как будто никого не радовал. Уборочная отшумела, отлягала, оттрепыхалась вымпелами и стягами; то, ради чего она шумела, лягала, трепыхалась — пшеничное зерно, — лежало на токах и мокло — под Карамышевом, Новокузнецовкой, Воронежем, Березовкой... И никаких красных обозов. Не поспешали на помощь «Восходу» соседи (некоторые из них едва собрали семена). Трудового накалу не наблюдалось, высоких темпов хлебосдачи в эту пору никто ни с кого не спрашивал. Председатель «Восхода», как одинокий степной волк, мотался по степи, от тока к току...

Ничего трагического или, как теперь говорят, экстремального в этой ситуации не было. Привычное дело: рассосется и нынешний большой хлеб...

После, когда начнут у Антона Григорьевича отниматься ноги и руки немать, Полина скажет ему: «Зачем тебе больше-то всех надо? Сколько можно уродоваться?»

И всплывет в памяти шумаковская фраза: «У нас не принято особо нормы перекрывать...»

Антон задумается, крикнет, съездит куда-нибудь в Пятигорск или Трускавец, подремонтирует свой организм и будущей весной опять позже всех посетит,— и вырастит хлеб страшный... .

18

Как-то нынче осенью в Змеиногорске мне попался навстречу второй секретарь горкома Леонид Иванович Акишин и объяснил причину большого хлеба в «Восходе».

— У них исключительно благоприятные условия — и лучшие земли в районе, и рельеф, микроклимат... Дождей выпадает больше, чем у соседей... И еще: у них всегда в за́гашнике неучтенная пахота. Все так делают. В этом нет криминала. В «Восходе» распахивают все, что можно пахать...

Я его и не спрашивал, он сам счел нужным именно это мне объяснить.

Рано утром, пока одно окошко светилось в горкоме, у первого секретаря, я заглянул к Евгению Игнатьевичу Жусенко, мы с ним повспоминали о целнном времени. Он работал в те годы в Ключах, в Кулундинской степи. И я там бывал... Воспоминания о целине послужили предисловием к другому — главному разговору:

— Хлеб Афанасьев умеет выращивать. Механизаторы у него — старая гвардия, на них все держится. А вот животноводство... — Жусенко глядел на меня с укоризной, будто я виноват в том, что животноводство в «Восходе» так и не перевели на индустриальные рельсы.— И с кадрами не умеет ладить...

Я не спрашивал у Жусенко про Афанасьева. Это он меня вразумил, наставил на истинный путь, остерег от увлечения...

.. — Нет, ну я же ему говорю: ты давай поближе к народу, по отделениям, по бригадам, по токам, в производство вникай, в экономику, в агрономию. А он на планерке сядет по левую руку от меня, вроде, значит, мы с ним на равных.., Говорить начнет — и понес ахиною. Сказать-то ему нечего. Я его обрежу, он обижается. После приходит: «Ты меня не поддерживаешь». Ну, а я что?.. «Ты, говорю, ставь вопросы конкретно, принципиально, по-партийному. Пусть тебя, говорю, массы поддерживают. Заслуживай авторитет у народа, председатель тебе не мамка родная, чтобы за сиську ее держать». Я сам начинал секретарем парторганизации в колхозе, знаю, как это дается. А он в кабинете день просидит или с каким-нибудь плакатом носится, ко мне десять раз забежит: что делать, куда его повесить. И смех и грех. Машину ему дали: ехай по полям, будь вместе с народом. А он.. в горьком сгоняет, планы-отчеты свои к сроку представит, а толку — пшик! Теперь уходить собрался: «Не сработались с председателем. Председатель не умеет ладить с кадрами». А я и не буду с такими кадрами ладить..

Я привожу этот монолог председателя «Восхода» не для того, чтобы укорить — его словами — несработавшего с председателем парторга. Дать слово парторгу — он тоже поди найдет, что сказать, почему не сработались..

Машина шла на подъем, колеса пробуксовывали. Навстречу сползал с угора груженный зерном «зиллок». И вдруг его понесло, развернуло. Попади под колесо камень — и не собрать бы зерна.

Афанасьев поговорил с шофером, ладно, шофер-то свой, удержал машину, не растерялся. На дороге осталась куча зерна, сорокам с галками на потребу.

Сбегали в Карамышево, пересели с «Волги» на «УАЗ», словно переобулись по погоде: стало сухо ногам и не скользко. Опять куда-то поехали — по степям, по горам, по токам, по свекольным полосам..

Покуда Антон помалкивал, я ему что-то рассказывал. Езда вдвоем на машине, при дальних прогонах, знакомой дороге и ненастной погоде, когда дали закрыты, небо затучено, дворники ерзают по стеклу, располагает к беседе.

Летом я ездил в Венгрию, побывал в совхозе под

Будапештом. Ждал случая рассказать Антону... Совхоз выращивает зерновые: четыре тысячи гектаров пахоты; производит мясо, молоко. И еще в хозяйстве полсотни полупромышленных отраслей — промыслов: делают пуговицы, пробки, краны к пивным бочкам, выращивают и доводят до товарного вида хрен, перец, горчицу. Берут подряды на строительство дач. Занимаются автосервисом. Свиной раздают на откорм крестьянам, то есть продают по дешевке поросят, а принимают свинину — не жирную, беконную — за хорошую цену. Обеспечивают свиноводов кормами... В этом месте экскурсии по венгерскому совхозу я спросил у сопровождавшего меня заместителя директора, доктора Имре Дьердя (мне его так представили: доктор), не обрезают ли доходы сдатчиков мяса налогом или еще чем-нибудь. А то, на готовых кормах, при близко лежащей выгоде, вдруг кто-нибудь увлечется... Доктор Дьердь отвечал, что мясо они принимают у свиноводов анонимно, неограниченно. В Будапеште совхоз имеет четыре собственные торговые точки, сам торгует своим мясом, пуговицами, хреном, гвоздиками. Если конъюнктура на внутреннем рынке складывается не в пользу пуговиц, хрена и гвоздик, совхоз немедленно перестраивает промыслы, выбрасывает на рынок керамику, корицу и тюльпаны.

И еще — кролики. Кроликов тоже раздают крестьянским дворам, снабжают кролиководов кроличьей пищей и клетками, принимают тушки и шкурки. Крольчатину продают в Италию, там она пользуется спросом. На вырученную валюту покупают в Канаде быков-производителей. Порода такова (понятно, что теперь и коровы той же породы), что от каждой буренки надаивают по 6000 литров молока в год. Коров кормят кукурузным силосом с большой добавкой зерна. Силос содержат в башнях, их покупают в Голландии, Англии. Коровы, конечно, на стойловом содержании, в комплексах, но к помещениям для коров примыкают обширные выгоны; покуда часть стада в стойлах (на индустриальных рельсах), другая часть выгуливается, благоденствует, греется на солнышке, щиплет травку.

Да, еще, чтобы кончить про кроликов. Одних кроликов раздают по дворам, других выращивают — на мясо и шкуры — в благоустроенных, стерильно чистых крольчатниках с механической подачей кормов, с персоналом в белых халатах (персонала и не видно, — это нам выдали накрахмаленные халаты), Кролики симпатичные, мя-

гонькие, красноглазые. Особенно хороши крольчата. К крольчатнику примыкает маленький зоопарк: клетки под навесом, в клетках рыжие лисы, белые горностаи, дымчатые песцы. О чем угодно мог я подумать при виде этого мирного сосуществования длинноухих травоядных и острозубых хищников, только не об экономическом расчете. Доктор Дьердь мне объяснил: «Мы привозим зверей из Советского Союза, кормим их крольчатинной: естественный отход неизбежен. После сдираем с них шкуры (с горностаев и лис) и продаем». Вот так: ничто не пропадает, даже дохлые кролики.

В совхозе под Будапештом крепкие партийная и комсомольская организации, профсоюз и еще постоянно действует женсовет — важный орган, не только отстаивающий интересы женщин, но и влияющий на мужские дела, смягчающий, облагораживающий и даже возвышающий до поэзии прозу хозяйственного расчета.

Плановое задание сверху не включает в себя ни посевные площади, ни специализацию, ни культуры, ни вал, а только ежегодную чистую прибыль, производительность труда, количество продукта на работника в денежном исчислении. За перевыполнение плана хозяйство премируется...

Антон Григорьевич слушал вполуха, помалкивал. Видно было, что в нем накапливается, созревает сюжет для собственного короткого рассказа.

20

Утром я сидел в кабинете у Афанасьева. Постучал в дверь и сразу явился парень, грудь колесом, в сапогах, в нейлоновой куртке. Остановился на почтительном от председателя расстоянии. Двумя руками мял кепку, прижатую к пупку, на голове торчали во все стороны вихры.

— Антон Григорьевич, — стесняясь, улыбаясь, чему-то радуясь, притопывая ногами, начал парень, — отпустите меня домой на недельку. У меня сын родился. — В этом месте речи парень пролил из своих конечно же светлых глаз целую бадейку глупого счастья. — Я на хлебовывозке с первого дня... — Парень больше не знал, что сказать.

Афанасьев внимательно, пристально глядел на парня, самую малость осклабился.

— Сын, говоришь?

— Парень!— еще больше обрадовался возчик хлеба.

— Имя придумали?

— Не-а... Домой приеду, вместе с женой сочиним..

Антон Григорьевич сделал долгую паузу. Проситель все не мог совладать с улыбкой.

— Дак а чего ты спешить-то? — сказал председатель обиденным скучным голосом. — Оно же еще бессмысленное, твое дитя. Только слюнки пускает...

Парень все улыбался.

— Хлеб вывезем, вот тогда... — Председатель набычился.

Парень вышел.

Следом за ним как на крыльях влетел главный строитель — тоже парень, новенький, видно прямо из института. Принялся излагать председателю свою идею наискорейшего устройства в Карамышеве канализации:

— Ведем водопровод, чтобы еще раз канавы не копать... Посмотрите, Антон Григорьевич, это план, это смета...

Председатель надел очки, сделался раздраженным. Откинул бумаги.

— Это не главное. Поживем так, как жили.

Главный строитель ушел потухшим. А ведь горел.

Позитив на глазах превращался в негатив, что противно законам фотографии, а у людей бывает. Антон Григорьевич должен бы был... ну конечно, дать неделю отгула юному счастливому отцу. Протянуть руку главному строителю: «Давай-ка, мой юный друг, отвлечемся от неизбывных проблем хлебосдачи, проложим канализацию в Карамышеве, пускай наши заслуженные хлеборобы поблагодаряют наконец-то в теплых сортирах и помянут нас добрым словом...»

Может статься, председатель «Восхода» что-то забыл, потерял, израсходовал — человеческое — в вечной гонке за пудами, центнерами, тоннами?

Или это я по-другому вижу замечательного председателя передового по хлебу колхоза «Восход» — освещенно изменилось? ..

Скорее всего, так и должно быть у замечательного председателя в передовом колхозе. Иначе большого хлеба не взять. Да и вообще в Сибири обходятся без сантиментов. Подумаешь, народилось дитя...

Антон Григорьевич опять, как в прошлом году (и в позапрошлом, и пять лет назад), привез меня на аэродром, поставил машину на краю поля. Тот же самый сивый дедушка в аэрофлотской фуражке выписал мне билет до Барнаула. Мы опять залезли с Антоном в машину, остались вдвоем. Что-то нам надо было сказать друг другу, не говоренное до сих пор... Антон знал — что... Я его изучал как явление нашей действительности, как человеческий и социальный феномен, как будущего положительного героя моих сочинений. И он меня изучал. Посмотрел мне в глаза:

— Ты не журишь. Наше дело правое. За прошлый год мне дали второй орден Ленина и Золотую медаль ВДНХ. По итогам этого года — знамя крайкома и крайисполкома. Это точно! И еще, наверное, знамя ЦК, Совета Министров, ВЦСПС, ЦК комсомола...

С целинных времен мне запомнилась частушка-прибаутка. Целинники сами ее придумали, переживая в степи, в палатке, февральский буран: «Закутило, замутило, где кого прихватило, там и сиди».

Да так закутило, так замутило... В Барнауле двенадцать ниже нуля, третьи сутки вьюга. И по всему Алтаю тоже... А еще только октябрь начался...

Ресурсы, сроки гостеприимства у моих барнаульских друзей в отношении меня исчерпаны. Даже им не звоню. Сажу в гостинице Барнаульского аэропорта, у открытой настезь форточки, вдребезги простуженный. А закроешь форточку — ни хрена не услышишь. Голос информатора двоит, троит, вьюга воет. Белым-бело. Слова улавливаю, чисел не разбираю.

— Рейс номер... отменяется ввиду неприбытия самолета.

— Рейс номер... откладывается до двадцати трех часов московского времени.

Судорожно занимаюсь сложением: двадцать три плюс четыре — сколько будет? Ум заходит за разум.

— Все полеты по Барнаульскому аэропорту отменяются по условиям аэропорта до двадцати четырех часов...

— Объявляется посадка на рейс номер...

Чертовски двонт, сносит голос...

Хватаю пудовую сумку — в ней колыванские камешки, — бегу, задыхаюсь, врываюсь в двери вокзала, ищу табло. Нет, не те цифры. Ташусь обратно в гостиницу.

Закутило, замутило, где кого прихватило, там и сиди.

Однажды решил съездить в город. Сел в такси. Шоферу на вид лет сорок пять.

— Куда поедет, отец? — шофер у меня спрашивает. Неужто я так постарел за трое суток пурги?

— В ресторан «Алтай», сынок, вестимо...

23

В Москве теплынь, плюс восемнадцать ночью. Шуршит листва под ногами.

Вместе со мною в такси садится студент из Гамбни. Учится в Московском университете, на географическом. Дрожит как осиновый лист:

— У нас жарко. У вас холодно. Не могу привыкнуть.

— Тебя бы, мальчик, в Сибирь...

— Сибирь? Бр-р-р! Холодно!

Остаток ночи досаживаю на Ленинградском вокзале. В седьмом часу выхожу на Садовое кольцо — подышать, размяться. Прохожих почти нет, воскресенье. Идет навстречу седенький старенький москвич. Остановился против меня.

— Вы, наверное, кушать хотите?

— Хочу. Откуда вы знаете?

— У вас вид печальный. Вот так идите до первого перекрестка, потом налево, улицу перейдете, направо свернете, там — три ступеньки в подвальчик — буфет. Он рано открывается, в нем доброкачественные молочные продукты.

И правда, хорошие продукты: ряженка, рисовая каша, кофе сладкий, горячий, булочка свежая с сыром. Что еще человеку надо?

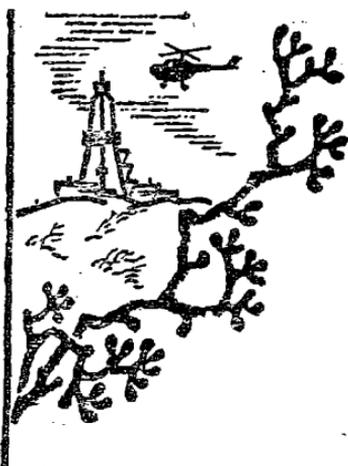
И была ли вьюга? Ведь впереди еще целая осень, и дождь, и ведро.

Все хорошо было в эту осень в колхозе «Восход», как и в прошлую осень. Переходящие знамена достались тому, кто их заслужил.

Только ранняя вьюга завывала, до срока...

Это бывает в Сибири: снег в октябре.

НОЧЬ НА БУРОВОЙ



НУЖНА ПРИВЫЧКА

Высота этой вышки — пятьдесят три метра, так сказал бурмастер. Я поглядел на вершину вышки, туда, где сидит верховой; верхового там не было в данный момент, но я знал, что бывает, должен быть верховой. Задрал голову, я посмотрел на то место, где должен быть верховой, и попросил у бурмастера разрешения слазить туда, на верхушку.

Мы полезли, то есть бурмастер первым полез, не полез — побежал по железному трапу, а мы полезли: со мною вместе полез мой товарищ. Мы лезли с той мыслью, что вот залезем — и разом увидим всю местность: болота, вблизи уныло-бесцветные, ржавые, с островками белой пушицы, а с высоты (мы видели их с вертолета) — многокрасочные, с влажной глубиной цвета, с богатством тонов, как тканые ковры; увитые лишаями леса, поляны лилового кипрея, и реку Колву — приток Усы, и, может быть, саму Усу, по-северному полноводную и величавую, и, может быть, город Усинск, в котором пока что поставлен один-единственный дом в пять этажей и заложена школа, которую к первому сентября надо сдать...

Мы одолели два марша железного трапа и стали как вкопанные, то есть не как вкопанные, а как припаянные к железу. Лезть выше сделалось страшно, поскольку вышка, чем выше, тем ощутимей вибрировала, ветер крепчал, и, главное, с каждой ступенькой кверху в наших телах прибывало весу. С возрастанием высоты

мысль о падении становилась неотступной, а сила рук, вцепившихся в железные поручни, казалась мизерной — в сравнении с непростительно избыточным весом тела...

Тем временем наш вожатый — бурмастер — взбежал на верхушку, вернулся к нам и утешил: «Все дело в привычке. Несколько раз подняться — и все».

Мы с облегчением согласились — все дело в привычке. Сошли на землю, и сделалось нам привычно. И, боже, как хорошо, когда под ногами земля, а небо над головою! Мы не смогли взобраться на небо по железной лесенке, но это и не входило в круг наших обязанностей...

НУ И ВОТ

— Знаешь что,— сказал мой товарищ, сойдя на землю,— я их буду рисовать, а ты их в это время расспрашивай. Так они свободнее себя будут чувствовать, а то когда их рисуешь, они каменеют...

Расспрашивание работающих людей, отрывание их от работы, неизбежный процент ненужных, глупых вопросов — тягостное дело. Рисование — это другое: тут тоже работа, к тому же еще и искусство, и, стало быть, творимое на глазах чудо.

Начали мы, понятно, с бурмастера:

— Ну, Володя, пойдете куда-нибудь, где потише. Мы вас немножко помучаем...

— Пойдете ко мне.

Бурмастер был статен, хорош. Он нам понравился сразу, при первом знакомстве. Художник успел мне шепнуть: «Красавец. Прямо танцор из Мариинки...»

Художник достал из сумки лист ватмана, взял в правую руку фломастер, сощурился, направил взор на модель. И вот уже нечто возникло на белом листе...

В доме бурмастера одна половина отведена под радиотелефонное устройство, в другой половине — кабинет, что ли, и спальня: две кровати с марлевыми пологами от комаров. В большое окно видна буровая № 37 — вся вышка от основания до маковки и машинное отделение, где ревет дизеля.

Бурмастер сидит за столом, позирует художнику, отвечает на мои вопросы и смотрит на буровую, не сводит с нее глаз. Вдруг вскочил, извинился, убежал (впоследствии он множество раз еще вскакивал и убегал). Вер-

нулся. Спрашиваем: «Что? Случилось что-нибудь?..» — «Нет, ничего не случилось. Все нормально».

Итак, Владимир Сергеевич Стриков. Сорок пятого года рождения. Родом из Перми. Отец и мать — строители. После семи классов — Пермский нефтяной техникум. Женат. Жена Шура работает у начальника Усинской нефтеразведочной экспедиции секретарем. Две дочки: Наташе пять лет и Оксане два годика. . .

Перед тем как поехать на буровую № 37, я познакомился в Усинске с секретаршей начальника нефтеразведки. Не зная, каков ее муж, я спросил у молодой, привлекательной Шуры, не скучно ли ей тут в свободное от работы время. Шура мне отвечала, что свободного времени при маленьких дочках не бывает. С каким-то даже вызовом она заявила, что без мужа ей ничего и не надо. «Без него я одна ни шагу, ни шагу. . .» Я не понял тогда, откуда эта подчеркнутая, немножко даже аффектированная привязанность к мужу. Побыв, пусть недолгое время, рядом с Володей, понял. Такого полюбишь — и правда, куда без него-то? «Ни шагу, ни шагу. . .» Шуру можно понять. . .

— Она в Усинск приехала после десятилетки, — рассказывал Володя, — Двусюродная сестра у нее тут была, она к ней приехала, просто так, посмотреть, из Куйбышева. Познакомились, ну и вот. . .

СКВАЖИНА

Дизеля захлебываются, фырчат. Не нужно быть опытным дизелистом, чтобы понять всю степень их перегрузки. По проекту предполагали бурить скважину глубиной 4700 метров. Забурились двадцать третьего октября семьдесят третьего года. Достичь проектного уровня назначили к первому января семьдесят пятого. На дворе июль семьдесят четвертого. Проектный уровень превзойден. Дело движется споро и без ЧП. Решили буриться глубже. До пяти километров. Осталось чуть более сотни метров. И чтобы вращалась турбина на этой адской глубине, чтобы грызли твердь земную алмазные долота, нужно наращивать давление глиняного раствора, нужно форсировать работу насосов, нужно выжимать из дизелей все, что они могут дать. И то, чего не могут. Глубокая скважина. Таких еще не бурили в этих местах. И оборудование, механизмы не рассчитаны

на столь глубокое бурение. Но — осталось почти сто метров...

— Я сразу на буровое поступил, — рассказывает Володя. — Вообще интересовался бурением. Но практику проходить на буровых разрешают с восемнадцати лет. А мне на первом курсе было четырнадцать. Пришлось на геологоразведочное перевестись. Потом все равно перешел на буровое. В Усинске с шестьдесят шестого года. Сначала — буровым рабочим, потом помощником бурильщика, бурильщиком, бурмастером. — Володя дает нам потрогать лежащий на столе цилиндр твердой породы — керн. — Мы взяли его на глубине три тысячи семьсот метров. Песчаник пропитан нефтью, причем хорошая, легкая нефть...

Солнце поравнялось с верхушкой буровой. Чтобы сесте, ему придется еще снизиться на пятьдесят три метра. Впрочем, садиться солнце не собиралось: в эту пору, в этих местах, вблизи Полярного круга, оно не садится совсем. Повисит над уснувшей землей, как люстра, или еще оно похоже на осветительную ракету, как я помню с военных времен, — и начнет набирать высоту.

— Володя, а вы когда спите?

— На последних сотнях метров я практически не сплю. Мы не знаем, что там происходит, в скважине, как работает турбина, в каком состоянии долота. Есть у нас только один приборчик, «колдун», он фиксирует натяжение на таях. Весь буровой механизм весит сто сорок тонн, да плюс еще турбобур углубляется, тоже тянет. Если оптимальная нагрузка на таях упадет, значит, что-то там не в порядке. Были бы у нас датчики, телевизионные устройства... «Колдун» зафиксирует изменение режима — значит, поднимаем весь инструмент на поверхность: сто пятьдесят труб-свечей, каждая тридцать семь метров длиной. Есть и по двадцать четыре метра. На подъем уходит семь с половиной часов, на спуск — шесть часов.

Технология бурения, как ее нам объясняет бурмастер, тоже частица его биографии, личности, штрих к портрету. Хорошо бы еще проникнуть в психологию. Но тут бесполезно спешить. Тут надо вместе съесть пуд соли. Или вот еще есть подходящие тесты у социологов и социальных психологов. Да и не только тесты. Для проникновения в психологию, то есть для раскрытия душ, бывают также полезны и тосты. Но кабинет бурмастера не место для тостов,

— Володя, как у вас на буровой с пьянством?

Вопрос нескладный, невежливый, но в последние годы он стал существенным, даже неперемнным.

— На буровой не пьют. Это исключено. Зарплату нам привозят на вертолете, раз в месяц, как ангелам. Работают у нас и на других буровых тоже по двадцать четыре дня — такая вахта. Отработал вахту — восемь дней выходных. Тогда, пожалуйста, можешь поехать в Усинск, в Печору, в Ухту или хоть в Сочи, куда душе угодно... Некоторые, особенно семейные, остаются здесь, на буровой. У нас два барака: для семейных и для холостяков. Своя пекарня, столовая, баня, два повара, пекарь, красный уголок... Две электростанции у нас свои, стокиловаттные, газ, разумеется, свой... Так-то выпивают, конечно. Но, знаете, с других буровых приедут на выходные в Усинск, поддадут, явятся в экспедицию и вот выкомаривают друг перед дружкой. В нашей бригаде этого не бывает. Мне даже говорят: «У вас не буровики, а ангелы».

Значит, мы попали к ангелам, на буровую № 37. И сам бурмастер как ангел: хоть и нет у него за плечами крыл, все равно он может в мгновение ока взбежать на небо — по железному трапу. Вот он опять вскочил, умчался туда, где работают семеро ангелов: бурильщик, он же сменный мастер, помощники бурильщиков, буровые рабочие, слесарь. Убежал — прибежал...

— Володя, последний вопросик: сколько вы получаете?

— Шестьсот-семьсот в месяц. В зависимости от проходки и безаварийности.

— Мы вас замучили совсем... Еще чуть-чуть, вот так повернитесь, пожалуйста... — Художник особенно прищурился, чтобы нанести на портрет последние черточки и штришки.

Бурмастер смотрит в окно, не сводит глаз со своей буровой.

— Это моя первая скважина. Так-то я и раньше работал бурмастером, но эта вся целиком моя, с первого дня до последнего... В июле кончим, потом в отпуск... Первого октября новую забурим.

К октябрю выпадет снег, и тогда подхватят ее, голубушку эту вышку длиною в пятьдесят три метра, эту железную орясину, опутают тросами, всякими оттяжками, впрягутся десять тракторов — и поволокут в какое-нибудь особо перспективное местечко посреди болот Тимано-Печорской провинции, куда назначат геологи...

— Володя, у вас есть какой-нибудь орден? Или хотя бы медаль...

— Нет,— смеется Володя.— Ордена нет и медали нет.

Бурмастера, с которыми мне приходилось беседовать прежде, все были орденосцы, депутаты, герои. Вышестоящие инстанции направляли меня на показательные буровые к лучшим бурмастерам.

— Вы молодой, Володя. Ваши ордена впереди.

— Почему молодой? Двадцать девять лет. Я в двадцать один стал бурмастером.

— После армии?

— Нет, я в армии не служил. Мальчишкой играл в футбол и, как говорят спортивные комментаторы, получил серьезную травму. Правая нога у меня покалечена... Хожу — вроде со стороны не заметно. (Правильнее было бы сказать не «хожу», а «летаю», во всяком случае — «бегаю».) Футбол для меня закрыт, в армию не взяли, осталось одно бурение. Никуда не отвлекался, времени не терял, вот и молодой бурмастер... Вообще-то, я старший в семье, у меня еще четверо братьев. Младший что-то свихнулся... Школу кончил, не поступил никуда, не работает, пьет... Родители мне написали, я съездил, привез его к себе. Он поработал у меня на буровой, потом говорит: «Нет, у тебя работать не буду. Ты — начальник, мне нужно тебя звать на «вы», Владимир Сергеевич... Не буду — и все». Ладно, я его к Петрову на буровую отвез. Мы с Петровым соревнуемся. И ничего. Пока держится парень. Может, получится толк.

Художник отложил готовый портрет в сторону, переводит взор с портрета на объект, сравнивает, сличает.

— Трудно вот так, с налету, писать портрет. Только схватываешь общие черты. Человеческое лицо изменчиво. Бывает, сами по себе черты неправильны, некрасивы, а в какой-то момент, в каком-то особом душевном озарении лицо преобразается и делается симпатичным...

Художник оправдывался.

— Я не женщина, — улыбнулся Володя. — Пойдемте ужинать.

— А женщины у вас есть на буровой?

— Найдутся.

О ПОЛЬЗЕ БОРЩА

Выходим на волю. У входа в соседний дом видим не только женщин, но и маленьких детей. И даже комары не жундят. С ревом дизелей уже свыклось ухо, этот звук существует отдельно от устоявшейся монолитной тишины великих пустынных пространств Тимано-Печорской провинции. Тишина — ночная. И так приятно, как писали в старину, расправить члены после долгого сидения. И вообще хорошо: теплынь, солнце светит, осталось бурить чуть больше ста метров, позади четыре тысячи семьсот восемьдесят (небось, пока мы разговаривали и рисовали, скважина малость поуглубилась). То есть не позади, а от поверхности земного шара, по которой мы шаркаем подошвами, до того места, где сейчас вращается алмазная коронка. Кому ни глянешь в лицо, на каждом лице привет и улыбка. Потому что близок конец — делу венец. И еще потому, быть может, что бурмастер — хороший парень...

На ужин взяли борща, котлет и компоту. Борща по полной миске с краями, компоту по полной кружке. На тяжелых работах ничто так не подкрепляет людей, как борщ.

В СОБСТВЕННОМ ЖАНРЕ

После ужина мы в красном уголке посмотрели немножко фильм «Леонардо да Винчи». Здесь же свободные от работы буровики сражались на бильярде (с железными шарами), один из них выделялся особенно молодецким видом. Его пышные кудрявые светло-русые вслосы свободно отросли до плеч, столь же свободно и пышно струились борода и усы. Он походил не столько на буровика, сколько на доброго молодца, былинного русича. Художник сразу же стал прищуриваться на этого добра молодца, и вскоре мы повлекли его, с благословения бурмастера, рисовать и расспрашивать — в бурмастерский кабинет.

Он оказался Виктором Галкиным, сорок девятого года рождения, из Челябинска, где работал на трубопрокатном заводе слесарем. Приехал в девственные печорские леса из любви к рыбалке, охоте и приключениям. Окончил месячные курсы, ныне — помощник бурильщика, то есть помбур. Получает в месяц четыреста — четыреста пятьдесят, женат, есть дочка. Главная любовь его жизни — охота и рыбалка — хотя и не остается без взаимности, но полного удовлетворения не дает: зверь, рыба, птица откатываются, замирают, напуганные, оглушенные, заморенные нашествием техники и людей. Но у Виктора есть собака Муха — «хорошо ходит», и у Мухи сын Шарик — «тоже получится толк».

Пока мы работали с Виктором Галкиным, я и художник, каждый в собственном жанре, бурмастер привел нам девушку в брезентухе.

— Вы спрашивали, есть ли у нас женщины. Вот, есть.

Мы с художником отерли пот со лбов, принялись за новый портрет.

Ольга Кальчу, оператор-коллектор. Работа у нее бессменная, круглосуточная. Она замеряет параметры раствора: удельный вес, вязкость и что-то еще. Окончила Полтавский нефтяной техникум, работала в Крыму, вышла замуж — и вместе с мужем сюда. Муж работает дизелистом.

Едва закончили портрет Ольги Кальчу, графический и социальный, как бурмастер представил нам дизелиста Михаила Левченко. Художник взял белый лист ватмана — так фотограф из ателье моментальной съемки берет в руки кассету и вставляет ее в свой деревянный, старинный аппарат...

— Повернитесь, пожалуйста. И разговаривайте. Не обращайтесь на меня внимания...

Михаил Левченко приехал добывать нефть на Усу из Сумской области. Там он работал в колхозе механиком.

— На пределе работаем, — говорит дизелист. — Наши дизеля по норме дают тысячу восьмьсот оборотов, а мы доводим до двух тысяч двухсот... Прибавкой топлива.

Еще портрет дизелиста Левченко не готов, а на пороге, влекомый бурмастером, уже топчется новый типаж.

— Это наш самый пожилой и уважаемый кадр — незаменимый, — представляет его Володя.

— Старик уж, чего там... — малость приbedняется вновь прибывший.

Он мужик еще хоть куда. Глаз у него с прищуром. Художник прищуривается на него, а он прищуривается на художника. Михаил Иванович Степанов. Слесарь. Видать, любитель поговорить — не надо и спрашивать.

Говорит он с понятием — вначале не о себе, о бурмастере:

— Такой настырный, такой настырный, сколько работаю, таких не встречал... Раньше и на охоту, и на рыбалку ходил, везде, а с этим и суток не хватает... Сам-то я откуда? Да с Ярославля. Двенадцать лет паровозного стажу, машинистом был в Ярославле. И здесь считай уже сколько. Год остался до пенсии... К старухе домой приедешь, от нее одна ругань: «Мне миллион дай, не поеду. В кино нагляделась на вас, в телевизор...» Меня зовет: приезжай да приезжай. А куда я поеду — год остался... Детей считай что и нету теперь. Я им по квартире купил, кооперативной. Трех внуков имею, те при моей старухе... А работа такая, что каждый момент что-нибудь может случиться... Клапана, поршня, штока быстро выходят из строя, а новых не везут... Давление большое, положено ему быть двести двадцать атмосфер, а тут двести пятьдесят — двести восемьдесят... Насосы не выдерживают, еще резины такой не выдумали...

Михаил Иванович Степанов поглядел на свой портрет — художник наловчился, сеанс от портрета к портрету короче. Усмехнулся. Надел кепку и вышел.

— Все, я больше не могу. — Художник расслабился, уронил руки.

— Ну и хватит на сегодня. Или что там, уже завтра?

ЛЕТОМ СВЕТЛО, ЗИМОЙ ТЕМНО

Дизеля почему-то умолкли. Ага, наверное, пересменка. Солнце приопустилось к зубчатой кромке леса, словно бы прилегло на эту опору поотдохнуть, прежде чем снова вздыматься к зениту. Освещение изменилось: полночь. Тени стали длинней.

У входа на буровую, привалившись животом к поручню, стоял бурильщик. Я его заметил, выделил из всей смены, когда еще в первый раз заглянул на буровую. Он был рослый, но, главное, толстый, что совсем

уж не характерно для бурового рабочего. Будучи самым толстым, солидным, он производил впечатление и самого старшего — если не по должности, то по годам. Но стоило малость к нему приглядеться, и становилась заметной его рассеянность, что ли, готовность отвлечься от работы, — он принялся глядеть на нас с художником, как никто другой, с тоской во взоре. И было еще что-то отроческое в выражении глаз этого толстяка.

Я подошел к нему с надеждой на доверительный разговор.

— Что, смена кончилась? — спросил я у толстого буровика, прислонясь рядом с ним к поручню.

Он ответил неожиданно тонким, но исполненным спокойствия и рассудительности голосом. Фразы у него выходили короткими, законченными, округлыми. Он отделял одну фразу от другой паузами:

— Нет. Смена не кончилась. Смена кончится через пятнадцать минут. Заклинило дизель.

Дав исчерпывающий ответ на мой вопрос, буровик замолчал, вежливо дожидаясь следующего вопроса, всем видом показывая готовность ответить на него.

— Светло здесь у вас, полночь, а светло, — сказал я, стараясь как-то выкарабкаться из набитой колеи анкетных вопросов-ответов.

— Да, — согласился толстый бурильщик. — У нас летом светло. А зимой темно. А у вас в Ленинграде тоже сейчас светло?

— Да... Светло... Но не так, как у вас...

Мой собеседник внимательно меня выслушал и ничего не сказал. Тема света и тьмы оказалась исчерпанной. Оставалась надежда на комаров.

— Что-то и комаров у вас нет, — сказал я. — Нам говорили, что комары...

— Да. Комары пропали. Теперь будет мошка, — обнадежил меня рассудительный бурильщик и тут же успокоил: — Комары кусаются дома, а мошка дома не кусается. Она кусается на улице.

Доверительный разговор на общие темы не получался. Конкретность и однозначность высказываний моего собеседника решительно исключали возможность такого разговора. Оставалась торная колея анкеты:

— Откуда вы сюда приехали?

— Я приехал из Калининграда.

— И давно?

— Уже двенадцать лет.

- Сколько же вам лет?
- Я тридцать восьмого года рождения.
- И семья у вас есть?
- Нет. Семьи у меня нет. Я пока холостой.
- А жилье у вас есть? Где вы живете, в Усинске?
- Нет. Жилплощади у меня пока нет. Но у моего двоюродного брата в Печоре есть комната в деревянном доме барачного типа. Я могу жить в этой комнате.
- И сколько вы еще собираетесь здесь работать?
- Надо добить до пенсии,— сказал толстяк.— Что-бы сохранились северные надбавки.

Я прикинул, сколько еще оставалось моему собеседнику добивать до пенсии. Выходило что-то около двадцати лет... Тут завелся дизель, дальнейший разговор сделался невозможным.

под пологом

— Ну что, поспать надо,— сказал бурмастер, выходя с буровой, отирая руки ветошью, распространяя вокруг себя некую силовую волну, что ли. Энергия исходила от мастера, свежесть сил. Очень энергичный мастер! Настырный мастер! Самая глубокая скважина пробурена с опережением чуть не на полгода. Самая первая — его — скважина.

Понимая мои недоумения после разговора с толстым буровиком, Володя сказал:

— Его фамилия Губернаторов. Он недавно на буровой. Раньше он поваром был.

Ну что же, теперь все понятно. Губернаторов. Бывший повар, ныне буровик. Переход из одной социальной среды в другую связан у него с определенными трудностями. Отсюда и томление во взоре.

Володя указал нам с художником на постели в своем кабинете-спальне.

— Ложитесь.

— Мы ваши кровати займем, а вы, Володя, где будете спать? — вежливо осведомился художник.

— Я сегодня спать не буду,— сказал Володя именно то, что мы и ожидали услышать от него.— Если что, у меня заместитель в отпуске. У него комната пустая в семейном бараке. Да и вообще я себе место найду.

Мы легли под марлевые пологи, хотя комары почти не кусались и в окошко светило солнце. За стеной то и дело звонил телефон, Бурмастер докладывал о поло-

жении дел на буровой № 37. Главный инженер Усинской нефтеразведочной тоже не спал в эту ночь, когда добуривались последние сто метров скважины.

Лежа под пологом, защищавшим не только от комаров, но и от солнца, я немножко поразмышлял о счастье бурмастере Стрикове и еще об одном бурмастере — несчастливом. . . Его фамилию я хорошо запомнил: Правдин. Я ночевал — лет двенадцать назад — на буровой у бурмастера Правдина, на острове Сахалине. Я отыскал эту буровую на мысе Набиль, что значит по-нивхски «место больших зверей», близ нефтепромысла Катангли, который в ту пору совсем захирел. Казалось, что нефть вся выкачана. . .

Дело было зимой, и за стеною барака не дизеля ревели, а выла метель. И бурмастер Правдин не спал оттого, что отчаянно плохи были дела на его буровой. Он лежал на койке в ватнике, в сапогах и крыл на чем свет стоит тех людей, что не верят в катанглийскую нефть. Бурмастер верил в нее, он чувствовал запах нефти, но не было у него турбобура, иступились долота, а новых не получить, потому что там, наверху, не верят. . . «С нашей техникой буриться все равно что вилкой землю пахать!» — изводился бурмастер Правдин.

Недавно я прочитал в газетах, что нефтепромысел Катангли обрел новую жизнь. Добурились-таки до тамошней глубинной нефти. Бурмастер Правдин оказался прав. Ну как же неправым-то быть с такой фамилией?

СЧАСТЛИВО ДОБУРИТЬСЯ!

Ладно, поспали, пора вставать.

На завтрак опять едят борщ и котлеты. Имеются и другие блюда. Но, наверное, после смены на буровой хорошо подкрепиться борщом. И тем более — заступая на смену.

Славное, ясное, теплое выдалось утро. Володя Стриков нас провожал. В утреннем свете заметнее стали тени в его глазницах. Устал парень. Да и как не устать? Мы всего ночь скоротали на буровой, и то в самое лучшее время, даже без комаров. А у него ночей — сколько было? С двадцать третьего октября прошлого года. . .

— Счастливо вам, Володя, добуриться!

Мы долго, долго еще оглядывались на буровую № 37. Солнце как раз поднялось вровень с вышкой, на пятьдесят три метра над землей.

ВЕСНОЮ В АФРИКЕ



БАЛЕТ СЕНЕГАЛА

Однажды в Ленинград приехал на гастроли балет Сенегала. Представления давали на Зимнем стадионе, танцы происходили на том же самом помосте, где обыкновенно играют в баскетбол, волейбол или растилают борцовские ковры.

Я жадно глядел на балет Сенегала, и ноздри мои раздувались: до меня доносился тот самый сладостный запах разгоряченного крайним усилием, орошенного потом тела. Когда-то и я выходил на ковер, на этот помост, в тяжелом весе. Я чаще проигрывал, чем побеждал, но меня заявляли в команде студенческого общества «Наука», поскольку мой вес можно было нагнать (прихватив с собою на взвешивание пару бутылок ситро) до восьмидесяти пяти килограммов и даже чуть выше. Других тяжелолюбцев среди студентов не водилось. Моя юность пришлось на первые послевоенные годы, никто не успел еще нарастить на костях достаточно мяса. Тяжеловесы были в ту пору подобны редким животным, которых нынче заносят в Красную книгу.

Я проигрывал пару схваток и занимал призовое третье место. А то и второе. Уходя с ковра побежденным, приносил команде очки. Поступался личным во имя общего. Что, может быть, и похвально, но кости мои трещали и почему-то хотелось плакать... Во времена моего студенчества еще неизвестны были утешительные формулы типа: «Побежденные должны молчать. Как семена...» Они пришли и утешили позже...

Расставшись с борьбой и студенческой жизнью, я посвятил свои годы тому, чтоб научиться писать, стать писателем. Для поддержания формы (литературной), во избежание поражений я постоянно тренировал руку, записывал каждый прожитый день, проходил курс науки самопознания: ловил внезапное впечатление, ворохнувшееся чувство, мелькнувшую мысль. . .

Вернувшись с концерта сенегальских танцоров, я сел за машинку и записал:

«Балет Сенегала! Балет Сенегала! Закончив дневные труды, город сходится вечером к Зимнему стадиону глядеть сенегальский балет.

. . . Колченогой старушке так трудно подняться на верхний дешевый ярус. Никто ей не хочет помочь, никто ее не жалеет. Ей надо видеть балет Сенегала.

. Гаснет свет, и рокочет тамтам, посреди придушенной, вялой жизни города вдруг проступает совсем иное, страстное, твердомускульное, прокаленное солнцем бытие. Ритм тамтама, возникнув, живет, и, странное дело, мне хочется вдруг — к работе, к бумаге, писать. . . Будто проснулся сентябрьским утром, когда мысли ясны, и силы свежи, и время не потрачено. Я слышу искусство. Искусство всегда мускулисто: огонь — не зола.

Африканцы бьют голыми пятками в помост, но мне слышится также «Семеновна» — пляска русской деревни. Настоящее русское схоже с подлинным африканским. Искусство народа — изъяснение сути его; в каждом народе — всечеловеческое.

. Танцуют черные девушки. На воле их черные вострые груди. Это — тоже искусство. Зал замирает, никто не пикнет, не чмокнет губами — так целомудренно, высоко, неприкасаемо нагое тело сенегалок.

Танцы мощны, и гибки тела, и ярки одежды, и подлинны страсти.

В антракте кислый, как сыворотка, радиоголос предупреждает:

— Граждане, во время представления фотографирование запрещено.

. Я выхожу из рядов в обалдевшей немного, ожившей толпе. Вижу: хромая старушка прыгает с верхнего яруса вниз по ступенькам, как радостный воробей.

А вот мой приятель студенческих лет. Облетел до срока его затылок.

— Здорово!

— Здорово!

— Ну как тебе негры?

— Колоссально, слушай! Они под корень рубят классический балет. Это же тоска — смотреть какое-нибудь там адажио. Бледная немочь. А тут современный ритм. Мне хочется уехать сейчас куда-нибудь в лесок, раздеться, попрыгать, подергаться, сплясать на всю катушку. Танец должен выражать физическую радость жизни. А в классическом балете все вялое, вымученное. Ножкой о ножку... Восемнадцатый век. Мы в городе здесь живем, как рыбы вареные. Нам встряска нужна. В лесок охота. За куст. Попрыгать...»

Так стал я думать о Сенегале — не отвлеченно, не в книгах вычитал; в моем сознании, в памяти появился некий образ и потеснил другие образы. В меня вошла Африка и поселилась во мне; она имела определенный телесный облик, цвет ее был не классически черный, согласно известной классификации «блэк энд уайт», а обладал непередаваемыми в словах оттенками; Африка звучала, существо ее было пронизано ритмом тамтама; она несла в себе заряд такой мощи, что, побывав в его поле, я вроде подзарядился. Балет Сенегала уехал к себе домой, шли годы, но я не забывал о нем. И мне определенно хотелось в Африку. Желание было подспудным, не могло стать жизненной программой. Ехать в Африку было решительно незачем. Я еще не объехал и десятой части собственной страны.

Однако... Пути, которые мы выбираем, вначале ведь пролегают в тайниках нашего подсознания. Не так ли? Чего-то мы сильно хотим, куда-то стремимся — за пределы отпущенного и достигаемого. И вдруг однажды — если, правда, сильно хотим...»

Однажды я прочитал в только что вышедшей и подаренной мне автором книге Виктора Конецкого «Морские сны» такие строчки: «Две сенегалки сидели на земле за воротами. По яркости и красочности одежд они напоминали купчих Кустодиева. Но профессия у них была более древняя...»

Опуская подробности первого знакомства с «африканскими Магдалинами», сразу перехожу к главному содержанию эпизода: «...та сенегалка, которая была моложе и красивее... выпустила из неволи цветастой, переливающейся всеми красками тропиков одежды левую грудь. Коричневую, с матовым налетом утреннего винограда грудь. Бледнеющую к соску, чтобы всплхнуть в нем бутонем гвоздики. Совершенной формы женскую

грудь, рядом с которой даже атомная боеголовка или обтекатель космической ракеты покажутся зубилом пикантропа.

А то, что на свет божий была выпущена только одна грудь, а не обе, еще усилило мое потрясение.

На чисто русском языке я почесал затылок и, возможно, даже покраснел. А сенегалка добила меня. Она, улыбаясь улыбкой Джоконды и глядя мне в глаза, подняла руку и прижала пальчиком сосок! И миллион тонн тринитротолуола бабахнули мне между глаз, в мою душу и в моего бога».

Я прочел эти сенегальские заметки с той степенью сопереживания, какая дается только годами близкого знакомства с автором, написавшим их. Я словно побывал вместе с Виктором Конецким — товарищем моей литературной молодости — на африканском берегу, в переулках Дакара. Африка, увиденная мною однажды, опять дала на себя поглядеть вблизи, в упор, глазами человека такого, как я, северного человека, настроенными обыкновенно на унылость и однотонность пейзажа, ослепленными вдруг яркой вспышкой. Как писал в поэме «Моя Африка» Борис Корнилов: «У нас темнеет в Ленинграде рано, густая ночь — владычица зимой, оконная надоедает рама, с пяти часов подернутая тьмой. . .»

Тут вышла в свет книга Николая Сладкова «Миомбо». Может статься, я проглядел бы ее в потоке текущей литературы, но автор подарил мне именно эту свою книгу, как будто понимал мою обостренную заинтересованность в отношении всего африканского. И вот читаю: «Я рад, что не уподобился кулику, который всю жизнь хвалит только свое болото. Природа везде хороша: тайга и джунгли, степи и саванна, болота и горы. Даже пустыня и тундра не ошибки природы: у них свой смысл и своя красота. Нет, конечно, милее и ближе земли, на которой ты рос. Но надо знать и ту землю, на которой мы все живем. Я не бывал еще в Африке и считал это большим упущением.

И вот в Африку — дорогою журавлей!»

Конецкий попал в Африку, будучи по должности и по самой сути своей натуры штурманом корабля, то есть морским волком. Сладкова привела в Африку его охотничья — без ружья, с необходимой примесью целенаправленного фанатизма — страсть естествоиспытателя, ловца тайн звериной жизни.

И конечно же, если Африка, то и Хемингуэй. Папа Хем ездил в Африку с богатым арсеналом огнестрельного оружия. О, если что он любил, то это пострелять. «Зеленые холмы Африки» вместе с упомянутыми книгами моих товарищей по перу лежали на столе и уже запылились.

Мне решительно незачем было ехать в Африку. Хотя... И морской волк, и соглядатай зверей, и их истребитель привозили из Африки один и тот же конечный продукт — в большей или меньшей степени художественные произведения, книги. Во все времена писатели разного толка, масштаба и мировоззрения отправлялись в Африку за материалом для своих книг.

Африка нашего времени дышит в лицо всему миру не только своим экваториальным жаром, но и невиданным доселе накалом социальных страстей; Африка проснулась, как просыпаются величайшие вулканы мира; Африку охватил всепожирающий пал, и отблеск его стал частицею спектра в освещении каждого дня...

Меня, как любого писателя с репортерской жилкой, подспудно тянуло в Африку, и вдруг... Но вдруг ли? Вот в том-то и дело — случайность выкристаллизовалась в результате повседневных моих усилий, обычной работы: поездки по стране, писания репортажей, очерков, рассказов, складывания их в книги, пробивания книг, сидения за столом в писательском клубе — все равно что у телетайпа, с ползущей из него лентой внутренних, совсем уже внутренних и закордонных новостей. Я пребывал в постоянной готовности к легким, летучим дружбам, высказывающим себя до конца или же значительно помалкивающим, тут же многократно запиваемым и заедаемым, назавтра забываемым или вдруг прорастающим каким-нибудь предложением, договором, авансом...

Как-то мне позвонил референт Иностранной комиссии Владилен Чесноков и спросил, не хочу ли я съездить в Анголу. Я сказал, что хочу.

И, как писал в свое время сатирик Аверченко, «все завертелось». Анкеты, фотографии на матовой бумаге 4×6, характеристики, утверждения. Прививки оспы и желтой лихорадки я перенес хорошо. Уколы под лопатку осуществляло милое, свежее, юное создание (на фоне белого халата свежесть и юность являются, как картина на паспарту) с прижившейся на лице маской невнимания к человеческим болям. После

оспы и лихорадки я подумывал, задним умом, не пригласить ли создание куда-нибудь на вечерок. Холера свалила меня в постель с температурой за тридцать восемь. Холера меня отрезвила. Я беспокоился, можно ли ехать в Анголу с холерной температурой. В Анголе тогда шла война, и посвященные в планы моей поездки — я не скрывал моих планов ни от кого — шутили, что если меня не съедят, как белого человека, то непременно подстрелят: имелся в виду мой гораздо выше среднего рост.

Похворав неделю, я, разумеется, выздоровел и совершенно готов был ехать. Однако что-то застопорилось в машине. Инокомиссия замолчала. Влад Чесноков не звонил. Наученный жизнью не рыпаться по пустякам, я тоже молчал, прикусывал амбицию, не давал ей выйти наружу. Посвященные в мои африканские дела смеялись: «Ну что, поболел холерой? За что тебя так? В чем провинился?..»

Прошло какое-то время, я поехал зачем-то в Москву; и вечером, в клубе, обрел, как всегда, и Влада. Он, по обыкновению, не только был навеселе, но искренне, изнутри, по характеру весел, исполнен дружелюбия и оптимизма. Он мне объяснил, что в Анголу поехали только африканисты, был строгий отбор. «Так что ты не журишь».

И правда, чего же журиться? Я был в моей жизни собкором, спецкором, завотделами: физкультуры и спорта, информации, прозы. Мне приходилось бывать рабочим и даже старшим рабочим в изыскательских партиях, коллектором в геологических экспедициях, лесником на кордоне, сторожем на писательской даче, секретарем Союза писателей, просто сочинителем-надомником. Африканистом я никогда не бывал.

— Я тебя включил в делегацию в Гвинею-Бисау, на острова Зеленого Мыса, — сказал Влад Чесноков. — Так что делай прививки...

Он был добрым малым, застрельщиком и замыкающим многого множества застолий в писательском клубе, синхронным переводчиком с французского, ездоком по франкоязычным странам Европы и Африки. Официально, по службе, у нас с ним не было дел, все дела наши вершились по дружбе, как говорится, спонтанно, по мгновенной душевной смычке. Конечно, не он решил, куда мне псехать и почему именно мне. Но в то же время я знаю, что если бы на скрещенье каких-то там линий

и мнений, при утрясении списков не оказалось бы в нужный момент Влада Чеснокова, то в Африке я бы не побывал...

Когда я вернулся из Африки, Влад, встретив меня, сказал:

— Ну, вот. Теперь ты станешь африканистом.

Однажды, сидя вечером в клубе, ища глазами Влада и не найдя, я спросил у одного из завсегдатаев, обязательного, как деревянная подпорка под антресолю, где Влад Чесноков.

— Разве ты не знаешь? Он умер.

Скорее всего, он умер от одной из болезней века. Хотя едва ли кто знает, отчего умирают люди в мирное время, в свои лучшие годы. То есть причины известны, записаны в справках о смерти. Но почему уходят из жизни те люди, которые нам помогли, которые поделились с нами тем, чем сами были богаты? Почему умирают хорошие люди, почему они так безрассудно тратят себя, не щадят?

Они первыми умирают и на войне...

В этот раз я не очень-то собирался в Африку. Сказал себе: «Забудь. Будет так будет, а не будет — и ничего, дел хватает и тут». Однако прививки сделал. (Делавшее уколы создание не показалось мне в этот раз таким уж утренне-юным.) И книг про Африку не убирал со стола...

Однажды мне попала в руки именно та книга, которую следовало прочесть перед поездкой в Гвинею-Бисау и на острова Зеленого Мыса: «Три выстрела в районе Миньер» Олега Игнатьева. Книга про то, как португальская, салазаровская разведка ПИДЕ готовила убийство основателя Африканской партии борьбы за освобождение Гвинеи-Бисау и островов Зеленого Мыса (ПАИГК) Амилкара Кабрала и осуществила его.

Руководимая ПАИГК повстанческая армия после двенадцати лет войны в джунглях Гвинеи-Бисау близка была к победе. И ПИДЕ торопила убийц. Заговор плели в среде близкого окружения Амилкара Кабрала, в охране штаба повстанческой армии. Не то чтобы Амилкар Кабрал пребывал в неведении относительно своей личной безопасности. Случалось, подозреваемых лиц он отправлял на дальние участки фронта в джунгли, но он никого не наказывал, избегал репрессий в своей стране,

На предостережения верных людей он отвечал, что ПАИГК должна прийти к власти с чистыми руками, без насилия, без террора. Он свято дорожил высокой гуманностью дела освобождения народа своей страны от колониализма — во мнении всего мира. И не выделял себя в ряду сражающегося народа как нечто самоценное.

Штаб армии освобождения располагался в Гвинейской республике, на окраине города Конакри. Война приближалась к победоносному завершению. Португальская администрация срочно улепетывала с насиженных мест к спасительным берегам метрополии, где тоже было весьма беспокойно. До провозглашения Республики Гвинея-Бисау оставались считанные недели (речь идет о событиях 1973 года).

В один из вечеров Амикара Кабрал был на приеме у посла Польской Народной Республики, принимал поздравления с победой. Он вернулся в штаб в полночь, сам вел машину, рядом с ним сидела Анна-Мария, жена, во дворе штаба стояли два джипа охраны, с включенным дальним светом. Амикара Кабрал вышел из машины, свет направили на него. Охранники, вооруженные до зубов, окружили его и потребовали полного повиновения. Амикара Кабрал отказался повиноваться и был изрешечен пулями. В Анну-Марию тоже стреляли, посчитали убитой; тело выбросили за ограду...

Мне хорошо запомнилась эта сцена, я представлял ее зрительно: тьма тропической ночи, слепящий свет фар, короткая стычка, выстрелы в упор и — глаза женщины...

Предполагалось, что Амикара Кабрал будет доставлен на ждущую в порту шхуну и увезен в город Бисау, где еще сохранялась власть салазаровского режима. Очень хотелось ПИДЕ расправиться с ним.

Читая книгу Олега Игнатьева «Три выстрела в районе Миньер», зимними вечерами у себя в кабинете, дома, я, конечно, не знал и не мог представить себе, что в скором времени окажусь на открытой террасе кафе отеля «24 сентября» в Бисау, и напротив меня за столиком будет сидеть Анна-Мария Кабрал, и я буду заглядывать ей в темные мерцающие глаза, с настоявшейся в них бездонной болью, в те самые глаза, которые увидели *все это*...

Февральским ранним утром мы проехали на такси по заиндевевшей Москве, вдвоем со спутником. Моему

спутнику предстояло увидеть свою Африку, отличную от моей, и я не буду переступать границ взятого им с собой в поездку суверенного мира, воздержусь от описаний увиденного от имени двоих. Вдвоем мы представляли собой делегацию Союза писателей в Сенегал, Гвинею-Бисау, Республику Острова Зеленого Мыса, обозначенную в картах мира двумя словами: Кабо Верде. Литературный Сенегал был в достаточной мере освоен, в Гвинею-Бисау литература только еще зарождалась, на архипелаге Зеленого Мыса никто из советских писателей не бывал. Мы первые, впервые.

Мой спутник хорошо владел немецким, похуже английским; мой английский хромал на обе ноги; в Сенегале говорили по-французски, в Гвинею-Бисау и на островах — по-португальски. Переводчика с нами не было. Никто из нас двоих в Африке до сих пор не бывал.

...Аэропорт Шереметьево-1 — врата в иные миры — достоин отдельного описания в не меньшей степени, чем, скажем, аэропорт в одноименном романе Артура Хейли. Знаменитый у нас американский автор производственных романов однажды, будучи гостем Союза писателей, рассказал, как он пишет. Вначале он выбирает объект для будущего романа, к примеру аэропорт. Год проводит на этом объекте, является на него как на службу, изо дня в день, выспрашивает главных действующих лиц, от которых зависит жизнедеятельность объекта, — и ничего пока не записывает: записывающая аппаратура, даже блокнот, мешает откровенной беседе... У Артура Хейли хорошая память, он не курит, пока не закончит роман, не берет в рот спиртного. Все услышанное за день выкладывает вечером секретарше-стенографистке. Труд каждого дня измеряется стопой исписанной стенографисткой бумаги — это заготовки к роману. Год истек. Артур Хейли отправляется на Бермуды, там у него вилла. Он встает в шесть часов, делает зарядку, плавает в бассейне, садится за разбор бумаг. Одновременно с разбором уточняется план, выверяется сюжет, обособляются персонажи, монтируются эпизоды. Так проходит еще один год. Производство романа вступает в заключительную фазу: автор садится и пишет его — опять-таки ровно год. На всех стадиях творческого цикла писателю помогает жена. Свободное от работы время посвящается прогулкам на яхте, купаниям, теннису, гольфу. Писатель должен быть постоянно свежим, в хорошей форме.

.. Последняя чашка кофе на наши советские деньги, и вот уже мы оторвались от московской земли, точно по расписанию. Наш рейс трансконтинентальный: Москва — Дакар, но в салоне лайнера такие знакомые лица, чтоб не сказать ласково-родственное: морды... Летит в Дакар подсмешная команда судоремонтников — ремонтировать наш пароход в дакарском доке. Команда (охота сказать «толпа»), как и положено ей в свободное от работы время, немножко навеселе. Особенно косоват мужик по фамилии Мухоедов.

Мы летим над Карпатами — в Карпатах белеет снег, — над Альпами, Апенниннами, над Загребом, Римом. Загреб и Рим остаются неувиденными под облаками.

Потом — Сахара. Между Сахарой и нами плывут облачка. И кажется, что в песках есть рощицы. Это — тени от облачков. Но облачка растаяли от жары, исходящей снизу. Жара как будто давит на окна самолета. До Сахары от моего окошка десять километров пустоты, за окошком трещит якутский мороз. Я лечу со скоростью восемьсот пятьдесят километров в час. Но я вижу Сахару близко, потому что она огромна и нераздельна, в ней нет подробностей. С такой высоты, на такой скорости подробностей не разглядеть, видишь целое. Сахара и представляет собою такое целое. Она песочного цвета, с подрумяненной корочкой, запекающаяся от зноя. Вначале Сахара ровна и остается ровной в течение часа. Потом, как это бывает на море, ровность нарушилась волнением. Сахара покрылась барханами. Они настолько велики, что даже с десяти километров хорошо просматривались их обрывистые склоны, наддувы.

Гряда барханов прервалась. Сахару нарушила какая-то аномалия. Поперек Сахары протянулся как будто поток застывшей лавы, на нем светло обозначились русла бывших когда-то больших и маленьких рек — макет кровеносных сосудов...

Я настолько погружен в созерцание Сахары, что не сразу заметил поднесенный мне соседом стакан, наполненный наполовину. Оба мои соседа в ряду — с краю сидел Мухоедов. — глядели на меня с выражением того самого братства, которое вдруг объединяет «скинувшихся на троих» у дверей магазина. И еще их глаза выражали заговорщицкую хитрость: операция «маленькая на троих» производилась на десятикилометровой высоте, при скорости восемьсот пятьдесят километров в час,

над самым центром пустыни Сахара. Опорожненную «маленькую» московского производства Мухоедов держал в руках, как победитель соревнования держит только что врученный ему хрустальный кубок. . .

Я принял бескорыстный дар соотечественников, выпил, утерся рукавом, выразил всем своим видом глубокую благодарность и понимание значительности этого акта дружбы. Снова приник к окошку.

Теперь Сахара представилась пашней с гигантскими бороздами. Ровные борозды протянулись в направлении, параллельном курсу нашего самолета, то есть с северо-востока на юго-запад. Темные гребни борозд и светлые междурядья. Пашня длилась еще часа два. Потом Сахара окрасилась в цвета побежалости, покрылась медной окалиной, залиловела, зазеленела. Окраска была подчинена не только законам спектра, но и каким-то геометрическим закономерностям. Вдруг обозначился ровно очерченный эллипс — поле гигантского стадиона, будто обрызнутое только взшедшей майской травой, с беговыми дорожками в сотни километров. Потом Сахару расчленили впадины, ущелья ломаного рисунка; Сахара почернела. И опять зажелтела, зарумянилась.

Мы летели над Сахарой, может быть, пять или шесть часов: крыло самолета, безукоризненность алюминиевой плоскости, на ней черные буквы: «СССР». И внизу Сахара, Сахара, Сахара. . . Когда-то она была страной миллиона рек. Сахара наводит на мысль о кончине Земли. . .

Пустыня Сахара кончилась в том месте, где протекала река, первая за шесть часов полета. Течение ее было незаметно, река стояла, то есть лежала. Была она мутно-зеленовата. Кто-то жил на ее берегах, земля сделалась лоскутной, то есть ухоженной, обжитой.

Вдруг запенилось синее море, задышало прохладой. Море правда было синим и белопенным. Стюардесса объявила домашним голосом:

— Через несколько минут наш самолет совершит посадку в городе Дакаре.

Город Дакар на мгновение показал то, чего не увидишь, находясь в одном уровне с горожанами. Сверху мы заглянули во внутренности ячеек-дворов. Впрочем, ничего достойного внимания там и не было: сушилось белье, ржавели букашки-автомобили.

В аэропорту Дакара было солнечно, ярко, цветно. . . Написал эту фразу и приостановил бег пера. Точно

также же слова сгодились бы, скажем, для характеристики аэропорта Адлер. Первые впечатления облакаются в словесные трафареты. Эту дистанцию между увиденным в Африке и подсознательно приготовленными загодя фразами мне придется еще не раз осознать. Что делать? Я торопился занести в блокнот то, что увидел, услышал. Мой спутник тоже не расставался с блокнотом, и если он писал, а я каким-нибудь образом, как говорят, ловил кайф, то поймать этот самый кайф все равно не мог: мной овладевал дух соревнования. Я брал себя в руки, то есть блокнот брал в руки. Так мы негласно соревновались. Это большое благо — иметь в путешествии спутником человека слова: одновременно оно и дело.

Я пишу африканские заметки у себя дома, за окном опять крутит февральская метель. Пишу и заглядываю в блокнот. Хотя фразы в нем нацараланы впопыхах, вкривь и вкось, но в них сохраняется непосредственность репортажа с места событий.

...Хороши были африканцы, но еще лучше африканки, в своих балахонах-бубу, с торчащими во все стороны хвостиками на головах, будто закрученными на ночь и не снятыми утром бигуди.

Нас встретили в Дакаре наши советские ребята, один из посольства, другой из торгпредства. Один на красном «Жигуле», другой на белом «Рено». Ребята спортивные, твердые, сухощавые, как хорошо проявленные на солнце подлещики, с глазами остро вглядывающимися, цепкими и тотчас по-компьютерному оценивающими.

Они привезли нас в отель «Меридиан», на самый берег Атлантического океана, в семнадцать километрах от Дакара; здесь есть и коттеджи-хижины, крытые тростником, и гостиничные корпуса подешевле, и фешенебельный многоэтажный белостенный собственно «Меридиан», и бассейн с морской водой, и ресторан с эстрадой, и ресторанчики, и бары, и теннисные корты, и туземный базар, и магазины с сенегальскими сувенирами, и остров неподалеку, и моторизованные пироги — для прогулок на остров. И ни за что не нужно платить, куда ты постоялец «Меридиана». Достаточно расписаться в квитке — у бармена, официанта, тренера по теннису, шефа пляжного инвентаря — проставить свою сигнатуру и номер апартаментов; расчет будет после: квитки заложат в машину, и не успеешь сосчитать до пяти, как

она тебе выдаст очень даже продолговатый счетик, с такими многозначными цифрами, что небо может показаться с овчинку, ежели ты не устоял перед «даровыми» соблазнами.

Тут в ходу французские и сенегальские франки: пятьдесят сенегальских все равно что один французский. Впрочем, не все равно: можно рассчитаться французскими, а сдачу получить сенегальскими. С сенегальской купюры французскими не сдают. Французские предпочтительней, что ли.

Весь гостиничный комплекс на берегу Атлантики назван африканским словом «Н'гор». Пользуются его благами — пока что не в полную меру, сезон только начался — французы. Есть и американцы, и «разные прочие шведы», но французы здесь дома.

Мы вышли на берег океана (утром ехали по заиндевшей Москве), здесь дул такой эркондишен, что впору было подумать о шубе. На берегу, на песке, в затылок друг дружке, сидели сенегалки в цветных бубу и чем-то торговали, совсем уж по мелочи. Женщины на песке торговали, а мужчины владели торговым рядком. Их мужчинский товар — деревянные резные фигурки, тамтамы, самодельные босоножки. Двое мужичков тотчас пристали к нам, новым на берегу лицам. Один предлагал два тамтама, то есть деревянные коробка, обтянутые чьей-то кожей, другой — сандалеты. За сандалеты торговец запрашивал тысячу франков (разумеется, сенегальских). Наши вежливые усилия избавиться от него ровным счетом ни к чему не приводили. Добывая себе и, должно быть, большой своей семье средства существования таким ненадежным, но единственным промыслом, он твердил все тот же вопрос: «What is your last price?» («Какая ваша последняя цена?») Надо думать, он сильно запрашивал и готов был уступать бог знает до какого предела.

Первым отстал тамтамщик. Торговец сандалетами, избавившись от конкурента, доверительно нам сообщил, что его тамтамы никуда не годятся.

В скором времени состоялось и наше знакомство с мальчишками этого побережья. Как все мальчишки мира, живущие на берегу, они собирали подаренный морем хлам в кучи и поджигали их. Они рассматривали нас во все глаза, без каких-либо признаков отроческой

робости, однако первых шагов навстречу не делали. Когда мы сделали эти шаги и подарили пригородным дакарским мальчишкам московские, ленинградские, рижские значки, когда мальчишки раскумекали — не сразу, не вдруг, — кто мы такие, откуда, то здесь же вспыхнула викторина: кто что знает про нашу страну? Один сказал: «Русия», другой: «Сайбизэрия», третий: «Ленин», четвертый с восторгом пролепетал: «Киевдинамо, Олег Блохин». В том году киевское «Динамо» завоевало кубок кубков.

В пестрой, необычайно живой, чумазой, блестящей глазами стае мальчишек выделялся стройный высокий серьезный мальчик. Он подошел к нам особо и на приличном английском сказал, что его зовут Муса, что он учится в четвертом классе, что его мечта — поехать в Москву в университет Лумумбы, выучиться на электрика. Он сообщил, что у него четыре брата и две сестры, а отец у него перевозчик, может перевезти на остров всего за сто франков.

Мы поняли, что мальчик Муса не просто гуляет по берегу, но еще и служит контрагентом своего отца-перевозчика.

Впрочем, как выяснится впоследствии, Муса перевозит и сам. Однажды он перевезет нас на остров Н'гор и покажет нам остров, с его россыпями перламутровых ракушек, пляжами, банановыми зарослями и голыми холмами. Муса нам покажет все это, с какой-то врожденной деликатностью держась поодаль, не навязывая себя в товарищи или гиды. И он пренебрежет интересами своего семейного перевозничьего дела, проведет с нами полдня на острове и привезет нас обратно.

... По берегу ходили три очень тощие овцы с длинными шеями и маленькими головками. Над пляжем летели, сносимые сильным ветром, птицы, такие же, как вороны, только с белыми передниками. Кажется, они и называются беловоронками. Повыше плавали, как щепки в омуте неба, африканские рыжие ястреба. Пролетел красавец «Конкорд» с приспущенным клювом. Кошки и собаки были точно такие, как наши.

Было грязно, захламлено. Хижины с плоскими крышами, торговцы и торговки, сидящие на песке, кошки, собаки, овцы, чумазые ребята — все несло на себе печать неизбывной, беспросветной бедности, нищеты.

Неподалеку, в пределах курортного рая, голубела в бассейне с кафельными стенками морская вода. В нем

купалась белая молодежь. Искупавшись, подкрепляла силы жареным — тут же оно и жарилось — мясом, зеленью, фруктами, напитками.

У самого моря кричал во всю глотку петух, такой, как у нас, малахольный. Но почему он кричал в дневное время, разевая клюв в сторону моря? О чем он кричал?

Президент Республики Сенегал Леопольд Седар Сенгор (ныне он сложил с себя президентские полномочия) известен в мире как поэт. Его многократно переводили и издавали у нас. Памятуя завет Гете: «Чтобы понять поэта, надо побывать у него на родине», по возвращении из Африки я положил к себе на стол том Библиотеки Всемирной Литературы: «Поэзия Африки» — и до сих пор он лежит, хотя книга библиотечная. Что-то мне нужно найти в этой книге мое, то есть пережитое, пережитое, но не высказанное, подспудное.

Недолго я пробыл в Африке, и все же есть у меня теперь моя Африка; я помню, вижу: зал Советского культурного центра в Дакаре, сфокусированные на мне — до физической осязаемости — взгляды сотни таких серьезных, таких доверчивых, таких сосредоточенных черных глаз с очень белыми белками. Негры хотят понять мою русскую речь, они изучают русский на курсах, они шевелят от усердия чуть лиловатыми, чуть вывернутыми, как у Пушкина, губами. Они не все понимают, директор СКЦ Козырев переводит мои слова на французский. Я говорю о Ленинграде, о Петербурге, где жили Пушкин, Гоголь, Достоевский. О! Эти имена хорошо известны дакарским любителям русской словесности.

Потом на сцену выходят трое черных юношей, сенегальски рослых, стройных, мощных. Трио читает по-русски Пушкина, раскатывая, как морской прибой камни, слишком твердое русское «р»: «Бур-р-ря мглою небо кр-р-роет, вихр-р-ри снежные кр-р-рутя...»

Африканские юноши вкладывают столько пыла в произносимые звуки, что звуки обретают свою собственную жизнь.

Хорошо бы этим юношам побывать на родине любимого ими поэта...

Возвратясь из Сенегала домой, я читаю Леопольда Седара Сенгора.

Обнаженная женщина, черная женщина!
Твой цвет — это жизнь, очертания тела прекрасны!
Я вырос в тени твоей, твои нежные пальцы касались очей моих.
И вот в сердце Лета и Юга, с высоты раскаленных высот
Я открываю тебя — обетованную землю,
И твоя красота поражает меня орлиной молнией прямо в сердце.
Обнаженная женщина, непостижимая женщина!
Спелый туго налившийся плод, темный хмель черных вин, губы,
одухотворяющие мои губы;
Саванна в прозрачной дали, саванна, трепещущая от горячих ласк
восточного ветра;
Тамтам изваянный, тамтам напряженный, рокочущий под пальцами
Победителя-воина;
Твой голос, глубокий и низкий, — это пенье возвышенной Страсти.

Я читаю и пленяюсь богатством, мощью, утонченностью звуковой палитры моего языка, его способностью к перевоплощению, переаранжировке. Африканские ритмы, экстатическая чувственность и умягчающая душу нежность, переливы мягких ночных потемок и слепящего полуденного света доносятся до меня, звучат, оживают, раскрывают сердце для отклика.

Сенгор пишет по-французски. Так что африканский субстрат его поэзии дошел до нас после двойной перегонки — и не утратил крепости настоя. Подлинная поэзия неразменна, у нее есть всемирный, не нуждающийся в конвертировании язык образа.

И все же, чтобы понять поэта, лучше всего побывать у него на родине.

Розово, пышно цветет бугенвилля, похожая на олеандр, только еще пышнее, обильнее. На газонах багровеет цветущая герань, та самая, что украшает быт провинциальных русских городов. Легко проносятся на головах поклажу черные женщины. Тела их обернуты цветной тканью с изысканной неприхотливостью — особой, своей у каждой сенегалки. О каком-то общем стандарте, фасоне, моде тут говорить не стоит. Девушки затянуты в джинсы и блузы. Как сказано в приведенном выше стихотворении Леопольда Седара Сенгора: «очертания тела прекрасны».

Белостенный, облитый солнцем и обвеянный океанским бризом зеленый, цветной Дакар — этот «малень-

кий Париж» жарко дышал бензином, пряностями, тревожаще-новыми для наших северных органов обоняния запахами. В помещении министерства культуры было затхло, полутемно. Переход с улицы в этот бюрократический микроклимат возвращал, что ли, к реальности. Поистине жизнь в африканской стране контрастна и даже лоскутна, как живописное рубище здешнего нищего.

Нищих в Дакаре толпы, убогих, увечных, изъеденных болезнями до кости. Главная их неизлечимая болезнь — нищета, но здесь немало и прокаженных...

Однажды мы ехали в машине по Дакару. Правило движения здесь, как и во всех африканских городах, одно: береги правый бок. И вот, пропуская поток машин справа, мы оказались в окружении нищей братии. Протягивая к нам свои ссохшиеся, розоватые изнутри ладони, какие-то кошелки, кружки, плошки, они улыбались, показывали необыкновенно красные, пунцовые полости ртов, десны, языки. Улыбки их выражали одно-единственное чувство — беспредельную доброту. Так улыбаются еще только добрейшие наши друзья, домашние псы.

Нищие не обижались, не получив подавания, однако и не внимали каким-либо знакам отказа, подобно тому как не внимают им торговцы тамтамами и сандалетами. Ближе всех оказался нищий с большой кошелкой. Поскольку движение было тут интенсивным и приходилось стоять, беречь правый бок, мы оказались лицом к лицу с просящим. Нищий радостно закивал, еще блаженнее заулыбался. Ноги его были искривлены в коленных суставах.

Изгłodанный запредельной нищетой и улыбающийся нищий — одна из характерных масок современного Сенегала. И еще одна маска: так же, по-песью бессмысленно, ласково улыбающийся солдат, с автоматом у живота, с пальцем на спуске. Я видел его в цепи цвета хаки и цвета черного эбенового дерева. Цепь замкнула подворье университета. За цепью бурлила студенческая толпа. Студентов в Дакарском университете четырнадцать тысяч. Это один из старейших, с высоким уровнем преподавания и демократическими традициями университет Африки. Сюда приезжают учиться с Ближнего Востока, из Латинской Америки, даже и из Европы. (Бывший президент Сенегала Сенгор учился в одном из коллегей Парижа, вместе с бывшим президентом Франции Помпиду).

И было ясно, что улыбающийся автоматчик при первом же приказе даст очередь по толпе. Он пребывал как будто в блаженном анабиозе.

Утро. В небе кружат ястреба. Ночью на небе лежала в дрейфе луна, в необычной для нашего неба, для нашей луны позиции. Луна дрейфовала, как лодка, лежа на бездне неба.

У нас луна — серп, а здесь — посудина, пирога.

Можно здешнюю луну сравнить и с арбузной коркой, брошенной на асфальт. Но лучше — с пирогой.

На полпути от курортной резервации — для белых — Н'гор до Дакара расположена Золотая деревня. Сопровождающий нас пресс-атташе советского посольства Саша Шамарин называет ее деревенькой. Деревенька на берегу океана, она состоит из деревянных крытых лотков, кое-как сколоченных ларьков и киосков, из мастерских и цехов под открытым небом и из стилизованных под африканскую деревню хижин, крытых тростником. Торгуют здесь драгоценностями — самыми дешевыми и самыми искусными по выделке на африканском рынке — золотом, серебром. Ожерелья, браслеты, нити, тончайшая капиллярная вязь по благородному металлу; брелоки, кольца, изысканнейшие ненужности. Поражает не столько даже сама эта роскошь, сколько ее несоответствие торговым помещениям. Ну, представьте себе, если бы содержимое современного ювелирного магазина вдруг перенесли в сезонные фанерные будки и принялись бы торговать золотыми кулонами, как пирожками на перроне. . .

Торгуют негры, они же работают по металлу, демонстрируя мастерство, с которым мог бы поспорить разве что лесковский Левша.

Впрочем, торговля благородным металлом не главное в деревеньке, только оправа. Народ толпится у рядов с сенегальскими масками. Тут я передам ненадолго слово Леопольду Седару Сенгору:

Маска, лик, недоступный для суетных мыслей,
Лик бесптелесный, безглазый,
Совершенство бронзовых черт в патине времен,
Лик, не знавший румян и морщин, ни поцелуев не знавший, ни слез,
О лицо, сотворенное богом еще до того, как забрезжила память
всего.

Мастер, сосредоточенный в своем искусстве; его руки, его лицо такого же цвета, как черное дерево; морщины, как линии годовых колец в древесной текстуре. Дерево тяжелое, литое железо. Синее небо, и еще более синее море, и рыжие ястреба. . .

Сын Саша Шамарина, бесстрашный Митя. . . Ему три года. Мите охота потрогать деревянных идолов, он понимает их как игрушки. Лучше его не отпускать от себя, уж больно он шустр. Все-таки не в московском дворе, как-никак в Африке. . .

Если что-нибудь покупать в Золотой деревеньке, надо уметь отличить степень искусства, неуловимую для праздного глаза.

Саша выбрал «недельку» — семь масок. Должно быть, каждая из них соответствует какому-то дню недели. Они висят у меня на стене, я вглядываюсь в черные лики, но лики не открывают секрета, кто у них воскресенье, а кто среда. Они безглазы, у них прямые носы, высокие голые лбы, выпяченные, округлые створки губ. Каждая маска увенчана рожками или гребнем. Лики узки, продолговаты. Над бровями у них насечки. Каково им в нашу морозную зиму? Лики молчат. . .

Найденная Сашей «неделька» только что вышла из-под резца мастера. Этот мастер работает, как говорится, с собственным клеймом качества. Он не участвует в торге. Его изделия продает негр мощного телосложения, не только темнокожий, но и несколько сумеречный: торговля — серьезное дело. Саша перебрал маски этой наилучшей «недельки», как четки перебирают, привычной рукой, будто пальцами осязая их цену, лицо его было непроницаемо. Продавец скрестил на груди руки, отодвинулся в тень. Он не унижался до похвал своему товару, товар сам говорил за себя. Саша небрежно кинул маски на прилавок и пошел вдоль ряда, увлекая нас за собой.

Я любовался Сашей. Он был твердый орешек. Его французский язык был легок, летуч, без какой-либо внутренней заминки. Он был общителен, напорист и в каждом диалоге, по-видимому, добивался того, что нужно было ему. Его манеры и поведение отличались вызывающей уважение неуступчивостью. Все эти Сашины качества можно назвать одним словом: Саша был деловой человек. Он закончил режиссерский факультет ВГИКа, а потом Институт международных отношений.

Мы медленно шли вдоль ряда, приценивались к

«неделькам» других мастеров. Все они явно уступали той, главной «недельке». Митя немножко вякал, ему нравилось все, хотелось поскорей завладеть какой-нибудь куклой. Саша нас остужал: «Не надо торопиться, пусть дозреет до настоящей цены».

Когда мы вернулись к первому продавцу, он усмехнулся, прекрасно поняв все наши хитрости. Вокруг нас сбилась группа поднатчиков, может быть, даже профессиональных зазывал, живущих на проценты от сделок. Саша вел диалог с продавцом, продавец не уступал ни полушки.

Зазывалы и поднатчики, раскусив наконец, кто мы такие, заговорили по-русски: «Саня, давай-давай! Саня, давай!» Эти познания русского языка необычайно фонетически восприимчивые негры почерпнули в порту, у причалов, где стоят под погрузкой или разгрузкой наши суда. И этот клич «Саня, давай!» вошел в многоязычный разговорный обиход Дакара, как русские шапки-ушанки в спецодежду дакарских докеров.

Я видел их в порту, блаженно улыбающихся, в шапках с опущенными и подвязанными ушами. Шапки, должно быть, спасают от здешнего разящего солнца не хуже, чем от якутского мороза.

«Недельку» мы все же взяли за названную цену. Не позволяющий себе каких бы то ни было уступок в делах, Саша недовольно ворчал: «Вчера в Дакар пришел советский круизный лайнер «Карелия», привез туристов из ФРГ. Они побывали в деревеньке и вздули цены. Вообще-то, он должен был тысчонку сбросить...»

Особо хочу сказать о звучании русской речи в иноязычной стране. Что для русского это — самая лучшая музыка, и говорить не нужно. Звук русской речи производит определенное действие на англо-, франко-, германо-, итало-, испано- и так далее язычных людей. Действие многозначно, многооттенчато, и никогда нельзя предвидеть, к каким результатам приведет произнесенная тобою вслух русская фраза где-нибудь на рю, стрит, виа или авенида.

...Однажды в Неаполе, осенним вечером, мы, группа писателей, в основном с московской пропиской, держали путь из отеля «Британик», который, как известно, находится у черта на куличках, куда-нибудь поближе к центру, на виа Рома. Хорошо информированные о террито-

ризме, гангстеризме и других безобразиях на улицах итальянских городов, мы держались тесной гурьбой. Женщины прижимали сумки к боку (или к бедру). В нашей памяти жива была рассказанная еще в Москве сцена, разыгравшаяся вот тут, в Неаполе: шла советская женщина, гид «Интуриста», с группой, с сумкой на плече, не на том плече, на каком бы нужно. Мимо неслись на мопеде два бандита. Они подцепили сумку. Добыча казалась им легкой. Однако не тут-то было: наша женщина сумку не отдала. Она упала, ее проволокли по мостовой, у нее оказались сломаны два ребра. Воры скрылись несолоно хлебавши...

Нашу группу вел неформальный лидер. В зарубежной поездке он тотчас выявляет себя, высовывается на полшага вперед других, обнаруживает в залежах своего жизненного опыта уйму практических сведений о данной стране. Он знает, где продаются самые дешевые джинсы, где идет фильм «Эммануэла», сколько стоит «Фиат», как по-итальянски, по-английски, по-французски, по-испански «сколько стоит?» и многое другое. Так вот, неформальный лидер с планом Неаполя в руках вел нас по изломанным, как температурная кривая при малярии, неаполитанским улицам. Московские дамы из литературной среды, вообще склонные к полиглотству, обращались к прохожим с вопросами на разных языках, кажется даже на неаполитанском диалекте. Один из стоящих у подъездов мужчин как-то вдруг весь напрягся, ловя нашу речь, потянулся к нам с улыбкой, спросил: «Моску? Русо?» Последующие события развивались в итальянском темпе.

Наши дамы наперебой переводили речь обретенного в Неаполе друга. Он говорит, что он коммунист. Он говорит, что первый раз в жизни видит русских. Он говорит, что надо по этому случаю выпить. Можно было и не переводить. Итальянская речь настолько экспрессивна, настолько аранжирована общепонятными интонациями и мимикой, нашпигована интернациональной латынью, что звучит, ей-богу, как наша родная речь. И никакой в ней французской, тем более немецкой картавости. Если уж «р», так «р» — раскатистое, бодрое, как в детстве палкой по ограде... (Вспомним: «Арриведерчи, Рома!..»)

Мы поднимались по грязному плохо освещенному переулку, с застывшими на лицах — от неожиданности происходящего — улыбками, у какой-то двери остано-

лись. Наш друг, его звали Чичесто (передаю, как услышал), пригласил нас войти.

Мы оказались в очень демократическом баре-подвальчике. Вино было хорошее, белое, не в нашем смысле «белое», а в итальянском, — может быть, кьянти, и вволю. На огонек стали подгрести хорошо знакомые нашему другу лица, жали нам руки, предлагали обменяться сигаретами и значками. Чичесто командовал этой непротокольной встречей. Он сказал, что надо спеть «Катюшу», и первым запел. Нам ничего не оставалось, как подпевать. И вот уже в темном закоулке Неаполя «расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. . .»

Чичесто жил в этом квартале. У него было четверо дочерей.

Я обратился к нему: «Синьор Чичесто. . .» Он засмеялся, показал пальцем на окна бельэтажа: «Синьоры там. Здесь, — он обвел рукой подвальное помещение, — камарада».

Уже за полночь мы с ним простились на крыльце отеля «Британик», он уходил от нас, нагруженный не только впечатлениями, но и московскими матрешками, деревянными ложками, уносил в кармане бутылку «Кубанской».

А все началось с произнесенной вслух по-русски фразы на виа Криспи в Неаполе. Кто мог предположить, чем это кончится?

. . . Однажды в Лондоне мой товарищ, корреспондент одной из наших газет, сказал мне: «Сейчас мы поедem на Флит-стрит, зайдем в паб, это такая пивнушка, где собираются зубры английской прессы, будем громко разговаривать по-русски — и ты посмотри на лица, это интересно. Они талдычат о русской угрозе. С одним из них я, помню, пытался спорить, но ни черта не смог ему доказать, — он точно высчитал, когда русские танки появятся на Трафальгарской площади. . .»

Мы приехали на Флит-стрит, покружили в поисках местечка для машины, припарковали ее почти в том же самом месте, откуда начали путь, проделали этот путь еще раз пешком, наконец добрались до паба. В пабе было сумеречно, грязно, пол завален мокрыми опилками. Зубры английской прессы сидели за деревянными столами, уткнувшись носами в кружки, мерно жужжали.

Мы взяли, кажется, черного пива, расположились у стойки и о чем-то заговорили так, чтобы нас было слышно. Мы не просто беседовали с глазу на глаз за пивом, а самую малость форсировали голосовые связки. И правда, вскоре жужжание в пабе не то чтоб совсем прекратилось, но поутихло, в нем появились паузы. Зубры английской прессы (среди них были и зубрихи, и зубрята) настраивали локаторы своих ушей на нашу волну, прислушивались. Может быть, некоторым из них казалось, что это русские танки чешут от Трафальгарсквер по Стренду прямехонько на Флит-стрит. Самовнушение небезопасно само по себе. Флитстритовские газетчики подымали глаза от кружек, но стоило встретиться с кем-нибудь взглядом — и глаза уныривали в пивные лунки. В скользящих, косых взглядах промелькивали отражения разных чувств и выкладок рассудка. Прежде всего нужно было не выказывать любопытства, оно вообще не принято в Англии в публичных местах.

Зубры английской прессы — по виду обыкновенные любители пива — слушали русскую речь и прятали глаза, как будто рыльце у них в пушку. Может, я малость преувеличиваю, но что-то такое произошло в пивнушке на Флит-стрит, когда в ней заговорили по-русски, какой-то сбив тональности в спевшемся хоре.

Бывает и по-другому. В том же Лондоне мне привелось быть гостем районной ячейки компартии. В помещении, где происходила встреча лондонских коммунистов с советскими писателями, имелся бар, речи произносились с маленькой эстрады. Каждого очередного оратора сменяли певцы или танцоры. Пиво распивалось и сигареты раскуривались тут же в рядах. Когда подошла моя очередь сказать речь и я поднялся на эстраду (всего одна ступенька) вдвоем с нашей переводчицей, москвичкой Лидией, лондонские докеры, машинисты, столяры, металлисты и безработные (это выяснится потом, кто — кто) вдруг затопали ногами и заорали. Признаюсь, я малость вспотел с непривычки, стоял как дурак, покуда не разобрался, в чем дело. Исполненный самых добрых, даже любовных чувств, зал скандировал два слова: «Лавли герл!» То есть «очаровательная девушка». Москвичка Лидия явилась для лондонских коммунистов воплощением именно тех самых чувств, которые они питали к нашей стране, а в этот вечер и к нашей группе.

После короткого митинга начались танцы, Уклонить-

ся от них, отодвинуться скромненько к стенке тут было нельзя. Обмен речами был краткий, как предисловие к чему-то главному, к делу; теперь от нас ждали подтверждения провозглашенной в речах дружбы — в действии. Надо было твистовать и чарльстонить. Я живо помню, как чарльстонил, может быть, в первый раз за последние сорок лет своей жизни, член нашей группы, убеленный сединами переводчик Томаса Манна Апт.

Привычные больше к собраниям, нежели к танцам, мы мало-помалу втягивались в это общее важное дело — раскрепощались. Честное слово, танцы сближают теснее, непосредственнее, чем речи. Сближению способствовали и вкаченные в зал тележки-столики с набором бутылок. Вопреки нашим представлениям о скарденности западных людей, о смехотворной, по нашим масштабам, дозировке спиртных напитков на Западе, здесь выпивали по-нашему, залпом, из стаканов. Пойло было отменно крепкое.

Я не сторонник и не любитель этого дела, но если спиртное сближает людей, разно говорящих, разделенных морями, кордонами и тянущихся друг к другу, — так будь оно благословенно.

Но и это не все. От нас хотели песен. Наших. Нам уже спели «Катюшу» и «Подмосковные вечера» — по-английски. Петь соло никто из нас позволить себе не мог. Пение квинтетом тоже не предвещало ничего хорошего. Положение становилось аховым. Ладно, нашелся один, Ростислав Филиппов, поэт из Читы. Он надел на шею протянутую ему гитару и неожиданным при его росте и сибирской комплекции лирическим тенором, от души, как у себя под Читой на воскресной вылазке в тайге, запел: «Василе-ечки, васильки. . .»

У хозяев особо выделялся докер по имени Кеннет. Таким и должен быть настоящий докер. Вся его внешность несла на себе отпечаток спокойствия, силы, а взгляд серых глаз выражал достоинство, дружелюбие и открытость души. И что-то было в нем властное, хозяйское. Мне довелось испытать рукопожатие Кеннета. О! Рука его могла многое.

Когда пришло время проститься, Кеннет сказал: «Надо спеть на прощание «Интернационал». Все встали в круг. Лондонский докер поднял руку и рубанул воздух. Всяк запел на своем языке. Английские слова не мешали русским, русские английским, а мотив был один. В самом центре британской столицы, в разгар оче-

редной антисоветской кампании, зычногосый, в основном мужской хор пел так, что слышно было на улице и в прилежащих домах: «Вставай, проклятем заклеяменный, весь мир голодных и рабов!.. Кипит наш разум возмущенный...»

В обеденное время, только что искупавшись в бассейне, мы с моим спутником решили отобедать здесь же, в кафе у бортика. За столики тут садились непросохшими, прямо из воды, в плавках.

На стойке высились холмы и сопки всяческой еды, каждый волен был взять себе чего и сколько угодно его утробе. Как известно, чем больше предложено вариантов, тем труднее остановиться при выборе на одном. Мы с моим спутником в некотором остоленении стояли перед горной грядой одинаково вкусной, красиво экспонированной снеди. Мы, право, не знали, в какое место воткнуть предложенные нам хромированные вилы, куда запустить лежащие тут же ложки — из сервиза Гаргантюа...

Как вдруг мы услышали... Честное слово, само провидение оказало нам милость:

— Таня, будем кушать салат.

Эти слова произнес стоящий перед нами мужчина средневропейской внешности. С мужчиной была девушка лет шестнадцати. Русские слова прозвучали как пароль. Оставалось только ответить на пароль, и кто-то из нас сказал:

— Мы тоже будем кушать салат.

Общепринятая здесь, на атлантическом курорте, некоммуникабельность дала трещину. Мужчнна обернулся к нам:

— О! Я слышу русскую речь.— Он представился: — Коновницын. Коммерсант из Парижа.— Понимая неполноту такой информации, он добавил: — Мои родители приехали из России во Францию в начале века. Я разговариваю с дочерью по-русски, чтобы не забывала язык.

Коммерсант Коновницын разговаривал по-русски с проносом, грассируя. Но самый звук его фамилии уносил меня куда-то в недра отечественной истории и литературы: генерал Коновницын был героем Отечественной войны 1812 года, для него нашлось место и в романе Льва Толстого «Война и мир», Я знаю старую церковь

на Псковщине, неподалеку от Чудского озера, и каменную плиту над усыпальницей Коновницына. . .

Я пишу об Африке, но на перфокарте моей памяти обозначены почему-то пусть малозначительные, но дорогие мне эпизоды, моменты, когда за тридцать земель встретился не с удивительным, новым, а со знакомым, моим. Так уж устроено человеческое сознание: в дальнем странствии оно улавливает неведомые картины и впечатления, но долго их не держит, зато в том месте, где вышла встреча с чем-то таким, привезенным с собою из дому, там остается зарубка навек.

Самое лучшее время в Африке — это раннее утро. Оно недурно и на других континентах — самое бодрое время, — но в Африке прохлада в особой чистоте. Еще подымется солнце и так напечет затылки, что многие, многие заберутся в тени, прикорнут — до возвращения прохлады. Даже хозяева лавочек пренебрегут интересами дела, повалятся навзничь на циновку, на шкуру, пусть даже это — шкура змеи.

Утром у подъезда отеля «Меридиан» собираются владельцы такси. Каждый из них являет собою неповторимый образчик породы. Их литые тела обернуты в яркие ткани, головы увенчаны тюрбанами, голые, мощные, вытесанные из черного дерева ноги — надежные подпорки. Таксисты держат в руках стопы снимков с видами Дакара и предместий. Они предлагают тебе побывать вот здесь или здесь. Ты отвечаешь, что нет, спасибо, однако они не внемлют отказу. Они протягивают тебе снимок с прелестным видом и убеждают, внушают, склоняют тебя к поездке в это чудное место. Что? Тебе не нужно сюда? Пожалуйста, есть местечко еще получше.

Прогулки по Дакару неизбежно приведут каждого нового человека к здешнему «чреву» — черному рынку. Черному не потому, что здесь творятся черные делишки, контрабандные операции (впрочем, наверное, не без того), а потому, что здесь торгуют чернокожие, черншволодые, черноглазые люди. Торгуют черные, а покупают всякие. Здесь продается решительно все, от клубня батата до японского транзистора, от самодельного тамтама до французского электрооргана, от шкуры змеи до живого попугая. Тут делают такие дамские прически — прямо на земле, на расстеленных кошах, — что головы делаются похожими на мины с рожками. И если уста-

нешь от разогретой, плавящейся телесной массы толпы, можешь зайти в закуток, где стоят и лежат деревянные фигуры, высохшие, как мощи, утратившие какой-либо цвет, пахнущие чем-то таким, что, может статься, имеет обозначение только на языке мандинго. Это — деревянные скульптуры, не вчера вырезанные на потребу туриста, а явившиеся на свет под рукою неведомого мастера как тотемы-божества. Цены, проставленные на их иссохших торсах, такие же долгие, как их возраст. Покупателей в лавочках-склепах нет. Хозяева лавочек тоже малость усохли, как их товар, дожидаясь своего часа, далекие от рыночной суеты, хотя и внедренные в стрежень потока...

Бурлящий, пахучий, переливающийся всеми красками юга, востока, да и запада тоже, черный рынок в Дакаре вдруг замирает и оборачивается в одну сторону, как парусник, уловивший ветер. Откуда-то с минарета доносится слышимый всем зов муллы или, может быть, муэдзина. Мужчины валяются наземь ничком, касаются лбами тверди. В час намаза можно стоять или долго, долго идти над сонмами склоненных спин, укрытых рубищами, и видеть обычно скрытые взору, изрядно стоптанные босые подошвы, пятки. Так посетители Эрмитажа проходят мимо картины Рембрандта «Блудный сын» и видят именно голые пятки, подошвы, а если не видят, экскурсоводы им указуют: смотрите, какую великую скорбь, покаяние, смирение после горьких странствий могут выразить эти не видимые никому, кроме художника-прозорливца, стопы много ходившего по земле и не нашедшего счастья сына человеческого.

Дакар омывается океаном, можно сойти к иссиня-зеленоватой, необыкновенно яркой, крепкого посола воде и порыбачить. Наши вожатые утверждают, что с волнолома можно поймать на спиннинг рыбу-меч, рыбу-иглу, рыбу-пилу, рыбу-капитана или еще какую-нибудь изрядную рыбу. Однако праздно рыбачащих, то есть активно тратящих свое свободное время горожан не видеть.

Горожане среднего и выше достатка в воскресенье выезжают семьями к океану, располагаются в тени деревьев со своими «Рено», «Пежо», «Ситроенами», «Фольксвагенами», «Тойотами», «Волво» — мерилем высшего благосостояния является «Мерседес», — надувают

матрасы и кресла и отдаются в целительные руки океанского бриза. Идея активного отдыха — какого-нибудь там турпохода с рыбалкой и пикником, загоранья, прыганья на волейбольной площадке — состоятельным горожанам Дакара абсолютно чужда. Они просто сидят, возлежат — и дышат океанским воздухом, подкрепляют себя легкой едой и необременительными напитками.

Главное благо для них — неподвижность. Суета, ухищрения, судороги усилий будней, лет, десятилетий — ради вот этой минуты кайфа, этого местечка под солнцем, и чтобы солнце было заслонено ветвями деревьев, чтобы не раскалился капот «Рено». Завтра снова ковать монету в поте лица, а там, глядишь, место узкомордого «Рено» займет пучеглазый «Мерседес»...

Цвет кожи у этого слоя дакарцев промежуточный, между ночью и днем, рассветный. Торговлю в Дакаре держат выходцы с севера Африки.

Вечером у нас встреча с генеральным секретарем Ассоциации сенегальских писателей Джибудилом Тамсиром Нианом. Он нас принял в особняке в тихой улице, непрестанно курил, как редактор районной газеты где-нибудь на Алтае во время уборки, ждущий у телефона итогов решающей пятидневки для рапорта в завтрашнем номере. Он был черен и худ, что подчеркивалось белизною его африканского одеяния. Глаза его выражали всю гамму человечности — ума и чувства. То он склонял набок голову, ловя смысл услышанного, сопоставляя с чем-то внутренним, своим. То улыбался, нащупав точку контакта. То загорался, всем сердцем желая донести до нас не только мысль, но и учащенное биение пульса. То размышлял, обращаясь к нам с вопросом...

Когда мы вышли после беседы с Нианом из вдрызг прокуренного его кабинета на пропахшую цветущей бугенвиллей улицу, нами владели хорошие, добрые чувства. И было свежо, словно мы посидели у океана, власть надышались его чистотой.

Оставалось поужинать. Мы отыскиали местечко в прибрежном, открытом всем ветрам ресторане. Откуда-то вдруг появился наш добрый гений коммерсант Коно-

вницын, помог разобраться в изысканностях меню и деликатно исчез. . .

Ночь была хороша. И уже захотелось кого-нибудь приобщить к нашему пиру, приобщить. . .

Мне вдруг захотелось домой. . .

Как будто внимая зову затосковавшей моей души, недалеко послышался голос:

— Ах вот вы где, ребята! А мы с Надей вас ищем. Все рестораны обежали.

Это инженер торгпредства Виктор Смирнов с женой Надей нашли нас именно в ту минуту, когда мы сами искали и не могли найти ни души в распрекрасной этой, но слишком уж черной ночи. Ищущий да обрящет.

— Доедайте, допивайте,— сказал Виктор,— и поехали на «Карелию», там у них сегодня вечер отдыха для команды. Потанцуем, встряхнемся.

Давненько я не бывал на танцах, а ведь когда-то любил. Старая любовь не ржавеет. В большом салоне «Карелии» милая девушка (лавли герл) Таня читала с эстрады стихи Асадова, Горбовского и Сосноры. Мне захотелось домой — и вот я дома. . .

Поздней ночью у трапа худой неулыбчивый африканец в рубище протянул мне такую знакомую антилопу с антилопенком. Она давным-давно стоит на шкафу в кабинете Виктора Конецкого. . .

Ну а что же балет Сенегала? Я был на балетном спектакле в холле гостиницы «Меридиан», но того действия, как в Ленинграде, на Зимнем стадионе, балет на меня не оказал. Я хотя отдавался ритму и страсти представления, но знал, что могу выйти из зала, и та же страсть, тот же ритм коснутся меня в Золотой деревеньке, на Черном рынке, на портовой улочке Дакара, на берегу океана, в саванне под баобабом, по-зимнему безлистным, обнаженным, запечатлевшим в стволе и ветвях мощь жизни и судорожную пластику боренья.

Балет Сенегала — это больше, чем жанр искусства; в нем биение африканского сердца, ток крови, жар солнца, преданность завещанному предками образу жизни и порыв к раскрепощению, грация женщины, несущей на голове поклажу, и кованность мышц мужчины-охотника, воина. Когда смотришь балет Сенегала у себя дома, на севере — не только наслаждаешься красивым

зрелищем, но и бываешь вовлечен в ритм жизни дальней жаркой страны, подключаешься к ее пульсу. Искусство словно прокаляет тебя, излечивает от простуды, от тяжести домашних забот, приобщает к всечеловеческому. . .

В Сенегале тамтамы балета слышат другие тамтамы Африки, даже те, которые предлагал нам купить бедолага-торговец на грязном пляже, в день нашего сошествия на африканский берег. Как писал Виктор Конецкий в новелле «Дакарские сказки»: «Тамтамы — это ладони, которыми Африка ударяет себя по груди, вспоминая древние ритмы и древнюю мудрость».

Глядишь на балет в Сенегале, слушаешь бой тамтама, и понимаешь, что это не главный источник звука, а отголосок, — и хочешь куда-то уйти, освободиться от обязательности программы, замкнутости пространства. Здесь представление, а вокруг тебя Африка. Сделать всего один шаг. . .

Но какая тяжесть в ногах! Приросли они к родной почве, не оторвать; и куда бы ни заносило тебя, эта тяга земная — родной земли — держит цепью: не сделаешь шага, не вступишь в чужую жизнь, не сольешься, не растворись, ветром не сдует тебя, и не сломает волной, и соблазном не опалит. Гуляешь по Африке — чувствуешь у себя на плечах прохладные сильные руки России. . .

В ТЕНИ, ПОД МАНГОВЫМ ДЕРЕВОМ

Самолет местной линии, наподобие нашего ЛИ-2, летит от Дакара до города Бисау чуть больше часа. В одном ряду со мной, за проходом, обосновалась смешливая африканка. Первое, что рассмешило ее, это мои часы. Она показывала пальцем на мои часы и просто-таки заливалась смехом. С часами марки «Победа», и правда, в Африке происходили конфузные странности. Под действием неизвестных мне сил стрелки вдруг начинали прыгать, отхватывая изрядные куски суток, то они двигались вспять, то замирали. Но главная странность их поведения состояла в том, что, попрыгав, стрелки вдруг находили на циферблате место, точно соответствующее месту солнца на небосклоне. Я уже привык к такой автономной и несколько нервической жизни советских часов в Африке, относился к ним как к браслету, не более,

Африканка, похожая на возделанную садовниками клумбу в своем цветном бубу, смеялась, и рот ее источал сияние, как люстра. Я протянул ей изданный «Машинэкспортом», на прекрасной бумаге, календарь текущего года: русские зимние ели в снегу, первые проталины. . .

Африканка дала мне французский журнальчик с картинками очень даже игривого свойства. Самолет летел над рыже-зеленоватой саванной. Хотелось какого-нибудь приключения в Африке. Пассажиры тянулись заглянуть в наш советский календарь. Никто из них никогда не видел сугробов, еловых лап, отягченных снегом, и едва ли увидит. Я не видывал баобабов, джунглей. Самолет развернулся над морем, сел и самую малость не докатился до опушки джунглей. Зелено, густо — наверное, джунгли, чему же тут еще быть?

Таможенные и другие формальности оказались неременительными в этой стране. Пестрое население нашего маленького самолета тотчас куда-то делось. Мы оказались вдвоем с моим спутником в подпертом со всех сторон зноем здании аэровокзала. Стоило высунуть нос наружу, и тотчас следовал солнечный удар — по этому самому носу — пусть не убойной, но вполне ощутимой силы.

Нас не встретил никто. Возможно, не сработали какие-то средства связи, или запоздали предуведомления о нашем прибытии, или бог знает что. Приключение в Африке назревало, я радовался ему, слонялся по опустевшему начисто зданию аэропорта. Соответствующие различным аэропортовским службам вывески наличествовали, но службы бездействовали. Так, например, за стойкой под вывеской «Бар» не просматривалось ни одного сосуда. Нигде я не обнаружил ни капли жидкости, не было даже традиционного для наших широт бачка с питьевой водой, с прикованной цепью кружкой.

— Что будем делать? — спросил я у моего спутника.

— Будем ждать, — отвечивал он. Природа его наделила долготерпением, а также неколебимой верой в разумный естественный ход вещей.

Я продолжил обследование аэропорта столичного города Бисау и в конце концов натолкнулся на дверь, за которой теплилась (при сорокаградусной жаре снаружи) не только жизнь, но и служебная деятельность. Тут стоял телеграфный аппарат, своим видом напоминавший о заре телеграфной связи. Телеграфист тоже был

какой-то вечный, типический. Я обратился к нему с вопросом — на всех известных мне языках, кроме португальского, неизвестного мне. Однако нужен был именно португальский. Я сильно напрягся и произнес два слова, полагая, что они должны быть понятны по-португальски: «советико амбашада». Телеграфист сразу понял, соединил меня по телефону с советским посольством, через минуту я уже слышал родную речь: «Что, делегация писателей?..» Последовала пауза. «Подождите, сейчас выясним...» И еще через минуту: «Сейчас за вами придут...»

Приехал Валерий Черняев, секретарь посольства, кандидат юридических наук, молодой, в белой рубашке и черных брюках — по-летнему, по-московски, на белом, довольно-таки давно немывом «Рено», ухмыляющийся: «Ну что, ребята, испугались?» — «Да нет, ничего». — «С Дакарсом нет связи уже неделю. Пограничные осложнения. Ну ладно, не бойтесь, не пропадете...»

Мы поехали по городу Бисау, он был, в основном, одноэтажный, провинциальный, дома отгородились от улиц опять-таки цветущей бугенвиллеей. В центре города имелись и трехэтажные здания. В порту стояло под разгрузкой советское судно. На рынке, что поразило меня, одна женщина торговала дровами. Полешки были тонкие, собственно, палки, а не полешки. Однако каждая палка стоила каких-то денег: при горении она даст тепловые калории, на которых можно испечь лепешку. С электрическим и другими источниками энергии в этой стране туговато. Вечером я увижу студентов лицея, сгрудившихся с книгами и конспектами в кругу света под уличным фонарем... .

Валерий Черняев привез нас в местный отель, о чем-то поговорил с администрацией и вернулся с уже знакомой нам ухмылкой на своем очень московском лице: «Они говорят, что номер свободный есть, но сломался замок, не открыть... Если хотите, я вас покатаю немного, тут кататься особо негде, но, учтите, бензин на пределе... С бензином у нас не очень... Кончится бензин, придется идти пешком. Согласны?» — «Согласны».

Мы проехали по Бисау, скоро оказались на его окраине, тут был пивной заводик — чуть ли не единственное промышленное предприятие, оставленное в наследство республике португальцами в память о своем пятисотлетнем колониальном владычестве. Валерий сказал, что пиво хорошее, но бывают с ним перебои. Такое дело: или

есть ячмень, или же его нет. Ячмень привозной, свой не произрастает на ниве Гвинеи-Бисау. Без ячменя пива не сварить.

Дорога вывела нас к морю, должно быть в дельту реки. Море было здесь мелкое, мутное, заболоченное. На берегу моря рос баобаб. Валерий сказал, что под сенью этого баобаба дышат прохладой влюбленные или просто досужие горожане Бисау. Баобаб еще не оделся листвою, и тень его пока что была недостаточной. Зато он сполна был открыт для обозрения, по-слоновьи огромный, со старой морщинистой толстой корой, с массивными натеками и глубокими продолговатыми впадинами на комле. Вот я встретился с баобабом, можно было его приобнять (для полного объятия потребовалось бы еще пятеро долгоруких мужиков), прижаться щекой к крупноячеистой чешуе его покрова. Можно было посидеть под баобабом на лавочке, покурить и кинуть окурок в непригодный для купания океан.

Неподалеку от берега, бродя по мелководью с большими сачками, гвинейки ловили креветок. На головах у них непонятным образом держались калибасы — сосуды из местных тыкв; с профессиональной грацией они приседали, храня при этом прямизну стана, зачерпывали донную жижу, извлекали из сачка моллюсков и отправляли их в чаши над головой.

«Ну что, ребята,— сказал Валерий,— давайте я вам уж заодно покажу и окрестности Бисау, выведу на природу... Может, хватит бензина?» — обратился он к нам с вопросом. «Вам видней, камрада». — «Ладно, поехали». Склонность Валерия Черняева к решительным поступкам, даже с маленькой долей риска, впоследствии не раз еще сослужит нам добрую службу, а его иронический склад ума поможет остаться самими собой на африканской почве, в протокольной роли членов делегации.

Дорога, опоясывающая Бисау, была грунтовая, кирпичного цвета. Близко к дороге подступили джунгли, но как бы близко ни подступили они, проникнуть взором внутрь этих самых джунглей не представлялось возможности, и даже мысли не возникало о том, чтобы остановиться у обочины и сбегать в джунгли по ягоды, по грибы, устроить в джунглях какой-нибудь, скажем, пикник или отправиться туда на охоту... Джунгли отличались от нашего леса прежде всего отсутствием в них видимого пустого пространства между деревьями,

В лес можно войти и можно в лесу оглядеться; в джунгли нужно было влезать, врубаться, нырять, как в море зеленого цвета, поставленное на пона. А там, в этом море бог знает, какие акулы и крокодилы. . .

Впрочем, какие джунгли? Мы чуть выехали за околицу города Бисау. Это еще пригородный парк, все равно что из Ленинграда за Ольгино выехать. Вон и спортсмен бежит по обочине. Он мог бы бежать и по средней шоссее: ни встречного, ни попутного движения нет никакого на этом шоссе. Вон идут две женщины, на них только юбки, то есть их бедра обернуты цветными лоскутами, а больше на женщинах нет ничего. Я говорю себе: «Ну-ка, протри глаза, удостоверься — ты в Африке. И это не парк — африканские джунгли».

Дорога местами ровна, а местами похожа на наши проселки. Водителю хочется прокатить своих соотечественников по Африке с ветерком. «Рено» — машина, не приспособленная к проселкам. На какой-то колдобине автомобиль подпрыгнул, царапнул брюхом грунт — и умолк. Мы все тоже молчали минуту. Потом Валерий Черняев сказал: «Все, ребята, хватит кататься. Бензин на нуле».

Бензину, однако, хватило, чтобы вернуться в город Бисау, доехать до отеля «24 сентября» (это — день провозглашения независимости Республики Гвинея-Бисау). Надо думать, горючее не кончилось и на пути от отеля до дома Валерия Черняева. Человек он хотя и рискованный, но с трезвым расчетом. Иным ему и нельзя быть в его дипломатической должности.

Земля здесь такого цвета, как прямо из печки, еще не остывший кирпич, даже страшно ступить ногою на эту землю, того гляди обожжешься. Мы привыкли к тому, что зелень у нас там сочнее и гуще прет из земли, где чернее земля. А тут, на оранжевой, накаленной до алости почве растут банановые деревья с мясистыми, как слоновые уши, сочно-зелеными листьями.

И нет акварельных, пастельных полутонов, растушевок и подмалевок. Все писано маслом и крыто лаком: на оранжевой земле зелень пальм и бананов. Белые стены одноэтажных продолговатых казарменного типа строений; тут и были казармы: португальский военный городок. Теперь здесь отель «24 сентября». Пока не спала

жара, на подворье отеля пустынно, если есть хоть одна живая душа, то она спасается от зноя у кондиционера.

На одном из перекрестков — казармы выстроены рядами, с пересечениями — помойка, такие же баки, как везде. Но по краям этих баков сидят большие черные птицы с длинными голыми мерзкими шеями. Это грифы-трупоеды. Они оцепенели в солнечном мареве. . .

Все-таки жутковато северному человеку в первый раз оказаться в африканской стране, слишком яркое здесь освещение. . . «А жара здесь анафемская. . .» Этой фразой начинаются записи моего первого дня в Гвинее-Бисау. «Выключил кондиционер, открыл дверь на терраску — оттуда дохнуло, как из духовки. Вот я гляжу из потемок моего номера на африканский зной, его можно видеть, он материален. От зноя колышутся листья бананов (слоновые уши); молодые зеленые бананчики подобны патронам в ленте крупнокалиберного пулемета. Первый раз оказавшись в Африке, обращаешься за сравнениями или к миру зверей, или к войне. . .»

Наверное, на вооружении Армии освобождения в джунглях имелись крупнокалиберные пулеметы. Джунгли всецело принадлежали повстанческой армии. Португальцы удерживали за собой города, крепости в глубинке и дороги. К началу войны (то есть к шестидесятому году) в Гвинее-Бисау имелась одна асфальтированная дорога, длиною в шестьдесят километров. С началом войны португальским колониальным властям пришлось заняться тем, чем не удосужились заняться их предшественники на протяжении пяти веков своего владычества: рубкой просек в джунглях, строительством дорог.

За португальскими войсками еще оставалось небо. Сверху они выслеживали любое движение в джунглях и жгли напалмом. Отряды Армии освобождения передвигались рассредоточенно, скрытно. Но как ни скрывайся, над головами всегда португальский разведчик. Вечером — остановка. Может быть, это деревня (в Гвинее-Бисау ее называют табанка), или поляна, или берег реки — открытое, засеченное воздушным разведчиком место. Короткая остановка в этом месте, очень короткая — и сугубо скрытный бросок куда-нибудь в дебри, на достаточное расстояние. И там, в дебрях, ночлег. Если в табанке есть люди, их забирают с собою в джунгли. Там, затаившись, ждут, когда прилетят самолеты и

выжгут напалмом предполагаемое место ночлега отряда, части, соединения.

«...А шли по джунглям так,— рассказывали мне кинооператоры Юрий Егоров и Олег Лебедев, прошедшие в Армии освобождения многие месяцы; сейчас они живут в том же отеле, что и мы.— Впереди отряда здоровый детина с дрыном в руках. Он идет и лупит по деревьям, чтобы оттуда, сверху, свалились банановые змеи. Они такие зеленые, у них укус смертельный. На пробковых шлемах, видал, сзади есть козырек. Он для того, чтобы змеи скатывались, за ворот не проникали. Отряд по джунглям идет редким строем, в нескольких метрах один от другого идут. В толпу змея упадет, может многих перекусать...»

Днем банановые змеи, ближе к вечеру малярийные комары, если переправа через реку, то обязательно крокодилы (в планах экономического развития Республики Гвинея-Бисау видное место отведено добыче, выделке и экспорту крокодиловых шкур). В сезон дождей над Армией освобождения разверзались небесные хляби. Стоило только очиститься небу, как оттуда, с неба хлестало огнем и свинцом...

Армия освобождения была крестьянская, плохо вооруженная, полуграмотная, необученная армия. Она воевала — и обучалась, вооружалась. Все освобожденные районы работали на армию, мальчишки, окончившие четыре класса, умевшие читать и писать, обучали взрослых солдат грамоте.

Климат этой страны, большую часть которой составляют заболоченные низменности, заиленные поймы и устья больших мутноводных рек, кишаших всеми известными возбудителями желудочно-кишечных инфекций, сам по себе болезнетворен. При полном отсутствии санитарии и гигиены болезни выкашивают целые поросли детей. Семьи тут многодетны, древний племенной обычай многоженства далеко еще не изжил себя. Проникшее с севера Африки мусульманство даже и освятило этот обычай, а христианство, миссионерского толка, оказалось бессильным против него, как оно оказалось бессильным против, может быть, самого бесчеловечного деяния белых людей на Африканском континенте — работорговли...

Португальский колониализм, с его территориальной гигантоманией, принципиальной антигуманностью и атрофией какого бы то ни было созидательного начала,

веками паразитируя на полудиком, полуголодном прозябании поработанных африканских народов, в своем историческом финале выродился в салазаровский фашизм — в метрополию. Правители феодальной, буржуазной, фашистской Португалии — маленькой, слаборазвитой страны на окраине Европы — неизменно страдали комплексом державной неполноценности перед лицом своих могущественных соседей. Эту недостаточность они восполняли за счет почти ничего не стоивших им захватов девственных африканских побережий, порабощения народов. И, господа, как же долго все это длилось...

... Выключил кондиционер, открыл дверь на террасу. А не надо бы: того гляди налетят малярийные комары. Валерий Черняев дал нам сильнодействующие — французские — противомаларийные таблетки. Сардонически усмехаясь, он предупредил, что сильно действуют они прежде всего на печень. Для нейтрализации этого побочного действия выдал и поливитамины. «Хотя вообще-то, — сказал Валерий Черняев, — лучшее профилактическое средство от малярии для белого человека в Африке — это виски, натуральный шотландский виски». Валерий переболел малярией, к его советам следовало отнестись всерьез.

В открытую дверь мне видны пальмы-пальмочки; их стройность можно сравнить разве что со стройностью здешних дев; но кора на стволах этих пальм светлее, чем кожа туземок: она такого же цвета, как кожица ананаса... Да это и не пальмы вовсе, нет, это деревья папайи; плоды папайи висят высоко, пониже, чем кокосовые орехи, но высоко, руки не протянешь, надо лезть на дерево за плодом. А дерево такое тонкостволое, такое стройное...

Плоды папайи подобны зеленым флягам; в сосудах плоть или, лучше сказать, квинтэссенция жизни, жизненный эликсир; оранжевая мякоть папайи утоляет и голод и жажду. Говорят, что плоды папайи подаются к столу самых высоких особ. Может быть, отсюда эта некоторая беспечность африканца в отношении средств существования: чуть-чуть напрягся, залез на дерево — и отобедал?! Если не плодом папайи — это все же деликатес, — то кокосовым орехом...

Запираю дверь, хватит. Включаю реву-кондиционер. Начинается моя первая ночь в настоящей, глубинной

Африке. Сна ни в одном глазу. Все время чудятся малярийные комары. Комаров не видать, но что-то такое есть, что-то жалит, на коже вспухают волдыри от укусов. Москиты? Малярийные ли москиты? Или это комарофобия? Очень хочется пить. Одну бутылочку — маленькую, четвертушку — португальской минеральной воды «Кастелле» я позволил себе. Но я не знаю еще, чего она стоит, что значит здешняя денежная единица — эскудо? Само это слово звучит не слишком многообещающе, на память приходит другое, наше слово: «скудость». Все время держишь в уме скудость собственных командировочных средств. Мы здесь не в гостях, в командировке, нам следует уложиться в наши квартирные и суточные, чтобы затем отчитаться. Командировка в дальние страны — это не только уроки географии, но и уроки изрядно подзабытой арифметики: не столько сложение, сколько вычитание, не столько умножение, сколько деление. . .

Мы ужинали в ресторане при отеле, и ужин был изобилен, ужин по-португальски: на закуску свежие овощи, затем кусок мяса, добрый кусок в меру прожаренного доброго мяса, с картошкой и помидорами, затем кусок рыбы, кажется, это тунец или рыба-капитан, с овощами, затем тарелка протертого морковного, что ли, супу — и на десерт плод папайи. Это вроде как комплексный ужин, он неделимый, блюда неотвратно приносят одно за другим. И цена одна за весь ужин. Отдельный счет за напитки. И наличными не берут, достаточно расписаться в книжке официанта.

Видя некоторое наше смущение по поводу изобилия яств, Валерий Черняев нас успокоил: «Да вы не бойтесь, ребята. Это все здесь дешево. Здесь вообще еще денег не научились считать. Национального дохода почти что нет никакого. Деньги — условность. . .»

В первую ночь в отеле «24 сентября» мне не спалось, да и в последующие тоже. Столько накапливалось за день разнообразных сведений, впечатлений; что хотелось их все записать. Завтра нахлынут новые образы и картины, эти, сегодняшние, стущуются, а жаль. По ночам я писал, и всегда не хватало мне ночи, чтоб занести на бумагу ну хотя бы полдня. . .

И в эту первую ночь я писал. Мои чувства и нервы мало-помалу унимались, я уж не так обижался на комаров, не мечтал о холодной воде «Кастелле», прогули-

вался по моему большому номеру (очевидно, до 24 сентября 1973 года в нем размещалось отделение португальских солдат), сел к низкому столику и писал. Что может быть лучше: прожить день в Африке полной жизнью и ночью обладать высшим благом одиночества — для работы?..

Как вдруг... Ага, тебе хотелось приключения в Африке, вот оно, получай... Кто-то явственно, но деликатно, искательно постучался в дверь моего номера. Я взглянул на часы, они показывали половину четвертого. Стрелки часов «Победа» в этот раз показывали то самое время, что и мои биологические часы. В половине четвертого кто-то постучался ко мне в дверь, дело было в самом центре Африки, в стране, где совсем недавно гремели выстрелы...

Мой спутник спал, или писал путевой дневник, или письма друзьям на родину. Перегородки меж номерами в этом отеле казарменного типа не уступали в толщине стенам форта. Кем населен отель и населен ли он, я не знал. Африканская ночь, может статься, была и нежна, но вполне непроглядна. И я испытал всю меру моей незащитности перед этим стуком в дверь. Я подождал, стук повторился. Он ничего не требовал от меня, может быть, даже о чем-то просил. Я подошел к двери и сказал невидимому посетителю именно те слова, которые полагалось сказать: «Кто там?» За дверью послышался шорох пугливой речи, или не речи, бог знает, какое существо посетило меня, по-каковски оно лепетало... «Что надо?» — спросил я у существа, ища спасения от него в самом звуке этого грозного в наших краях, с серьезным предупреждением в интонации, окрика. «Что надо?» — грозно спросил я у африканской ночи. Ответа не было. Все утихло.

Валерий Черняев, когда я ему поведал о случившемся ночью, сказал, что это бывает, досталось в наследство от пяти веков колониального владычества, как и португальская кухня в ресторанах: местные женщины ищут контакта с вновь прибывшими белыми людьми. Отдельные женщины, их единицы. А временем для контакта почему-то избрали глухой предзвездный час: в половине четвертого.

Так что, выходит, и правильно я поступил, не поддавшись на вкрадчивый стук.

«Теперь шесть утра. Гудит кондиционер, как турбина самолета. На дворе не видно ни зги. Спят мои милые африканцы. Они скоро проснутся. Станет утро. Сначала будет прохладно. Солнце взойдет в тумане, обозначит себя, но будет милосердным. Жители Гвинеи-Бисау проснутся веселыми, освобожденными от колониального ига.

Проснется вдова Амилкара Кабрала, худенькая женщина с матовой кожей, с глазами газели. Если есть на свете газели, то, наверное, у них такие глаза, как у Анны-Марии. В глазах у нее жертвенность, и отзывчивость, и готовность к радости и приятию горя.

Память той смертной ночи запечатлелась в ее душе, и глаза ее что-то такое знают, чего не скажешь словами. Она одинока, живет по закону зверя, как раненая газель. Она умеет скрыть свои чувства. . .

Марио Сиссоко — директор Центра научных исследований. Он высок, по-негритянски худ, элегантен. У него темная кожа, но глаза его еще темней. Однако темная кожа и глаза Марио излучают свет. Светлый облик черного человека. . . У него лиловатые губы, такая же лиловатость наличествовала в губах Пушкина, бакены, как у Александра Сергеевича, крупные неровные белые зубы.

Марио говорит по-русски, он учился в Москве, но при первом же случае переходит на португальский, обращает взор к переводчику. Он собран, серьезен, голос его тих, но вот он улыбнулся, и загорелись его глаза, заблестали зубы. . .

Марио Сиссоко уже написал два тома истории своей родины. Всего будет четыре тома. Ему достались архивы: пока еще никем не разобранные свитки и папки письменных документов — история колониализма на западном берегу Африки, написанная самими колонизаторами. Впрочем, были среди португальцев, посетивших гвинейское побережье, и ученые, занимавшиеся этнографией, материальной культурой, фольклором местных племен. Их труды тоже в свитках и папках, доставшихся Марио Сиссоко. И ему досталась его освобожденная родина — такой, какую она была пятьсот лет назад: болота, мутные многоводные реки, зной, сахарный тростник, рис, арахис, ананасы, бананы, кокосовые пальмы, папайи, сорго; покрытые травой хижины в табанках; большие выводки ребятишек с выпученными от рахита пузами; женщины со стройными, как стволы папайи, ногами;

мужчины, способные в мгновение ока забраться на вершину пальмы и нарубить молодых побегов для пальмового вина, способные победить в двенадцатилетней войне непобедимых в течение пяти веков португальцев-колонизаторов; неразработанные залежи бокситов и редких металлов; чересполосица племенных диалектов; предания, песни, легенды, хранимые в памяти жителей джунглей, нагорий и пойменных низин... И — неплатежеспособность молодого государства Гвинея-Бисау, не получившего в наследство от веков ничего. И — доброта, простосердечие, неприязнительность соотечественников...

Близость к источникам — к первоисточникам жизни народа — вот что подвигает Марио Сиссоко писать труд по истории своей страны. Потом будет другое: страна вступит — вступает уже — в пору преобразований, развития, строительства, сельскохозяйственных кампаний, мелиорации и пр. Стране предстоит другая история, но та, что была, не переиначишь. Пока что можно еще созерцать былое, погружаться в столь свойственную этим широтам созерцательность. И, господи, до чего же жарко! Гудят кондиционеры, жужжат вентиляторы, разгоняют малярийных комаров. И — понуждают к работе.

Центр научных исследований, который возглавляет Марио Сиссоко, включает в себя отделы и подотделы: медицинский, ботаники, истории, социологии, геологии, лингвистики. Когда-нибудь для Центра научных исследований выстроят дом; пока что у Сиссоко одна комната и хранилище архивов; еще национальный музей: в нем тотемы, деревянные скульптуры, предметы ритуального действия; и еще — публичная библиотека, в ней десять тысяч томов. Бродя вдоль полок, я отыскал Толстого и Гоголя, Чехова и Горького, Леонида Андреева и Шолохова — на португальском...»

Я закрыл кавычки. То, что заключено мною в кавычки, написано в Африке, с подлинным верно, большей частью я вел эти записи ночью, под вой кондиционера, борясь с желанием промочить горло, прилечь на постель; и ночи всегда не хватало, чтоб записать весь прожитый день, что-то оставалось незаписанным, оставалось на завтра, а назавтра день подхватывал нас и уносил в такие необыкновенные края и обстоятельства, что вчерашнее линяло в памяти; став позавчерашним, и вовсе улетучивалось, как сон.

Машину вел африканец, я видел его руки, положенные на руль. Он не держал руль в обхват, как мы его держим, кисти оставались странно прямы и будто безучастны к производимой ими работе. Водитель настолько был экономен в движениях и безмолвен, что иногда мне становилось не по себе, будто манекен в черной пиджачной паре привязали к рулю. Потом водитель нам улыбнется, но это будет потом, когда он закончит свою работу. Пока что машина шла именно как машина, характер водителя и тем более его эмоции никак не отражались на ее равномерном движении по не очень-то гладкой дороге, при поднятых до упора — поток встречного воздуха обжигал — стеклах.

Мы остановились в каком-то местечке, с протестантской, кажется, островерхой церковью и с придорожным баром. Хозяин бара, должно быть выходец с севера Африки, поделил свое внимание между редкими в этих краях посетителями — нами — и курицей-наседкой с выводком цыплят; куриное семейство проживало под стойкой бара; понятно, что курица всполошилась при виде гостей, а цыплята подняли писк. Хозяин быстро утихомирил свою птицеферму и столь же быстро подал напитки. Ему помогал мальчишка-негр. Из большого морозильника он достал глыбу льда и принялся ее колоть мясницким топором. Лед отпускался в этом африканском селении с поистине арктической щедростью, зато виски цедилось по капле, из соски, надетой на горло бутылки. Счесть количество доз, которое содержала бутылка, едва ли было возможно, если даже вести счет на дабл-виски, то есть на двойные дозы.

Следующую остановку мы сделали на берегу реки Джебы — главной реки страны. Паром только что отвалил от нашего берега. Он представлял собою плашкоут, ведомый буксиром-паровичком. Ему предстояло долгое плаванье туда и обратно. . .

Листая мои африканские блокноты, я отыскал одну запись, оттуда, с припаромка на реке Джебе, — не плод приметливого созерцания, а всплеск чувства, разогретого до кипения африканским солнцем: «Если в чем грешен, — каюсь — в праздности сердца, ума. Мир так разнообразен, так много в нем неожиданностей. . . И нужно-то всего только: свежая голова, дух живой — осязать, осмыслять, познавать этот мир. . . Мир еще неизведан, неожит, исполнен дивной пестроты. . .»

И дальше: «Вот стоит гвинейка. На голове у нее

огромный таз (обыкновенно это бывает калибаса — тыквенная чаша). Одета она в светлое бубу, в руках у нее курица, связанная веревкой; этой же веревкой обмотана ножка козленка, козленок влачится следом. За спиной у гвинейки младенец в кармане. Он никогда не плачет, если даже его печет солнце или поливает дождь. Ему не положено плакать по пустякам. Шея у гвинейки пряма, тверда, черна, как эбеновое дерево. Этой шее еще предстоит перенести много, много груза. . .»

Записи из маленького, карманного, походного блокнота, каракули наспех, моментальные снимки. А еще есть ночной, настольный, стационарный блокнот-дневник. . .

«Переправа через реку Джебу в таком месте, когда недалеко осталось до океана. Скоро река превратится в залив, а берега ее станут литоралью, то есть океанским побережьем. Река прорезает гвинейские болота, несет массу ила, мириады частиц здешних тучных почв, на которых выращивают рис и сорго. Вода в реке такого цвета, как бетонный раствор. Она кишит болезнетворными бактериями, малярийными, желудочными. В ней, говорят, полно крокодилов, но их не видеть.

Смотрю на реку Джебу, анафемская жара, а испугаться нельзя: если тебя помилует крокодил, то проглотитшь вполне смертельную дозу микробов. Именно в этих джунглях, на таких же реках, те же самые микробы доконнали-таки даже такого молодца из молодцов, каким был первопродолец Африки Давид Ливингстон. Льва одолел в рукопашной схватке, а микробы его подкосили. На здешних болотах мужчина, доживший до сорока, почитается за предельным старцем, долгожителем. Женщины не дотягивают до такого возраста. В двенадцать лет они уже могут рожать, что и делают, пока могут. И еще они могут носить на своих маленьких головах огромные тяжести. Переноска тяжестей — женское дело. Работа посложнее, потоньше не доверят им. Я видел в Бисау, на открытом воздухе, в тени манговых деревьев, мужчины шьют и тачают на таких же швейных машинках, на каких шили наши прабабушки. Шьющих женщин я не видал.

Однако вернемся на переправу. Хемингуэй однажды написал, что, дожидаясь плавсредства на переправе в Африке, обязательно встретишь знакомого человека. А если и не знакомого, то такого, который кого-то, третьего, знает, хорошо знакомого и тебе. . . На переправе в

Африке некуда спешить. Река Джеба широка, паром медлителен, вода быстра, густа. Мальчишки, в набедренных повязках, перемазанные здесь илистой грязью, вроде того, как перемазываются на коктебельских пляжах синеватой глиной — килом, с черными браслетами на руках и на ногах, торгуют птицами, похожими на голубей.

На переправе полным-полно люду. И, как во всякой праздной толпе, мало-помалу образуется центр притяжения. В центре — славный веселый негр. Он громко говорит — для всех желающих слышать — о чем-то таком, равно важно для слушающих. Я подвигаюсь ближе к нему, через плечо у него полевая кирзовая сумка, с какими выходят на трассировку техники топографических отрядов у нас в Сибири. В сумке всего одна книга, я вижу ее заголовок: «Учебник научного атеизма». Наша советская книга. Я радостно обращаюсь к миссионеру научного атеизма с вопросами и вскоре все узнаю про него. Его зовут так, как звали знаменитого французского философа-эссеиста, Жан-Поль. Он родился в Дакаре, но родители его — выходцы из Бисау. Он воевал в партизанском отряде в джунглях, закончил индустриальный техникум в Харькове. Теперь учится в Москве на агронома; по окончании будет работать в Гвинее-Бисау, а пока что приехал в отпуск в те места, где будет жить и работать. Он захватил с собой одну единственную книгу — учебник научного атеизма. «Бога нет!» — сообщил мне Жан-Поль с обвораживающей искренней улыбкой. Надо думать, ту же самую истину он выкладывал и собравшимся вокруг него слушателям на языке креолу, то есть на обиходном межплеменном наречии, помеси португальского с племенными диалектами. Жан-Поль увлечен открывшейся ему такой простой и самоочевидной идеей безбожия. Он ведет свою атеистическую пропаганду с воодушевлением прозелита.

Его товарищ, окончивший ГПТУ в Москве, посмеивается, подначивает чисто по-русски: «Я не знаю, конечно, я бога не видел, не встречал. Но раз кто-то верит, значит, что-то такое есть. . .»

На берегу в ожидании парома толпятся солдаты, женщины с грузом на голове, грузовики, лендроверы, газики. Путаются под ногами ведомые на веревках козы, многие несут в руках еще живых, кудахтающих бьющих крыльями кур.

У самой переправы группа белых людей. Что-то очень знакомое видится мне в их лицах, повадках, взглядах. Я напрягаю слух: ну конечно, они говорят порусски. . . Это — ленинградские специалисты по ловле рыбы в море и в пресной воде. Они вначале немного набычиваются, не зная, кто я таков. Наше знакомство происходит не на берегах Невы, а на берегу Джебы. Но вот мы разговорились, и начинают сбываться пророчества Хемингуэя: у нас, конечно, находятся общие знакомые, даже и общие друзья. Мой блокнот наполняется телефонами, адресами. Я вернусь в Ленинград раньше моих соотечественников-рыбаков. Нет, не рыбаков, теоретиков рыбацкого дела, проектантов. Рыбы много в Гвинее-Бисау, но рыболовное и тем более рыбоводное и рыбоконсервное дело пока что на нуле. . .

Хотя здесь же, на торгу у переправы, продается маленькая акула. А за околицей города Бисау, если проехать мимо пивного завода, мимо нефтебазы, свернуть к реке Джебе, которую в этом месте можно счесть уже и заливом, остановиться под баобабом, где белые люди дышат морской свежестью, — тут же неподалеку и маленький рыбный рынок. Когда рыбакам повезет с уловом, они продают рыб-капитанов — в каждом таком капитане килограммов по восемь, — рыб-мечей — носы у них и правда зазубренные мечи. . .

Капитана здесь, говорят (Валерий Черняев говорит), можно поймать просто-таки на пустую бутылку: привязать к бутылке грузило-железяку и повостреее крючок. Да леску иметь покрепче. Забрасывай — и тяни. Чтобы вытянуть капитана, нужно иметь не только опорожненную бутылку и толстую леску, но еще и быть здоровым мужиком. Вообще я заметил, что если качествами, собранными в понятии «здоровый мужик», желательны обзавестись и у нас, то в африканском климате они просто необходимы — для выполнения обыкновенных житейских функций. Ну, например, для рыбной ловли. Хилому мужику в Африке долго не протянуть.

Однако вернемся на переправу. Ленинградские знатоки рыболовного дела обсуждают гвинейскую жизнь. Суть их суждений сводится к двум профилирующим темам: во-первых, женщины в Гвинее безусловно хороши во всех отношениях и, что особенно поражает, могут переносить на головах рекордные тяжести. К тому же они, в отличие от наших женщин, не обременены одеждой, вполне обходятся собственной, прокаленной со-

лицем кожей. Для того и дана им природой-богом такая кожа, чтобы избавить их от заботы прикрывать свою наготу. Вторая тема социально-психологическая: освободились от колониализма, что дальше? Закончена война, одержана победа, португальцы выдворены. Теперь, казалось бы, самое время вкалывать до седьмого пота, развиваться. Однако сама атмосфера Африки, климат, образ жизни, душевное состояние африканца не способствуют титаническим трудам преобразования и прогресса. Созерцательный от природы африканец за годы колониализма приучен к мысли, что всякое начинание, любая попытка усовершенствовать жизнь, пробиться наверх изначально обречены. Чтобы выжить, надо довольствоваться малым: достать с дерева плод. А то и сам он созреет да и свалится на голову. И ладно...»

Чтобы закончить эту, как говорится, «вставную новеллу» о ленинградцах в джунглях Гвинеи-Бисау, хочу сказать несколько слов об их женах, сестрах, матерях, подругах. Вернувшись домой из Африки, я позвонил по записанным на берегу Джеббы телефонным номерам, заранее улыбаясь в предчувствии той радости, которую доставлю тоскующим в разлуке с близкими людьми женщинам. Однако не тут-то было. Жены, матери, сестры, подруги моих африканских знакомцев прежде каких бы то ни было чувств проявили бдительность. Одна за другой они отвергли мои сбивчивые рассказы о том, что я встретил их мужа, сына, брата, приятеля в Африке... Разговоры решительно не получались...

Я набрал последний номер из африканского блокнота, в очередной раз погрузился в ледяную воду паузы, последовавшей за моими объяснениями на другом конце телефонного провода, положил на место трубку и без улыбки задумался о том, насколько мало мы знаем наших женщин. Легкомысленно судим об африканских женщинах, которых и вовсе не знаем. Доверяем случайному встречному наши телефонные номера — эти пароли для входа в семейные очаги, — забываем при этом, что женщины стерегут очаги, не пускают в них посторонних, и забываем, что женщины наши — не только жены, матери, сестры, подруги, но еще и цельные личности, может быть даже более цельные, чем мы сами. И есть в них не только «мягкое, женское», но и примесь металла, и осмотрительность, которая так нам необходима в переживаемый нами нервный, тревожный век.

«Переправа, переправа... Смешение рас, племен, технических уровней, общественных формаций. Гвинейцы, американцы, китайцы, эфэргэшники, шведы, кубинцы, русские...»

И еще сопровождающая нас девушка Эдна, инспектор комиссарпата просвещения. Она метиска-мулатка-креолка, один из итогов смешения белого с черным. Ее, в общем-то, белая кожа будто покрыта копотью, будто она только что поднялась из угольной шахты на-гора. Она большеглаза, у нее по-африкански длинные тонкие ноги, точеные ноги. Если заглядеться в глаза Эдны, не понять, какая в них глубина, донца не видно. Эдна смешлива, непосредственна и непоседлива, как белка в парке, почти что ручная, но с постоянно сжатой пружиной внутри. Она говорит по-английски, будто поет, и по-португальски тоже поет. Когда перед носом нашей машины дорогу перебежала макака, Эдна, как старой знакомой, закричала ей: «Санчо!» То есть по-нашему: «Санька!»

Но это будет потом. Пока что паром причалил к берегу. Толпа хлынула на сходню. Заколыхались грузы над головами женщин. Над всем доминировала железная бочка из-под горячего. Я постарался увидеть, что там под бочкой...»

В этом месте я откладываю в сторону ночной капитальный дневник и берусь за походный, карманный. Отыскиваю в нем нужное место. Вот оно: «...Солнышко мое, черное, лиловогубое, с прожелтью в белках глаз. На голове у тебя кладка: косынка уложена, она же подставка, а на подставке бочка, большая, железная, грязная. Стан твой, солнышко, тонок, шея твоя как ствол папайи. И до того ты прекрасна! В руках у тебя заржавевшая канистра. И вот ты идешь на паром. Несешь на голове железную бочку, и губы твои лиловаты, вытянуты вперед, выпячены, округлены — не для поцелуя, может быть, для крика — мольбы о милосердии. Увидеть тебя — поклониться тебе. Ты не знаешь, чего ты стоишь. И никогда не узнаешь...»

Читаю и сам удивляюсь: почти что цитата из Соломоновой «Песни песней». Вот до чего может довести русского литератора африканское солнце...

«Солнце жгло немилосердно. Мы съехали с парома, поднялись в горку, еще проехали немного и оказались в табанке Ко. Глинобитные хижины под четырехскатными кровлями из здешней травы. В стороне от табанки —

беленые кирпичные кубики бывших португальских казарм. Неподалеку от казарм могила, она обозначена врытыми в землю, горлышками вниз, бутылками. Это могила убитого партизана: его поймали и убили, когда он пришел в табанку Ко подымать ее жителей на партизанскую войну.

В казармах расположился центр подготовки и переподготовки учителей для сельских школ Гвинеи-Бисау. Педагогическая школа-коммуна имени Максима Горького. Здесь учатся шестьдесят студентов-юношей, восемнадцати — двадцати лет. Учить чему-либо девушек считается неперспективным делом: очень рано они начинают рожать. Студенты учебного центра имени Горького уже поучительствовали в партизанских отрядах, обучали бойцов основам грамоты, преподавали эти основы в освобожденных районах, сразу после освобождения. Учителями они стали, будучи отроками, имея за плечами четыре класса начальной школы. Уже во время войны их посылали доучиваться в учебные центры, тут же, между боями, создаваемые. Воевали, учились — в одной руке книга, в другой автомат, — сеяли просвещение, понимая его как хлеб насущный революции.

Дать образование этим рано повзрослевшим юношам, направить их в глубинку, в джунгли — в этом видит партия ПАИГК первоочередную задачу культурного строительства в стране.

Курс обучения в центре имени Горького рассчитан на три года. Здесь преподаются история, география, математика, физика, химия, португальский язык, черчение, труд, педагогика, психология, дидактика, агрономия, природоведение, санитария и гигиена, ведется курс по сексуальному воспитанию. Студенты не только учатся сами, но и проводят с местным населением уроки по основам санитарии. Они живут в интернате-коммуне, работают на собственном огороде и ферме, пекут хлеб, стряпают, сами кормят себя. В коммуне имени Горького царят дух братства, чистота помыслов, аскетизм здесь — деятельный, изначальный. Ничего лишнего, ни минуты праздности, все подчинено цели: учиться, мыслить, отдать себя делу строительства своей родины. В классных помещениях на стенах я видел портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Горького.

В коммуне имени Горького выковывается характер, воля, интеллект, мировоззрение нового, неведомого до сих пор африканца. И до чего богатый материал. . .

Директор центра Жорж Ампа Кумелербо. Невысокого роста, очень крепкого телосложения, прямо-таки кряж. Кожа у директора темно-коричневая, брови и волосы будто наведены углем. Я вижу его руки, тыльные стороны ладоней черны, а сами ладони беловатые, с темными морщинами; кончики пальцев такого цвета, как у меня.

Жорж не успел получить образования, поскольку воевал. Теперь, директорствуя в учебном центре, в среде таких же, как он, бывших партизан-учителей, он и сам проходит курс наук. У него есть книга Максима Горького «Мои университеты», на португальском языке. Он кое-что знает о Горьком, жадно хочет узнать еще, но как узнаешь? Нет книг. Другие и того не знают, что знает Жорж Ампа. . .

Идем по территории учебного центра. Жара, как в сауне, накачивается, обрушивается, давит, и столько сухости в этой жаре, что кажется, если бы проступили на коже капельки пота, послышалось бы шипение. . .

В одном из кабинетов Жорж Ампа достал из ящика автомат, вынул магазин. Он был полон боевых патронов. Жорж сказал, что к автомату настолько привыкли за годы войны, что трудно расстаться с ним и теперь. Он стал предметом обихода, наподобие пищищей ручки. . .

Около директорского домика были привязаны три козленка, очевидно дожидавшиеся своей очереди на заклание. Огород состоял из трех гряд помидоров. Томаты на них гораздо мельче наших, каждый величиною с яблочко-китайку. Тут же произрастали бананы, но тоже не очень плодоносили. Так что студентам учебного центра предстояло вначале пройти по программе и усвоить азы агрономии, а после уже снимать рекордные урожаи со своего огорода. (Тут надо иметь в виду и то обстоятельство, что в пору нашей поездки в Гвинею-Бисау сельскохозяйственная техника в этой стране исчислялась единицами, земледелие велось архаическими способами. . .)

Мы спустились зеленой долиной к водоему. Повсюду высились на века слепленные из глины пополам с измельченной древесной массой, шершавые, но будто монолитные глыбы термитников. Наши муравьи уж на что мастера домостроения, но эта их мастеровитость в сравнении с зодческим даром африканских термитов — все равно что с одной стороны сложить хижину в табанке, а

с другой — телебашню в Останкине. Впрочем, сходство наших муравьев с африканскими термитами чисто внешне, да и то... От наших муравьев мы кроме пользы ничего не видим, а термиты — вредители дерева. Но строят они мастера...

На водоеме полоскали белье черные женщины. Они были прекрасны, как вороные кони на водопое. Сравнение это чисто эмоционального свойства: мгновенно вспыхнувший образ телесной мощи и совершенства, пластичности форм, при ярком свете, — даже больно глазам... Увидев нас, женщины спрятали груди в свои бубу. Надо думать, они усвоили преподанные им студентами учебного центра имени Горького уроки санитарии, гигиены и сексуального воспитания.

В учебных классах не то что прохладно, но сносно. Снаружи какая бы то ни было трудовая, социальная или хотя бы семейная жизнь в полуденное время, кажется, решительно невозможна: Все ищут тени. И находят ее под раскидистыми ветвями манговых деревьев. Листья дерева манго — каждый величиною с косынку. Плоды еще не созрели, тверды, висят на толстых черенках, как гранаты-лимонки. Плоды созреют, тогда наступит манговый рай: плоды манго утоляют жажду и насыщают; и сладкий, терпкий манговый джус в жестянках с сине-оранжевыми наклейками пойдет по белу свету. Глядишь, и мы с вами в хмурый зимний денек побалуемся этим солнечным соком Африки — и развеселимся.

А пока что под манговыми деревьями, в тени, поблизости от экватора, где солнце бьет прямой наводкой, раскинулись придорожные базарчики, расставлены столики кафе, местная администрация взимает налоги с населения... И наша встреча с учащимися и преподавателями учебного центра в табанке Ко тоже под манговым деревом. Два советских писателя, два десятка темнокожих юношей в синих холщовых блузах и кедах, директор Жорж Ампя Кумелербо, переводчик Валерий Черняев, инспектор комиссариата просвещения Эдна. Чуть поодаль, у самого краешка тени, расположились представители комиссий ООН и ЮНЕСКО, опекающие школы в развивающихся африканских государствах. Кажется, это шведы (тут на память приходит рассказ Эрскина Колдуэлла «Полным-полно шведов»). Впрочем, ближе к истине, не шведы, а шведки...

Жорж Ампа серьезен, суров. Он обращается к нам с вопросом — самым главным, без обиняков: каковы были отношения Горького с Лениным? Чтобы ответить на этот вопрос, надо со скоростью электронно-счетной машины сыскать в каталогах памяти нужные места. Надо предельно сосредоточиться, отвлечься от окружающей обстановки. Нельзя позволить себе какие бы то ни было импровизации. . .

Мы отвечаем поочередно, я и мой спутник, и Валерий Черняев не только переводит наши ответы, но дополняет и уточняет. Одна голова хороша, но две лучше, а три и вовсе неплохо. Блажен, кто обретет себе в путешествии по Африке образованных спутников. . .

Нам задают вопрос о Макаренко. . . Студентам и преподавателям учебного центра имени Горького в табанке Ко надо вызнать: как это было в нашей стране в самом начале, с чего началось перевоспитание человека, какой он, человек нового мира?

Когда-то мы отвечали на подобные этим вопросы нашим экзаменаторам, получали какие-то оценки за ответ, но нам не привелось испытать на себе насущно-бытийную остроту вопросов. Мы родились в стране, где мысли Ленина, Горького, Макаренко превратились в духовный кислород, которым дышишь — и чувствуешь, мыслишь, живешь, не замечая его.

В тени под манговым деревом, в джунглях Гвинеи-Бисау, в поле высокого напряжения, исходящего из глаз слушателей, я представлял собою не просто дитя человеческое, не только странствующего литератора, но еще и итог исторического пути моей родины. Каждая страна, освобождаясь от оков, выбирает для себя наиболее свойственные ее народу формы правления, социального устройства, хозяйствования, но возрождение, обновление каждой страны всегда начинается с вопроса: каким быть человеку заново создаваемого мира, как стать гражданином, как обрести свою самооценку и чувство братского равенства в общем ряду? Выдающиеся умы во все века задавались этим вопросом и отвечали на него каждый по-своему. Но только в одной стране, в одну эпоху истории человечества ответ оплачен опытом поколений, миллионами жизней, материален, как хлеб насущный, неоспорим, как бой кремлевских курантов, зафиксирован конституцией государства. И он общезначим,

Мы из этой страны. Студентам учебного центра в табанке Ко надо немедленно узнать от нас, какими были люди-символы: Ленин, Горький, в чем суть воспитательных идей Макаренко...

Вопросы сыпались на нас, как висюльки над нашими головами плоды манго, если бы они вдруг созрели. Мы даже не заметили, как переместилось солнце и отступила тень...

Нас приглашают к столу. Стол из тесаных досок, грубо сколоченные скамьи. Обеденный зал учебного центра в табанке Ко мне хочется назвать трапезной. На столе миски с необычайно белым рисом, с кусками обжаренной свинины. Хлеб — тут же рядом спеченный, с пылу, с жару — нарезан крупными ломтями. Графины с холодной водой. О! это высшее благо: прозрачная холодная вода, посреди Африки, при температуре за сорок в тени!

Патриархальная грубость, простота и какая-то удивительная опрятность трапезы в столовой учебного центра имени Горького единственны в своем роде. Как всякий смертный, прожив немалые годы, я перенес великое множество разных застолий, но такого еще не бывало со мной. Принятие пищи тут было священнодействием, и если бы вдруг заиграл орган, он мог бы, наверное, выразить чувства, витавшие над столом.

В низком глубоком органном регистре заговорил Жорж Ампа Кумелербо. Речь его была коротка и убеждающая в той же мере, как fuga Баха. Заключительный аккорд этой речи был внятен всем сидящим за столом, без перевода: «Проклятье и смерть империализму! С Советским Союзом на вечные времена!»

Политкомиссар округа Мореш (табанка Мореш неподалеку от табанки Ко) сидел за походным столом под манговым деревом. Политкомиссар — это нечто вроде секретаря райкома. У политкомиссара округа Мореш не было служебного кабинета, его рабочий день проходил в тени под манговым деревом. Он в лиловой рубашке, в джинсах, с серебряной цепкой на груди, с усами и редкой бородкой; пустой правый рукав заправлен за пояс — руку он потерял на войне. Его зовут Тиджани, он не знает португальского языка, говорит на местном диалекте. Переводит Дау Камара, председатель комитета табанки (что соответствует нашему сельсовету); коми-

тет тоже расположился под манговым деревом. Политкомиссар Тиджани говорит нам о том, что в провинции Мореш уже в 1963 году не было ни одного португальца. Отсюда все началось. Здесь находились все руководители ПАИГК. Крестьяне округа Мореш в войну снабжали отряды продуктами и переправляли раненых через границу. Поэтому провинция освобождена от налогов. «Но если что-то правительству понадобится,— сказал политкомиссар Тиджани,— оно получит здесь все». И еще он сказал, что главная задача сейчас состоит в политическом воспитании масс.

Вижу, приехал Валерий Черняев на белом «Рено». «Ну что, ребята, проснулись? Комары вас не заели? По-едем в радиокомитет, там вас ждут...»

Директор радиокомитета Анжело Регалла — ветеран войны. У него была рация в джунглях, он сохраняет записи всех передач того времени: стихи, песни, партизанский фольклор. В редакции радио четверо журналистов. Они учились в Советском Союзе, Венгрии, ГДР. Ежедневно двенадцать часов передач на страну: на португальском, на креолу, на племенных диалектах. С зарплатой пока что не очень ясно: то платят, то нет. Работа ведется на революционном энтузиазме.

На той же основе строится и работа в редакции газеты «Но пинча» (по-креольски «Вперед»). Энтузиазма хватает, а бюджетные дела в молодом государстве...

Директор лицея Манекаш — белый человек, португалец, родившийся здесь, в Бисау. Эта страна — его родина, ей он и служит...

В окно лицея нам виден стадион. Полные неистраченных юных сил лицеисты играют в футбол. В аудиториях идут занятия. Математику и физику взяли на себя приехавшие в Бисау советские преподаватели. Другие дисциплины ведут кубинцы. Да, спасли дело друзья с Кубы. Все же испанский язык ближе других португальскому, обошлось без языкового барьера...

Валерий Черняев торопит нас, погоняет. Наша программа может быть выполнена только при движении на хороших рысях. Но мы таки улучаем минуту, заглядываем в пивной павильон. Откуда-то взялся ячмень, сварено доброе пиво. Его здесь пьют с той же охотой, как, скажем, у нас в Ленинграде, только из больших двухлитровых стеклянных кружек-кувшинов. В пивном па-

вильоне я вижу ватагу пьющих пиво женщин, похожих на наших дорожных работниц, в оранжевых жилетах. Но наши женщины, насколько я их знаю, пива не жалуют. Женская эмансипация в молодом развивающемся государстве, очевидно, имеет свои оттенки. . .

Обед по здешнему распорядку ближе к вечеру. Но программа дня не исчерпана. Еще — прием в Национальном музее. Нас принимают члены Совета по культуре.

Национальный Совет по культуре призван вести и координировать культурное строительство в стране. Сфера его деятельности имеет такие аспекты: музыка, театр, балет, живопись, скульптура, издание книг, кинопроизводство. Начинания и планы Совета одухотворены идеей Амилькара Кабрала: создать культуру Гвинеи-Бисау и островов Зеленого Мыса. На островах глубже культурный слой. . .

«В Гвинеи-Бисау португальский колониализм — древнейший и самый отсталый, самый мракобесный, — ничего не сделал для развития, сделал все для ликвидации сложившихся культурных традиций. Литература должна отражать дух народа, колониализм выхолащивал дух. Невозможно было найти хоть какой-нибудь способ выражения мыслей при почти полной неграмотности. Книги, написанные о Гвинеи-Бисау самими колонизаторами, не отвечают народному духу. . .»

Это говорит юноша, почти мальчик, в белой расшарпанке, с очень добрыми, доверчивыми глазами.

«Португальский колониализм делал ставку на полную ассимиляцию поработенных народов. Но в табанках, в джунглях элементы национальной культуры выжили, сохранились: устная литература, фольклор, легенды, сказки, народная музыка. В табанках живы хранители фольклора. . . Вооруженная борьба рождала лозунги — и это тоже литература: разоблачение и отрицание колониализма; боевая поэзия — оружие в борьбе. . . Песни — клятвы партизан. В песнях зафиксированы все этапы борьбы. . .»

Это говорит Анжело Регалла, волосы его — как куст перекасти-поля, облитый тушью. Усы, борода и подусники. И очки.

«Сохранить устную литературу. Передать опыт в слове. Колонизаторам не удалось разрушить нашу культуру. Главное сейчас — контакты с народом, собирание фольклора. Сохранить традиции творчества, найти

скрытые потенциальные возможности развита литературы. Объединить разноязычный племенной фольклор на базе языка креолу. . .»

Это — Наджиб Саид, юноша очень высокого роста. Волосы его не только курчавы и жестки, но еще и долги, до плеч. Ассирийские борода и усы, желтоватая кожа. Тут что-то от Северной Африки. Хотя Наджиб уроженец Гвинеи-Бисау, журналист из газеты «Но пинча».

Совсем уже поздно вечером он будет брать у нас интервью. . .

Сидит в сторонке Анна-Мария Кабрал — член Национального Совета по культуре, укромно слушает говорящих и даже, кажется, улыбается, может быть, слышится ей в молодых речах голос Амилкара. Пусть улыбается Анна-Мария! Так много значит ее улыбка для судеб этой страны.

ЖАЖДА

На траверзе Зеленого Мыса в Атлантическом океане — невидимые с берега острова Зеленого Мыса, страна Кабо Верде. Страна эта желтого цвета, если принять желтизну за основной тон. Дополнительными оттенками служат терракота, кармин, индиго, кадмий оранжевый и лимонный, вся гамма медной окарины. . . Острова Зеленого Мыса, подобно хамелеону, могут сменить окраску, стать зелеными, если их sprysнет дождем. Но африканские дождевые тучи, даже в пору тропических ливней, расходуют свои гидроресурсы над Африкой. Последние семь лет на архипелаге Кабо Верде не выпадало дождей.

Так было и в прежние годы, столетия.

Цвет кожи у жителей островов посветлее, чем у коренных африканцев. Однако женщины в селениях Кабо Верде носят грузы на головах точно так же, как в табанках Западной Африки, обретая сызмальства доступную только африканским женщинам прямизну стана и шеи. Одеты зеленомыски в бубу, с поправками и дополнениями на европейский лад.

Зеленомысская музыка — песня без слов, не означенная именем композитора, морна, — представляет собою сплав африканских ритмов с мелодикой Пиренейского полуострова, отголосками латиноамериканских мотивов. Поет скрипка, рокошет гитара; в музыке с наибольшей полнотою высказала себя душа народа, пе-

чальная, страстная, ждущая лучшей доли на голой земле в океане.

В справочнике «Население земного шара» о народе островов Зеленого Мыса сказано следующее: «До XV века острова были необитаемы. Современное население состоит преимущественно из мулатов португало-африканского происхождения, называемых иногда «креолу». Это потомки негров-рабов, вывезенных португальцами в XV—XIX вв. с Гвинейского побережья Африки. Они говорят на португальском языке».

...Восходы на островах хмурые, затяжные, такие, как в прилегающих к Сахаре африканских странах,— солнце встает в тумане, рассветное небо затянуто пеленою песчаной пыли, поднятой смерчами с барханов Сахары. Днем лучи солнца проецируются на маковки обитателей островов с той же экваториальной непосредственностью, что и в Африке. Но океан исполняет работу кондиционера — для всех: богатых и бедных, темнокожих и белых. . .

Архипелаг Зеленого Мыса открыт пять столетий тому назад, изучен, описан. Стихи зеленомысских поэтов переведены на разные языки — и на русский. . .

И вот мы на родине зеленомысской поэзии — первая делегация советских писателей. . . Все-таки есть в этом слове «первая», «первый», «впервые» — что-то такое, что поднимает, должно быть, давление крови на несколько делений в трубочке. Нам предстоит открытие литературного острова в архипелаге Кабо Верде. . .

Мы прилетели на острова Зеленого Мыса в такое время, когда капитаны республики, отложив в сторону устаревшие лоции, прокладывали для своей страны новый курс в океане мировой истории.

...Короткая остановка на острове Сал, в международном аэропорту «Амилкар Кабрал». На острове Сал в архипелаге Кабо Верде добывают соль в кратере вулкана. По закону сообщающихся сосудов, во время прилива в кратере подымается круто соленая вода Атлантики, в отлив опадает, оставляя по себе кристаллы соли. Пресной воды на острове Сал нет ни капли — здесь пьют опресненную океанскую воду, ею же и землю поят. . .

Самолетик зеленомысской внутренней линии пробежал немножко, прыгнул с обрыва и полетел над океаном. Вскоре сел на острове Сантьягу, близ города Прая, столицы Республики Островов. И в этом месте наше путешествие, до сих пор подчиненное центробежной силе,

стало центростремительным — хотя понятие какой-либо стремительности едва ли приложимо к размеренному укладу жизни тихого, теплого, белостенного, вымощенного каменной брусчаткой, должно быть похожего на приморские португальские городки, столичного города Прая.

И в этом месте мне бы хотелось писать потише, соразмеряя скорость повествования с темпом нашего хождения по городу Прая — кругами, кругами; двигаться прямолинейно там можно десять, от силы пятнадцать минут — и затем закругляться. В Прае никто никуда не спешит. Хотя... вот едет необычайного вида машина, с предельной, должно быть, для нее скоростью, километров под пятьдесят. Ее хозяин куда-то спешит. Эта машина известна на всех островах Зеленого Мыса. Ее знают в Гвинее-Бисау. Когда-то она проносилась по улицам Конакри, осуществляя связь штаба ПАИГК с воюющими в джунглях частями Армии освобождения. Она известна под названием «коча де баталья» — «боевая машина». Возможно, в самом начале на ней доводилось ездить Амилкуру Кабралу. Теперь на ней ездит главный врач госпиталя острова Сантьягу Олег Субботин.

«Боевая машина» не похожа ни на одну другую машину мира. В ней нет ни окон, ни крыши — только железные борта, ободья колес, самую малость одетые резиной, железная баранка, три педали и ржавый штырь для переключения скоростей. Когда главный лекарь Республики Кабо Верде проезжает по улицам Праи, каждый третий прохожий останавливается и кланяется ему. В недавнем прошлом московский врач-клиницист, выпускник ленинградского Первого медицинского института, Олег Субботин нынче один из наиболее популярных — и загруженных работой — людей на островах Зеленого Мыса: в наследие от пяти веков колониального режима республика получила полный спектр тропических и нетропических заболеваний, включая проказу, чахотку, ревматизм. Португальские доктора под занавес убыли в бывшую метрополию. Свои доктора — дело будущего.

...На площади города Прая, в сквере, днем играют дочки Олега и Ларисы Субботиных — Юля и Наташа. Юле три года. Наташе — шесть. Они еще не научились говорить по-португальски или по-креольски. Но у них полным-полно смуглых подружек-зеленомысок. Все дети мира играют в одни и те же игры.

По субботам в городском парке на горе над обрывом — город выстроен в два этажа: на горе сам город, а под горой у океана вроде как пригород, дачная зона — бываю народные гулянья. Народ острова Сантьягу гуляет, поет, танцует, набрасывает колечки на шеи пивных бутылок, стреляет из духовых ружей, участвует в лотереях с таким же азартом, с каким, помню, гулял народ моего города на набережных Невы, в Летнем саду, в Михайловском парке, на Марсовом поле — в сорок пятом, сорок шестом, сразу после войны, вскоре после блокады. В зеленомысцах, — мне так показалось, когда я веселился вместе со всеми в парке над океаном, — таится огромный запас неизрасходованного страстного жизнелюбия, веселости. Свою печаль они излили в мелодиях, в стихах. Но меняются времена — и меняются ритмы, мотивы. . .

Тут надо заметить, что, хотя на острове Сантьягу дожди идут не чаще, чем на других островах, здесь есть подземные воды, пробившиеся кое-где наружу родниками, ручьями, даже речками, действуют оросительные системы: где вода, там зеленый оазис. На острове Сан-Висенте, в городе Минделу, откуда родом музыка и большинство поэтов, пьют опресненную воду Атлантики. Впрочем, Минделу не только город поэтов и музыкантов, но еще и торговцев. Одни здесь пьют опресненную воду, другие утоляют жажду португальской минеральной водой «Кастелле» или французской «Перье», португальским превосходным пивом, ямайской кока-колой, канадским тоником с английским джином. . .

Во время оно первооткрыватели архипелага Зеленого Мыса окрестили острова именами святых: Сантьягу, Сан-Висенте, Сан-Николау, то есть Святой Яков, Святой Викентий, Святой Николай. Вид островов внушал мысль о святости, и если они годились для жизни, то для жизни святой, отшельнической, великомученической. С первого взгляда острова казались похожими один на другой — все терракотного цвета, — однако судьба каждого из островов сложилась особо, в зависимости от предела отпущенных природой жизненных ресурсов. Говорят, что на острове Фугу бананы и ананасы совсем ничем (за морем телушка — полушка, да рубль перевоз). Говорят, что на острове Санту-Антаи из-под земли бьют минеральные воды чудодейственного свойства. Говорят, что на острове Сан-Висенте опреснительная

система, от которой зависит сама жизнь, дышит на ладан...

Мы живем на окраине Праи, на Поузаде; это такое местечко — Поузада, где можно посидеть на террасе кафе «Прая Мар» над океаном, сбегать на пляж искупаться, освежиться пивом или еще чем-нибудь, поглядеть, как зажигаются звезды на африканском небе, — ковшик Большой Медведицы повернут ручкой в другую сторону, чем у нас, луна как дынная корка рожками кверху на тверди небес.

Сидишь на террасе кафе «Прая Мар», слушаешь океанский прибой, разговор «звезды с звездой», а также португало-франко-английскую болтовню за соседними столиками — и вспоминаешь Хемингуэя. Что-то очень хемингуэевское есть в таком вот сидении на террасе кафе в маленьком городе над теплым океаном. Здешние звуки и шумы не мешают писать, то есть созерцать и размышлять — пером по бумаге. А главное, тут никто не спешит — просто некуда торопиться.

Пользуясь минутами замедленного времени, следуя заветам Хемингуэя, запасшись португальскими сигаретами «Гиганте» и чашечкой местного крепкого кофе, как подобает литератору в Африке, я что-то писал. Что же? Листаю мой зеленомысский блокнот.

«. . . Утро в Прае. Сначала надо пройти берегом океана. Берег засеян ракушками — карамбучо. Каждая карамбучо как маленький рог. Лодки на берегу. Рыбаки готовят лодки к плаванию. Надо перелезть через дамбу, а потом подлезать под пирс. Когда идешь этой дорогой вечером, бывает прилив, и надо ждать, пока откатится прибойная волна. Можно успеть до другой волны пролезть под пирсом, не замочив ноги. По ту сторону пирса на тебя полагает шелудивая, лишайная, ничья собака. У собак на островах Зеленого Мыса, так же как и у собак всего мира, собачьи свадьбы: март месяц.

Утром медленно оживает рынок в Прае. Сначала появляются бананы. И рыбы. В рыбном закутке продают тунцов и крупных, одного роста, пучеглазых сардин. С кокосовыми орехами сидят две бабы, похожие на наших баб, сидящих с семечками, только здешние закоптели погуще, чем наши. Орехи охотно берут. Берут светлые, волосатые орехи — лежалые, потемневшие не очень берут. Продают папайю, арахис, соль, муку, помидоры, картошку, булки, бататы. После восьми открываются магазины. Оживает кафе на площади. Начинается день.

Он будет долгий-долгий, как доза джина с тоником,— этот напиток здесь пьют, как кузнечики пьют росу, макая губы во влагу.

...Знойный полдень. Синее море с белой каймой прибоя. Черные камни в море. Желтая супесь пляжа. Чахлые перья алоэ. Тусклая зелень акаций.

Голоса строителей. Веселые голоса строителей. Их триста душ...»

На этом месте я закрываю блокнот. Если зашел разговор о темпе, ритме и прочих таких вещах на островах Зеленого Мыса, нельзя упустить из виду эту, может быть, не великую, но показательную для современной Республики Кабо Верде стройку. На Поузаде строят гостиничный комплекс. Шесть домиков выстроено, в одном из них живем мы. Теперь строят седьмой, двухэтажный дом. Триста строителей каждое утро чуть свет приходят на стройку и, самую малость помитинговав, как это бывает в бытовках на наших стройках, кидаются на стены объекта, с муравьиным проворством и тщанием месят раствор, носят его в лоханках на головах — это женское дело,— лепят, мажут, обтесывают камни, облицовывают ими стены, укладывают ступени лестницы к океану. Работа сопровождается веселым гомоном. Объект невелик, рабочих много, но никто никому не мешает, не пересекает пути. Никто не стоит, не зевает — всяк знает, что нужно сделать ему, как сделать. У входа на стройку поставлены стенды, лозунги на них кратки: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня!», «Построим дом за два месяца!».

Мой спутник — в недавнем прошлом архитектор, преподаватель строительного дела — подолгу наблюдает за тем, как строят дом на Поузаде. Он говорит: «Я бы с удовольствием послал моих студентов сюда на практику». Дом вырастает у нас на глазах, обретает назначенную ему архитектором единственную, нетиповую форму. Дом уступчат, в трех уровнях, приспособлен к рельефу. Его верхний этаж связан с землей тремя массивными изогнутыми лестницами с бетонными перилами. Мусорный каменистый берег превратился в красивую набережную с балюстрадой и сходом к морю.

Нам объяснили: можно бы обойтись втрое меньшим числом рабочих на строительстве гостиничного комплекса. Правительство дало возможность подзаработать тем, кто в этом особо нуждался.

В обеденный перерыв у стойки бара в кафе «Прая

Мар» наряду со здешними завсегдатаями, ну, например, бразильским консулом, которому, кажется, решительно нечем заняться, можно встретить строителя в фибровой каскетке, в перемазанных раствором штанах: он пришел подкрепиться.

Гостиничный городок на Поузаде невелик, но население его — скажем так — пестровато. Доходы от гостиницы идут в государственную казну, однако у кафе «Прая Мар» есть хозяйка, ее зовут здесь «донна», — дородная, смуглая, красивая женщина с внимательным, медленным взором больших выпуклых глаз. Признаюсь, на Восьмое марта мы подарили нашей «донне» розы. Как сочетаются ее частновладельческие интересы с государственными, не берусь судить.

На службе у «донны» пятеро добрых молодцев, очень эффектно контрастирует коричневый цвет их креольской кожи с белоснежностью курток, и такие они вежливые, мягкие в обращении, и столько врожденного достоинства в них — просто прелесть! Гостиничными делами заведует Марио — тоже молодец хоть куда, красавец!

Сижу на террасе кафе «Прая Мар», вижу белый маяк на мысу, черные камни и самую малость зелени — горстку кустов. Несколько саженцев на газоне съела намедни коза. Сыта ли ты, козочка? Бедная козочка островов Кабо Верде. Вот она полоскотала пивной банкой, ободрала с нее зубами цветную обертку, сжевала ее, посмотрела вокруг себя — желтыми, малахольными, как у всех коз мира, глазами: что бы еще такое сжевать, какую печатную продукцию? Козы в городе Прая — прекрасные мусорщики, пожиратели бумаг. Они едят, я видел, газеты, брошюры, рекламные проспекты, квитанции. А что же им делать? Травы-то здесь нет. . .

Печатной продукции тоже не густо: газета, маленькая, как наша многотиражка, выходит два раза в неделю, а то и реже, по мере наличия бумаги; телевидения нет; кино показывают от случая к случаю. Вот уж кому некуда спешить, так это здешним писателям: их не поджимают издательские, журнальные сроки, не подгоняют редакторские напоминания. Единственным стимулом к писанию здесь служит такая неосвязаемая вещь, как творческий инстинкт, поэтический дар. И еще — потребность в национальном самовыражении, в определении координат своего народа в океане социальных бурь на-

шего времени. Напечататься можно разве что в Португалии. А дотуда ой как далеко!

Писатели и составили программу-протокол нашего пребывания на островах; она определила темп, интенсивность контактов с местной действительностью. Программа отличалась, ну, что ли, ненавязчивостью, деликатностью. Мероприятий было немного, гостям предоставлялось изрядное время для раздумий и выводов.

Первая встреча с интеллигенцией Праи состоялась в Институте книги, под сводами полутемного (с электричеством туго) зала, уставленного шкафами с книгами, при большом стечении публики. Впоследствии мы узнали, что на встречу с нами пришли лица в министерском и других правительственных рангах, судьи, адвокаты, экономисты, профсоюзные деятели — и в то же время писатели: литературным трудом здесь, понятно, никто жить не может, все служат. Руководил этой встречей Освалдо Алкантара, автор «шорт сториз».

Вообще говоря, само это словосочетание — «шорт сториз», или, еще говорят, «эссе» — служит паролем к сердцам литераторов Кабо Верде: в этом я убедился на собственном опыте. Короткий рассказ, эссе здесь почитают за высшую форму литературы, подвластную только перу мастера. Наиболее популярен из наших классиков Чехов. Да и сами стихи, баллады, философические стансы местных поэтов, без рифмы, с напряженным драматическим сюжетом, в образах раскрывающим сложный, полифонический ход мысли,— это тоже по сути ритмизованная проза, «шорт сториз», эссе.

Освалдо Алкантара — профсоюзный работник. Свои «шорт сториз» печатает под псевдонимом. Почти у всех зеленомысских писателей имеются псевдонимы. Наиболее известный на островах — можно посчитать его здешним классиком — поэт Балтазар Лопес печатал свои стихи под псевдонимом Освалдо Алкантара. Нашему другу Освалдо нечего было и думать соваться в литературу без псевдонима, под собственным именем. (Хотя есть же у нас поэт по фамилии Пушкин, печатает свои стихи под этой фамилией — и ничего!)

Доктор Аурелиу Гонзалес, преподаватель литературы и эстетики в гимназии города Минделу на острове Сан-Висенте, критик, поэт и, конечно же, эссеист, автор «шорт сториз», специально прилетел в Праю, чтобы встретиться — первый раз в жизни — с советскими писателями. Я хорошо помню доктора и его лекцию, об-

ращенную к нам. Доктор Гонзалес, несмотря на жару, в потертом, но чистеньком аккуратном сюртуке, в белоснежной сорочке, в старом галстучке — классический образ учителя словесности в гимназии провинциального городка. Черты его лица жестки, грубы, темная кожа изборождена морщинами; линия носа подобна обводу кля пирог, взгляд колкий, суровый, медленный, но если доктор вдруг улыбнется — о! Он улыбается редко, как редко выпадает дождь на его землю. Его блеклые губы как будто запеклись от жажды.

Он говорит по-французски. Белокурая юная женщина Инга переводит его речь на немецкий. Она вышла замуж за поэта из города Прая, предпочтя его женихам своего родного Мюнхена. Мой спутник знает немецкую речь, записывает суть услышанного по-латышски, затем доносит до меня эту суть по-русски. Наше ответное слово переводит на португальский работник посольства Борис Иванович. Так разговор идет по кругу: франко-немецко-латышско-русско-португальская беседа.

Назавтра мы едем в стареньком, образца пятидесятих годов, «Пежо» по нетряской, паркетно-ровной брусчатке — асфальтированных дорог на островах Зеленого Мыса нет. Машина бежит с вполне безопасной скоростью, на подъемах она задыхается, как бабушка с пятого этажа на лестнице в доме без лифта. За рулем сидит Мануэл Дуарте, президент Верховного суда республики, рядом с ним председатель Национального комитета агрономии, то есть главный агроном Гомес ди Азеведо, на заднем сиденье наша делегация и доктор Аурелиу Гонзалес — старый, строгий учитель словесности, эссеист.

За окном простираются пейзажи, которые в нашу пору близкого знакомства с Луной принято называть лунными. Но это — подлунная, обитаемая земля, терракотового цвета, кофейного цвета, цвета камня. Вон подымается в гору женщина с бадьями на коромысле. За каждую каплю воды капля пота. Или, может быть, кожа здешних людей не орошается даже росой пота? Копыта в камнях дети, голые, черные дети на слабеньких ножках. Они малоподвижны, не бегают, не слышно их радостных криков. Они будто купаются в мареве — в этой среде обитания: солнечный свет и зной здесь материальны. . .

Помните японский фильм «Голый остров»? Жизнь под коромыслом с бадейками, чтобы вспоить земляной

плод — батат — и продлить эту жизнь. На островах Зеленого Мыса тоже выращивают, вспаивают бататы...

Мы едем по острову Сантьягу: верховный судья, главный агроном, преподаватель эстетики, двое советских писателей — как говорится, разные люди. Но разговаривать нам легко. Когда не хватает слов, мы глядим в глаза друг другу. Даже водитель, верховный судья, оборачивается, чтобы взглянуть нам в глаза, прочесть если не самую мысль, то чувство, с которым она высказывается. Ехать вместе нам хорошо.

Доктор Гонзалес, прежде чем спросить нас о чем-либо, извиняется. Деликатность, должно быть, врожденное, национальное свойство креолов. Я помню, во время первой моей прогулки по Прае ко мне подошел большезлазый мальчик на тоненьких черных ножках и куда-то позвал за собой. Должно быть, он меня наблюдал и понял мое состояние первооткрывателя в его родном городе. Он пошел впереди, оглядывался, робкой улыбкой побуждая к участию. Ему хотелось быть моим гидом. Я следовал за ним, но меня отвлек магазин, и я забыл про мальчика. Когда я вышел из лавки наружу, он ждал меня у двери. Я хотел закурить, но кончились спички. Мальчик стремглав куда-то сбегал и принес огоньку. Так мы двигались с ним, пытались поразговаривать, но не нашлось у нас ни одного словечка, понятного нам двоим. И все же мы понимали друг друга. Я останавливался у витрин, совал нос в раскрытые двери лавочек, мальчик отходил в сторонку и ждал. Он у меня ничего не просил, только хотел одного — чтоб я поверил ему и шел бы за ним. Он вывел меня на высокое место над океаном, тут стоял памятник, росли деревья, имелся парапет над обрывом, с широкой белокаменной скамьей. Мальчик пригласил меня сияющим своим взглядом увидеть все это и стушевался, чтоб не мешать. Когда я нагледелся на ослепительный океанский простор и зыбкую в струящемся свете береговую линию, он вошел в круг моего зрения, напомнил о себе, позвал идти дальше. Дальше некуда было идти — он привел меня в то самое место, откуда мы начали путь. В этом месте шныряли его ровесники-попрошайки, босые, в изодранных лохмотьях, завязанных узлом на пупе, в соломенных сомбреро. Они принялись у меня что-то кланчить, бормотать свое: «Мони, мони». Мой мальчик обратился к ним с проникновенным монологом — должно быть, взывая к их совести. Они оттолкнули его. Он за-

плакал. Я дал ему латунную монету, не имея понятия, чего она стоит в городе Прая. Мальчик поблагодарил меня взглядом и сразу исчез.

Он был такой же, как бродяжки-пижоны в сомбре-ро, уличный мальчик, но он зарабатывал свой хлеб честным трудом, со всею искренностью, робкой восторженностью, деликатностью, на какую способна была душа маленького креола...

— Извините меня за этот вопрос, — обратился к нам доктор Аурелиу Гонзалес, — вы можете на него не отвечать, если он вам покажется неосновательным... Как в вашей стране воспринимают сегодня героев Чехова? Ваша страна и ваши люди стали другие... Не устарел ли, с вашей точки зрения, Чехов?.. Издают ли у вас Леонида Андреева? Пастернака?..

Разговаривая с доктором Гонзалесом, мы постепенно находим общий язык, состоящий из слов, одинаково понятных по-португальски, по-английски, по-русски: «Толстой, Достоевский, Горький, Шолохов, Шаляпин, Шостакович, Мусоргский, Рахманинов, Прокофьев...»

Пейзаж за окном вдруг разом переменялся. Машина въехала под своды деревьев, в оазис, в бананово-лимонный сад. Нас привезли в селение Сан-Жорж, на государственную ферму. Здесь есть подземные воды, пробурены скважины, орошенная земля плодоносит; отягощенные сознанием своего великолепия, склонивши головы, цветут лучшие в мире розы; здесь собирают по несколько урожаев в году кофе и картошки, лука, свеклы, помидоров, ананасов и арахиса. Круглый год здесь цветет на кустах махровым, пышно-розовым цветом бугенвилля и герань, простирает изысканной выделки ветви похожая на нашу пихту араукария.

На ферме Сан-Жорж Национальный комитет агрономии во главе с его президентом Гомесом ди Азеведо, нашим вожатым, проводит опыты по акклиматизации сельхозкультур всех стран света. На земле Кабо Верде родится любой злак, фрукт или овощ — только была бы вода. Одна из насущнейших проблем, от решения которой зависит будущее республики, состоит в водоснабжении, в осуществлении плана ирригационных работ.

Впрочем, по врожденной своей деликатности, главный агроном не хочет утомлять нас специальными разговорами. Нас привезли в Сан-Жорж для того, чтобы мы, будучи предоставлены сами себе, могли насладиться здешней природой.

Там и сям под сенью деревьев расположились приехавшие на воскресенье в Сан-Жорж жители Праи. Я вижу знакомые лица: многие из них были на встрече с нашей делегацией в Институте книги. В Сан-Жорж приехала интеллигенция Праи — не на воскресный пикник, а для самоуглубленного созерцания, для приобщения к гармонии мироздания, для наслаждения тишиной.

В Сан-Жорже имеются не только лимонные рощи, банановые плантации, капустные грядки и розарии, — здесь есть смотровая площадка на уступе горы, с искусственным прудом, балюстрадой и каменной скамьей. Отсюда видны горные кряжи, глубокие распадки меж гор, напоминающие по рисунку и фактуре массив Карадага. Я помню, доктор Гонзалес стоял, скрестив руки, похожий на старую птицу, в темно-коричневом оперенье, смотрел на горы, на камни — краугольные камни той науки, которую он преподает в гимназии острова Сан-Висенте, — эстетики. . .

Сеньор Гонзалес рассказал мне, о чем он пишет в своих «шорт сториз». Он пишет о судьбах женщин, милых, прелестных, белых, черных и терракотовых женщин. На островах Зеленого Мыса доля женщин печальна, может быть, даже печальней, чем участь мужчин. Женщины, предназначенные для счастья, несут бремя жизни и не находят сатисфакции (так сказал доктор Гонзалес: «сатисфакшен») своей прелести.

В Сан-Жорже мы повстречались с Джилберто Лопесом, сыном Мануэла Лопеса, автора романа «Яростный дождь». Мануэл Лопес прошел тот же путь, что и сотни тысяч зеленомысцев, покинувших свою родину — эти каиновы земли — в надежде найти за морями лучшую долю. Джилберто Лопес, художник, вернулся на острова, чтобы быть заодно со своим народом в годину великого порыва к возрождению Кабо Верде.

День, проведенный в Сан-Жорже, вселяет в сердце надежду на возрождение этой земли.

Ритм нашей жизни на Пузаде, предопределенный программой-протоколом, решительно изменился с прибытием на остров Сантьягу операторов Центральной студии документальных фильмов Юрия Егорова и Олега Лебедева. Они уже второй месяц таскали свои аппараты и ящики с пленкой по джунглям Гвинеи-Бисау, по островам Зеленого Мыса. Африканское солнце и атлан-

тические ветры обработали их настолько, что белизна сохранилась лишь на висках да побелела от соли одежда.

Нам повезло, на острове Сантьягу мы попали в хорошую компанию. И вот уже всей компанией едем в автобусе Института солидарности Республики Кабо Верде, за рулем сидит директор Института Антонио Жасинта, коренастый, с суровым лицом человек, более похожий на выходца с африканского берега, нежели на креола-зеленомысца.

Трудовая школа-коммуна: кукурузное поле на склоне горы, оросительная система, классы, спальня, кухня с пекарней, мастерские — мальчишки вытачивают из скорлупы кокосовых орехов абажуры, чашки, незатейливые сувениры, распиливают куски красного дерева, привезенного из Гвинеи-Бисау. «Наша главная задача, — сказал директор Института солидарности, — внедрить в сознание мальчишек с улицы (он так и сказал: «бойз фром стрит») потребность трудиться, учиться труду как первейшему условию жизни. Самое тяжелое наследие колониального владычества — это неверие в труд, отсутствие интереса к саморазвитию, социальная пассивность, привычка к голодному полудикому презабанню».

В трудовых школах-коммунах, в интернатах, учрежденных на месте бывших португальских казарм, в джунглях Гвинеи-Бисау или на холмах острова Сантьягу мы слышали имя Макаренко. Воспитатели трудовых школ, в которых закладываются основы самосознания освобожденного народа, просили нас, если можно, прислать им книги Макаренко — по-португальски, по-испански или хотя бы по-французски. . .

Однажды я подарил шоферу Института солидарности Жозефу Руи значок с профилем Ленина и увидел в его глазах выражение самой полной, какая бывает, радости. Он сказал, что такого драгоценного значка больше нет ни у кого в Республике Кабо Верде.

Жозеф Руи ненамного старше мальчишек, возделывающих кукурузу, мастерающих табуретки из красного дерева, постигающих азы науки в школах-коммунах. Садясь к рулю, он снимал ботинки, жал на педали босыми пятками — может быть, для того, чтоб войти в полный контакт с машиной, исполнять работу шофера с тем же тщанием, с каким кладут стены и выхаживают зеленые ростки батата зеленомысцы.

С тех пор как мы оказались в компании кинооператоров, мир открывался нам с самых выгодных точек, в самых выигрышных ракурсах. В одном из оазисов на берегу запруженного ручья кто-то слазил на пальму и скинул оттуда столько кокосовых орехов, чтобы хватило на всех. Каждый из орехов величиною был с добрую тыкву. Орехи стучались оземь, как пудовые гири. Чтобы добраться до сути ореха, нужно обрубить тесаком, похожим на мачете, зеленую оболочку, обтесать, проломить головку и тогда уже пить холодное молочко. Опороженные орехи были расколоты, из них добыта белая, твердая, ароматная, сытная масса.

В селении Сан-Доминго, в деревянном доме под акациями, с прелестной своей старомодностью обстановкой, хозяйюшка угостила нас самогонкой из сахарного тростника, по-здешнему — гроги. . .

В маленьком городе, должно быть районном или уездном центре, Санта-Катарина я завернул на базар. Продавец бананов спросил у меня, кто я, откуда. Узнав, он отвел мою руку с монетой, торжественно протянул мне бананы, засиял глазами и зубами, с выражением застенчивой, деликатной восторженности произнес слово «презент» и крепко пожал мне руку.

В сквере на площади Санта-Катарины я украдкой разглядывал местных мужичков. В воскресный день они пришли сюда покалякать — в лучших своих костюмах, в темного цвета пиджаках, в фуражках и кепках. Ну до того они были похожи на наших райцентровских мужичков, где-нибудь в Лодейном Поле или Подпорожье! И говорили, похоже было, о том же самом, только по-португальски. Мужики — и везде мужики, как говорится, «симпл пиплз», простые люди. . .

Неподалеку от Санта-Катарины нам показали дом, в котором жил Амилкар Кабрал, — обыкновенный сельский дом, деревянный, состарившийся, обветренный на юру; вокруг все было засеяно сорго и кукурузой. Олег Лебедев заснял этот дом, чем весьма удивил соседей. Женщины и дети наблюдали за работой оператора, расплющив носы об оконные стекла.

Помню, как жители деревеньки Садовой на Вслогодчине, точно так же расплющив носы, наблюдали за небывалым тут делом — киносъемкой. Снимал оператор Мосфильма Заболотский, натуру выбирали режиссер Шукшин, художник Новодережкин. Снималась «Ка-

лина красная» — такой русский фильм, такой понятный всем добрым людям мира. . .

Странствуя по белу свету, цепляешься душою не за географические, этнографические и другие уникамы, а за живые черточки, приметы общности или хотя бы намеки на эту общность. Радуешься, узнавая свое в чужом. Готов расцеловать потряхивающую хвостом трясогузку на берегу гвинейской реки Джебы: быть может, давеча летом эта самая трясогузка порхала на берегу новгородской реки Ловати, в моей деревне Березово. Следишь за полетом ласточки в расплавленной синеве африканского неба — и кажется, стало прохладней, подул ветерок, можно жить и на этой жаре. Внимаешь петушному крику с балкона дакарского отеля «Меридиан», и чудится — петух пропел для тебя одного, на понятном тебе языке, чтобы ты не пал духом в такой далекой от твоего родимого дома, в такой большой и ни на что не похожей Африке: дескать, уж раз я, белохвостый петух, здесь живу, так ты и подавно не пропадешь.

Случайно пойманный лукавый женский взгляд, мановенья ресниц, дрогнувшие в улыбке губы, искренность тембра голоса говорят сердцу больше, чем знаменитые сенегальские маски — запечатленные в аспидно-черной текстуре эбенового дерева лики Африки. Африканские черные лики так же изменчивы и подвижны, как наши белые лики.

. . . Живя день за днем в маленьком городе Прая, я стал замечать, что вроде как примелькался на его улочках. На меня перестали глядеть как на новость. И сам я то и дело вижу знакомые лица. Вот куда-то спешит Освалдо Алкантара. Мы пропускаем с ним по чашечке кофе, он напоминает мне, что сегодня в двадцать один час («тунайт эт твенти уан») имеет быть заключительный акт протокола — прием в кафе «Прая Мар».

Последний день в городе Прая (убыстрился темп жизни, скорее пришел и час расставанья). В последний раз шуршат ракушки-карамбучо под моей стопой на берегу Атлантического океана. В последний раз я ныряю в соленые океанские воды. Рыщет в черных камнях прибой, гуляют подводные течения, носят туда и сюда.

Еще немножко осталось времени до приема. Можно посидеть на террасе, похемиnguэйствовать напоследок,

подбить итоги, выразить в слове чувство, главное чувство моей недели, непохожей на другие недели, месяцы, годы,— на острове Сантьягу,— и когда-нибудь вспомнить его, это чувство, сохранить в себе этот праздник: пусть он будет всегда со мной.

Я слышу веселые клики зеленомысцев, строящих дом. Вечером заиграет оркестр на площади, будут прыгать счастливые дети, и взрослые тоже придут на гулянье. Праздник весел, но в праздничной музыке участвует медь колокола, звонящего по ком-то — и по тебе тоже. . .

В последний день на острове Сантьягу, близ города Прая, на Поузаде, на террасе кафе «Прая Мар» можно позволить себе погрустить. Мотивы грусти привычны поэтам страны Кабо Верде. Грусть — самое мелодичное чувство из всех человеческих чувств.

На небе зажглись звезды, предводительствуемые лунной-пирогой. На Поузаду стала съезжаться интеллигенция Праи, предводительствуемая рослым, ладным, широкоплечим, усатым Освалдо Алкантара. Марно включил свет в маленьком, со стойкой бара, банкетном зале. У одной стены сели мужчины с гитарами, в белом и голубом, у другой стены сели красавицы Кабо Верде — как на подбор. Заплакали, задумались, грозно, призывно зарокотали струны — вначале нас угостили морной. Потом музыканты запели, и в песне, протяжной, как морна, звучало рефреном знакомое слово: «индепенденсия». Это была поминальная песня по тем, кто сложил свои головы за независимость Кабо Верде, о том, что индепенденсия имеет цвет и запах крови.

Юрий Егоров и Олег Лебедев включили осветительные приборы, застрекотали камеры. Дамы чуть-чуть прижмурились от резкого света и стали еще прелестней. . .

Потом были танцы. По счастью, трясучка, которой охвачены танцплощадки во всех частях света, миновала остров Сантьягу. Как во времена моей молодости, под полнозвучную, ритмичную музыку здесь танцевали танго, фокстрот и вальс. Кавалеры водили своих дам и после любезно благодарили за оказанную им честь.

Джилберто Лопес танцевал с Элизой Андраде — необычайно, по-африкански высокой и стройной креолкой с острова Сан-Висенте. Горделивого посада голову Элизы увенчивала пышная, не подверженная какой бы то ни было моде, раз навсегда данная природой шапка

волос. Глаза на ее лице занимали добрую четверть пространства. Они имели столь же непривычный для нас, как луна рожками кверху, продольный разрез, форму кокосового ореха и цвет кокосовой скорлупы, очищенной от волокон оболочки. Нос Элизы Андраде плавностью, завершенностью линий, тонкостью, четкостью выреза являл собою классический образец креольского носа, в той же мере, что и нос доктора Аурелиу Гонзалеса, только в изысканном, женском варианте.

Джилберто танцевал с Элизой, у него было такое лицо, какое может быть у человека, взявшего за крыло свою синюю птицу. . .

Назавтра Элиза Андраде пришла проводить нашу делегацию в аэропорт, вместе с Освалдо Алкантара, его женой Анджеликой, президентом Верховного суда Мануэлом Дуарте, поэтом Кваме Конде. До самолета еще было время, я постарался использовать его с толком, впервые разговорился с Элизой Андраде. Узнал, что она работала в революционном подполье, воевала за независимость Гвинеи-Бисау и островов Зеленого Мыса под знаменем ПАИГК. В Анголе снималась в фильме, посвященном освободительной войне. Побывала в Москве. В Ленинграде ей больше всего запомнилась комната Ленина в Смольном. Элиза Андраде — экономист. Она подарила мне книгу, авторский экземпляр: «Острова Зеленого Мыса. От рабства до Нового Времени». Книга издана Союзом студентов Третьего Мира в Соединенных Штатах, на английском языке. Она отпечатана на ротапринтере, «на пожертвования рабочих» — так сказано в выходных данных, на форзаце. В книге есть иллюстрации, наиболее впечатляющая из них — «Ожидание воды». Если сказать по-нашему — очередь за водой. Этого рода снимки — только фон и колорит иной — хранятся в ленинградских блокадных архивах: очередь за водой к проруби на Фонтанке, на Мойке. . .

Написанная как историко-географический, этнографический, экономический очерк, книга Элизы Андраде хороша своей эмоциональностью, в ней заметно авторское личное — гражданственное — начало. Судьба страны, о которой идет речь в книге, — это и судьба ее автора, по-видимому, талантливого, остро чувствующего человека.

. . . Между тем в банкетном зале кафе «Прая Мар» продолжались танцы, Элиза Андраде и Анджелика Алкантара исполнили для нас танец острова Сан-Висенте,

женский парный танец. Рисунок танца напоминал кружение мотыльков или еще порханье сальфид в балете «Сальфида». В каких-то известных одним танцовщицам точках они сходились, мгновенно соприкасались и разлетались, получив новый импульс для плетенья узора.

Танцовщицам подыгрывали гитаристы, почтенные мужи в белом и голубом. Возможно, некоторые из них занимали министерские посты или должности президентов коллегий.

Танцы могли бы продолжаться до упаду, до рассвета, но электричество дорого в Праге — оно погасло. Все вышли на волю, светила луна, океан серебрился, гитарный звон красиво сливался с гулом наката. Освалдо Алкантара обратился ко мне с вполне уместными и своевременными соображениями насчет того, что хорошо бы добавить (в этих случаях мне приходит на память всем известная фраза спортивного комментатора Озерова: «Добавить некому...»). Судя по выражению лица Освалдо Алкантара, добавить, при всем желании, было не так-то просто, во всяком случае труднее, чем в Риге или Ленинграде: Пуозада уснула, и Прая, должно быть, тоже уснула...

Тут раздался благоразумный, трезвый голос моего товарища по делегации. Его голос всегда раздавался в нужный момент. Блажен, кто обзаведется в дальнем странствии благоразумным товарищем! Он сказал: «Пора спать». И все согласились с этим самоочевидным доводом. Пообнимавшись с нашими новыми друзьями, — дамы стояли в сторонке, — мы пошли коротать последнюю ночь на острове Сантьягу. Ночи уже оставалось немного, чуть-чуть.

Самолет местной линии сначала сделал посадку на острове Сан-Николау. Остров был желтый, дул сильный ветер, нес желтый песок. У входа в маленькое здание местного аэропорта голубоглазый священник в черной сутане, с Евангелием под крылом сутаны, сказал мне: «Гуд монинг». И я ответил ему: «Гуд монинг».

С острова Сан-Николау, рядом со мною, летел в Копенгаген моряк, в рубашке, сшитой из американского флага. Знакомства на местной авиалинии завязываются значительно проще, чем на международной, тем более — трансконтинентальной. Мой сосед рассказал, что

служит на шведском судне. Подзаработал — и погостил в родительском доме, на острове Сан-Николау. Теперь возвращается на пароход.

Остров Сан-Висенте был терракотовый, песчаный, пригорелый, с подрумявленной корочкой. На изжелта-се-ро-зеленоватом острове Сал нас встретил представитель Аэрофлота Юрий Парфенов. До самолета на Бисау была еще целая ночь. Мы хорошо, по-русски посидели в аэропортовской гостинице. Юра сбегал к знакомым лангустоловам, принес парочку экземпляров этих ракообразных, извинялся, что нет майонеза, — лангустов принято подавать под майонезом; но и так они были чудо как хороши.

Ночью я переступил порог гостиничного номера — всего один шаг: гостиница разместилась в одноэтажных казармах бывшего португальского военного городка; над моей головой распростерлась ничем не заслоненная, усеянная звездами и спутниками связи бездна мироздания. В памяти вдруг восстали давным-давно дремавшие в забвении (не было случая встрепенуться) гениальные и потому всякий раз поражающие абсолютной гармонией стихи Михаила Юрьевича Лермонтова, написанные в 1841 году: «Выхожу один я на дорогу; сквозь туман кремнистый путь блестит; ночь тиха. Пустыня внемлет бгу, и звезда с звездой говорит. В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом... Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть; я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть».

Заснуть нам помешал рев «Боинга» трансатлантической линии Лисабон — Конакри...

Пытаюсь представить себе площадь в Шереметьевском аэропорту, мартовский снег и мартовскую слякоть, пахнущий весной и бензином, может быть, подмороженный, а может быть, мокрый наш воздух, и перелески, березки, блеклый сиреневый цвет. Это правда бывает? Господи, неужели бывает? И еще я вижу нашу толпу, в которую можно мне затесаться — и поминай как звали. Час остается до нашего самолета...

Летим в Москву. Летят моряки-рыбаки, рыбачившие в Атлантике, сменные экипажи. У моего соседа выглядывает из-под полы обезьянка Капа. У нее, должно

быть, бьется сердчишко. Еще бы, первый раз в жизни летит. Она прижалась к хозяину, смотрит, не понимает. То есть понимает, но что-то свое. У нее смышленные, темные, быстрые глаза, черный короткошерстный намордник — африканская маска. Серебристо-серая с подпалиной шерстка, дымчатое брюшко. Ладонки у Капы смуглые, а кончики пальцев светлые, розоватые. Хвост у нее длиною поболее метра.

Капу можно потрогать, погладить. Вскоре начались приношения Капе. Ей дали вафлю «Снежинку». Она тотчас сообразила, где самая сладость, отслоила вафельные корочки, верхнюю от нижней, слизала то сладкое, что внутри, погрызла немножко сами корочки, сморщилась и бросила их на пол. Тут ей дали капустный листок, она его схрупала с удовольствием. Конфету «Белочка» развернула, долго жевала, склонила голову набок: понравилось.

Когда хозяин ушел в хвост самолета, оставив Капу на привязи, она металась, стонала и плакала.

Так незаметно мы долетели до мавританского города Наудибу. Впрочем, города не было видно. На здание аэропорта и взлетные полосы со всех сторон вели наступление выстроенные в барханы пески Западной Сахары. В аэропорту имелись вывески, соответствующие месту и назначению, однако какой-либо действующей службы, торгующего чем-нибудь бара или кноска найти не удалось. За стойками не было ни души. В главном зале аэропорта высилось произведение искусства — грубо прикрепленный к остову лист жженой, рифленой меди. Замысел художника, материал, исполнение как нельзя лучше выражали самую суть природы, ландшафта Западной Сахары. На полу сидели босые, нахохленные, в бурнусах, арабы или же мавры, арабизированные берберы. Они пребывали в состоянии глубочайшей, безысходной задумчивости.

Пробыв час в этом оцепеневшем мире, мы полетели в Касабланку. Для тех, кто не знает испанского языка, скажу, что «каса» — это дом, а «бланка» — белый. Тех, кто интересуется городом белых домов Касабланкой, можно отослать, ну, скажем, к книгам Сент-Экзюпери, он частенько бывал в Касабланке. . .

Ночной Будапешт посветил нам своими притушенными огнями, а там рукой подать до Москвы.

Когда наконец-то я переправил мой чемодан из международного аэропорта Шереметьево в стеклянный па-

вильон местных линий, чтобы лететь в Ленинград, и вышел потеряться в родимой своей толпе, похвастаться африканским загаром, то первым встреченным мной человеком оказался Гриша Калюжный, поэт, штурман трансевропейских рейсов, высокий, в темно-синей летной шинели, с золотыми угольниками на плечах, в фуражке...

Все-таки хорошо, что в мире живут поэты, что-то такое у них есть в глазах, кроме штурманской азимутности или адвокатской юриспрудентности.

— Пойдем, Гриша, по стаканчику...

— Мне нельзя. Мы в Мурманск летим. Хочешь, подбросим?...

Какой сладкий все-таки воздух в марте в Москве, мокрый, с туманом, пахучий!

ЖРЕБИЙ



УВЕРЬ И РАДОЛЬ

Однажды в конце сентября мы с Алексеем Алексеевичем Ливеровским шли краем леса. По ярко-зеленой поляне рыскал пес Ливеровского, сеттер-ирландец Уверь. Тот, кто читал рассказы-путешествия этого писателя по новгородским лесам, рекам и озерам, уже побывал на Увери, знает, что «Уверь-река издалека течет, берет воду из болотных речушек, из озерных проточин, из прибрежных ключей. Наберет воду и в Мсту кинет. А Мста в Ильмень. Ильмень в Волхов и дальше, дальше — до самого моря...»

Пес по паспорту (у собак тоже есть паспорта) был Уверь, но все его звали ласкательно Уфкой. Шелковистая, длинношерстная, шоколадно-рыжая Уфка носилась по лугу. Луг окаймляли желто-белые березняки, словно дымы в небо всплывали. Небо по-осеннему ярко синело. Рдели осины. Было так хорошо и тихо, что лучше и не бывает. Мы с товарищем остановились, сняли шапки. К нам прибежала Уфка, поцеловала сначала хозяина, положила ему лапы на грудь, потом и со мной полизалась и что-то пошептала мне на ухо, подышала в самое ухо.

Ливеровский расслабился самую малость, всего на минуту, он взял себя в руки и грубым голосом крикнул собаке: «Але! Ищи, Уфка! Але!»

Уфка побежала искать долгоносого вальдшнепа. Старый охотник (семидесятилетие А. А. Ливеровского справляли уже давненько) сказал: «Хорошо! Но было

бы еще лучше, если бы эту картину осеннего русского леса немножко озвучить. Пусть бы в небе прошел караван гусей. Не серых гусей, а казарок. У серых гусей какой-то уж очень деловитый, базарный говорок. Казарки трогательно, мягко переговариваются на лету. . . Второе, чего не хватает, это осеннего бормотанья тетеревов. В эту пору, бывало, они обязательно бормотали, на вершинах осин и берез. . . И третье, как это ни кощунственно, мне не хватает музыки гона. Чтобы гончие заливались: ай-я-яй-я-яй. . .»

Ливеровский добрую половину своей долгой жизни провел на охотах в лесу: на медвежьих, волчьих, лисьих, лосиных, кабаньих, заячьих, глухариных, тетеревиных, гусиных, утиных, бекасиных, вальдшнепиных, дупелиных, куропаточьих. Охота подзаряжала его энергией солнца, леса и ветра; он никогда не болел, вставал каждый день спозаранок, засучивал рукава, припимался за дело (он — доктор технических наук, профессор Лесотехнической академии, лауреат Государственной премии) и доводил его до конца с охотничьей цепкостью, как говорят гончатники — вязкостью. Отрывался от дела лишь для того, чтобы отправиться на охоту.

В отпущенное ему, как каждому смертному, время он прожил две жизни: ученого и охотника. Третья его жизнь — писательская. Кто хочет проникнуть в потайной, скрытый мир четвероногих или пернатых обитателей новгородских лесов, пусть прочтет книги Алексея Ливеровского «Журавлиная родина», «Радоль», «Озеро Тихое», — о каждом из этих обитателей в них сказано по-научному точно и обстоятельно, по-охотничьи приметливо, из первых рук, с подлинным верно, по-художнически поэтично, изобразительно-ярко. . .

Но даже такой профессор-охотник-художник понимал, что охота — кощунство, что голос гончего пса в осеннем лесу хотя и красив, но предвещает гибель ни в чем не повинному зайцу. . .

Дома у него осталась другая собака, широкогрудая, мускулистая, пегая русская гончая Радоль — Долька. Радоль — тоже новгородская лесная речка. В автопредисловии к книге «Радоль» есть такие слова: «Никогда не забуду, как знойным летом заблудился в чужом лесу и в конце концов выбрался на речку. Лес был глухой, черный, болотистый. Речка текла по открытой солнечной долине и сама была светлая, с живой и прохладной водой. Измученный тяжелой ходьбой, исколотый ветками

непролазной чащи, искусанный комарами и слепнями, я разделся, бросился в воду и долго плавал в тихой заводди, окаймленной белыми кувшинками... Позже я узнал, что речка называется Радоль, и несколько не удивился — другого имени у нее и быть не могло».

..Из-под гончей Радоли-Дольки уже было убито сколько-то зайцев, другие Долькины зайцы куда не знали, что дни их сочтены. Долька никогда не скальвалась со следа, будь то чернотроп поздней осени, пороша перевозимья или январская снежная целина.

Ливеровскому хотелось, чтоб в музыке осеннего леса звучала Долькина флейта. До открытия охоты на зайцев оставалась неделя. Долька обиженно плакала, прожоя на охоту свою подружку Уфку...

На страницах сочинений Ливеровского мотивы гона присутствуют во всем их полнозвучии, в контрапунктной многоголосице тонов, оттенков и тембров. Его книги могут послужить энциклопедическим словарем для охотника-гончатника: в них наличествует весь передающийся изустно из поколения в поколение лексикон этого особливового дела, в котором участвуют три действующих лица — человек, собака и заяц (или лиса). В лексиконе запечатлелись именно особливость, искусство древней русской охоты по зверю с гончей: вначале набрасыванье и порсканье, после полаз, добор и отдача голоса, паратость и вязкость пса, заячьи скидки и перевиденье зверя, умение охотника выбрать место и страсть охотничья, дрожь в коленках от страсти, и выстрел, и покрик стрелявшего: «Доше-ел!», и вознаграждение гончому псу — заячьи лапы-пазанки...

Честное слово, ради только сохранения в нашей памяти особого языка гончатников, согласного с образно-выразительным строем народного лесного говора, стоило написать свои «Записки гончатника» такому знатоку этого дела, каким является Ливеровский.

Знаете, что такое «обазартить выжлеца»? Знаете, что такое «помкнуть по-зрячему»? Захотите узнать — прочтите «Озеро Тихое».

Но Ливеровский пишет не для того, чтоб щегольнуть своим знанием охотничьего лексикона...

Давайте вспомним один из лучших рассказов Михаила Пришвина «Анчар», он про охоту с гончей, про гончего пса, в котором осуществились такие добрые качества без изъяну, как самозабвенная страстная преданность делу и долгу, верность товарищу по охоте —

неважно, хозяин он или просто охотник; неутомимость, способность прочесть все запахи леса, особая пластика гона — и бескорыстие: гончий пес гонит зайца не для себя... И если бы не любовь к человеку, если бы не взаимность любви, если бы не уроки лесного содружества, преподанные гончару человеком-охотником, то и древняя родовая способность бежать по следу угасла бы в гончаре.

Анчар погибает от неумелой руки постороннего на охоте, чужого. И гибель его отзывается болью в душе, из боли рождаются добрые чувства — те самые чувства, каким нас от века учит хорошая литература.

Давайте вспомним рассказ Юрия Казакова «Арктур — гончий пес». Рассказ о слепом с рождения гончаре, одержимом страстью к лесному гону, соизмеримой по силе только с любовью к пригревшему его человеку...

Охотничьи эти рассказы покоряют своей человечностью, приобщают к природе как миру вечно живой красоты и подспудных, скрытых от равнодушного ока трагедий. Они в русле традиции классической русской литературы, постоянно вводившей в круг своего внимания охоту как важную сторону нашего национального бытия.

Этой традиции, в меру своих возможностей, следует Ливеровский. Особенно она заметна в лучших рассказах из цикла «Записки гончатника»: «Соловей безголовый», «Вазелиновые гончие», «Убивец», «Пороша». Впрочем не только о гончих пишет наш автор. Его рассказы населены рыже-пегими, крапчатыми, в яблоках, золотисто-шоколадными, длинношерстными или короткошерстными сеттерами и легавыми, и все они такие разные, но обязательно тороватые на охоту (похожие на хозяина).

В течение многих лет близко зная Алексея Алексеевича Ливеровского, бывая с ним вместе в лесных походах, я повидал и некоторых прототипов героев и героинь его рассказов. Могу свидетельствовать: жизнь охотника-собаководы подарила писателю богатейшую палитру сюжетов — счастливых и печальных, трогательных и поучительных.

Однажды я был с Ливеровским на соревнованиях гончих республиканского класса. Состязания этого рода мало кто видит, кроме непосредственно заинтересован-

ных лиц, гончатников. Происходят они обыкновенно в заказнике, в более или менее укромном лесном углу, где нелицезвучат пока что не выбитые, какие-никакие зайцы. Начинаются состязания на рассвете. Пускают, то есть набрасывают собаку-претендента, судейская коллегия рассредоточивается в лесу, как это бывает на охоте. Собака ищет, она в полазе. Сколько продлится полаз — судьи следят по часам, выставляют соответствующий балл за чутье. Наконец заяц учуял, начинается гон; на гону судьи ставят баллы за мастерство, вязкость, добычливость, за силу, музыкальность голоса и верность голосовой отдачи, за паратость, то есть энергию гона. Отдельно поставят баллы за ровность ног и за приездку — это когда хозяин покличет собаку или в рог подудит, как собака исполнит она его волю.

На все испытание каждой собаке отводится полтора часа. Соревнования длятся субботу и воскресенье. Участвуют в них отобранные, дипломированные гончары. Катая сменяет Дунай, за ними Плакса, Веста и Арфа, потом Шугай, Заливай, Алтай... Гончатники тем временем подкрепляют силы чем бог послал где-нибудь неподалеку у костра. В перерывах к ним примыкают и судьи — тоже гончатники. И какие тут, господи, можно услышать сюжеты! К каким приобщиться словесным узорам! Каких открыть виртуозов искусства заливать!

Наконец приходит Долькина очередь. Она выступает в ранге прошлогоднего чемпиона. На Дольку главная ставка. Впрочем, кто-то хмурится, не согласен, кто-то верит, что его Арфа, Набат, Потешай еще покажет себя.

Долька быстро находит зайца. И вот по лесу, как мелодичный звон заледеневших камышей под ветром, разносится ее голос. Долька гонит парато, мастеровито. Хозяин похаживает по просеке, счастливый своей питомцей. Гончатники попримолкли, тоже слушают Дольку...

И вдруг ее голос сорвался на полутоне. Долька взляля-взвыла, и сделалось тихо. Первая мысль у хозяина: волки! Ружья у него нет с собой. Он хватается за старинный рог. Его успокаивают судьи: волков здесь сроду не бывало. Долька молчит. Перемолчка ее затягивается. Что случилось с Долькой? Хозяева Арфы, Набата, Потешая хотя и не выдают своей радости, но, само собой, рады. Бывает и на старуху проруха.

Чемпионом Дольке, всем ясно, уже не бывать.

— Дольюшка-а! Доль-доль-доль! — кричит хозяин. Трубит в рог. Ломится в придорожную чапыгу. Тревожный, отчаянный поклик хозяина, рев медной трубы все дальше, дальше. Я тоже иду искать Дольку, в другой стороне. Лес предосенний, краснеет рябина. Из глубины леса труба и крики людей кажутся посторонними, можно услышать сам лес, его шорохи, вздохи. «Долька, Долька!» — зову я. И что-то слышу, какой-то шелест. Вижу Дольку, ползущую по траве. «Дольюшка, что с тобой?» В окрасе Долькиной шкуры появился новый оттенок. Что это? Долька в крови. На груди ее рваная рана. Долька легла у моих ног, посмотрела мне в глаза, и можно прочесть выражение собачьего взгляда. В нем укоризна: «Что же ты сделал со мной, человеке? За что?»

После, исследуя Долькин путь, мы обнаружили изгородь из колючей проволоки. Арктур, гончий пес в одноименном рассказе Юрия Казакова, погибает, наткнувшись на сук, по врожденной своей слепоте. Зрячая Долька напоролась грудью на колючую проволоку в пылу гона. . .

Настоящий охотник, воспитывая помощницу-собаку, берет на себя всю полноту ответственности за нее. Мало набросить собаку на след, надо уметь подстраховать ее, а то и спасти.

В книге «Озеро Тихое» есть рассказ «Убивец». Его сюжет вкратце можно изложить таким образом: жил-был ушлый заяц-русак, в таком месте жил, где долго бы и не выжить ему, — в пригородном охотничьем уголке. Сохранял себя тем, что от гончих по насыпи шпарил, по шпалам. Заяц шпарит по шпалам, за ним собака, а следом электрички, одна за другой. Собаки на гону не оглядываются. . . Зайца прозвали «убивцем», егерь предупреждал приезжих охотников, чтоб не совали носу в то поле, где обитает «убивец». Сам-то егерь на охоту не хаживал, ноги болели. Настоящие охотники внимали его совету, а посторонний ослушался. Все так и вышло, как егерь предсказал. . . Собак двое было: смычок — и грозила им неминуемая смерть, наступала, ревя, электричка. . . Слава богу, все обошлось: егерь почуял неладное, приковылял к насыпи в нужное место и время, сбил гон с этой смертной дорожки.

Автору определенно нравится егерь, и нам он тоже нравится. И заяц-убивец, в конечном счете, наказан, то есть убит, опять-таки этим хорошим егерем. . .

Тут самое время задаться вопросом: в чем же все-таки кощунство охоты, которое сознает и сам автор книги «Озеро Тихое»?

Упомянутый егерь в рассказе «Убивец» так отвечает на этот вопрос: «...зверя и птицы год от году меньше. Здесь совсем бедно, пусты леса. Бьешь, думаешь — не последний ли? — жалко».

Признаемся, и нам тоже жалко. Места обитания зверя и птицы на наших глазах сжимаются подобно Балзаковой шагренево́й коже. Четвероногие и пернатые наши меньшие братья и сестры из лесов, болот, луговин, небесных пространств переселяются на страницы Красной книги. Так неужто в трагический, переломный для всей живой природы момент мы поспособствуем нашей охотой истреблению живых существ, обладающих тем же правом на жизнь, что и мы сами?

Вопрос не нами поставлен. Ряды принципиальных противников всякого рода охоты растут, их аргументы не только убеждают своей логической целесообразностью, но и находят отклик в душе защитников и любителей природы. Когда читаешь исполненные гражданских чувств и гуманного пафоса статьи противников охоты, кажется, готов согласиться и подписаться под ними. Ну, в самом деле, давайте-ка прикинем на весах: на одной чаше — гусиные стаи в небе, таинственная песня глухаря и клекот тетеревов на заре, расписанная звериными следами снежная целина лесной поляны, а на другой — прихоть охотника порушить все это. Может быть, охотничья страсть — такой же атавизм, как, например, давно изжитый обычай кулачного боя стенка на стенку? Может быть, настало время зачехлить наши ружья?

Так и давайте зачехлим, кто созрел для такого решения. Способность к самоограничению всегда похвальна. Однако воздержимся от самоуверенных притязаний на свою единственную, исключительную правоту...

Я против излишеств охоты, ее вседоступности, безнадзорности, моральной распоясанности. Но я уверен, что запрет охоты в наши дни — такая же нереальная мера, как, скажем, сухой закон для пьющего люда. Жители тысяч лесных деревень, поселков и городов идут в лес с ружьем, как шли их отцы и деды. Охота для них не прихоть, а родовая наследственная потребность, в той же мере, пожалуй, как крестьянская жилка — обрезаемое в трудах чувство родства с землей. Сельские жи-

тели знают леса и водоемы в той местности, где живут, потому что охотятся и рыбачат. Охота с рыбалкой дают им не только прибавку к столу, но еще и чувство гармонии с окружающим миром, душевное равновесие. Туризму сельские жители не подвержены, праздные вылазки в лес неведомы им, для фотоохоты они пока еще не созрели. Бьют зверя и птицу, но обязательно оставляют впрек, для приплоду, как оставляют поля под пар, чтобы не истощилась земля.

Тут я, конечно, малость идеализирую сельских жителей. У нынешнего селянина тоже рыльце в пушку по части браконьерства и горлохватства. По-бабьи скорая на нелицеприятный суд героиня рассказа «Не саженное, не рощенное» Марфа Семеновна так честит своих односельчан: «А что в лесах? Пчел в дуплах найдут — давай ломай, выкуривай. Полесники (охотники. — Г. Г.) наши, коль белка в вершине затаится, елку рубят. Шишки собирают с сосны — тот же фасон. С липы кору — беспощадно. Озеришки сохнут — всю рыбу, мать дорогая, выберут, вычерпают до малька, вот такусеньких не милуют. . .»

Такая бабка Марфа — находка для сторонника «охоты без ружья». Ливеровский тоже внимательно выслушивает бабку Марфу, однако ружье в чехол не убирает. Он износил великое множество сапог, полвека бродя по лесам, повстречался с сонмом людей, упомянул все лица и речи, знает, что было, что случилось с людьми, пережившими войну, послевоенное лихолетье, притягательную силу больших городов в наши дни, повальное нашествие горожан в леса на промысел и многое другое.

Путевые заметки, наброски с натуры, лирические этюды, пейзажные и бытовые зарисовки или сюжетные новеллы Ливеровского населены коренными, как говорят в Новгородчине, «жихарями» лесных деревень. Пишет он открыто, ищет ближайшего, прямого контакта с читателем. Рассказ «Озеро Тихое», например, начинается так: «Упрямая охотничья тропа привела меня в Новгородский озерный край. Там все оказалось любопытное: темные ельники, светлые сосняки, быстрые речушки, тихие озера, мшаги — моховые болота, малые, скрытые в лесах и огромные, открытые, по простору и видимости уступающие разве южным степям, и нетучные нивы на холмах вокруг деревень. Больше всего по душе пришлись люди. . .»

Свою концепцию охоты (без концепции, с одним

ружьишком нынче в лес лучше носа не совать) Ливеровский основывает на народном, крестьянском отношении к этому делу (горожане наши тоже чуть не сплошь выходцы из деревни). Рассуждения писателя в пользу охоты, быть может, и не бесспорны, — особенно для тех, кто против нее, — но они, по крайней мере, свободны от умозрительности и прожектерства, построены на отличном знании психологии современного человека в лесу, исходят из жизненных реалий. Отсюда и убежденность Ливеровского. Он понимает, что охоту нельзя искоренить запретом сверху. Да и не нужно искоренять. Нельзя быть праздным в лесу. Природа не терпит праздности. Она не открывает своих секретов праздношатающемуся, пусть даже он изъясняется ей в любви.

По мысли Ливеровского, лишь настоящий охотник может порадовать за природу и быть ей полезным, поскольку он не посторонний, свой в лесу. Чтобы стать хозяином лесу, нужно так многое знать, так многому научиться. Охота научит, а что же еще? . .

Образ Настоящего Охотника — с большой буквы — является центральным в творчестве Ливеровского, организующим все его книги. Организующим потому, что Настоящий Охотник и есть сам автор-рассказчик. Иногда черты Настоящего Охотника мы находим в его соотарищах по охоте — большей частью профессорах, как и сам автор, или же в любимом герое писателя инженере Локтеве. Открывая эти черты в персонажах, мы опять-таки узнаем самого автора.

«Что такое? — может спросить читатель. — Не грешит ли наш автор склонностью покрасоваться, полюбоваться собой? Для писателя это непозволительно, пусть даже он и отменный стрелок. . .»

По счастью, такого вопроса не возникает при чтении книг Ливеровского. В них выведена целая галерея превосходно написанных народных характеров, в среде которых и Локтев, и профессорская компания, и даже сам автор занимают то самое место, какого заслуживают, нимало не возвышаясь над лесными жихарями, а иногда в чем-то и уступая им. . .

Для понимания отправных точек концепции, или, лучше сказать, житейской философии охоты Ливеровского очень важным представляется рассказ «Необоримая сила». Покалеченный на войне Михаил возвращается в свою новгородскую деревеньку, и дни его тягостны, он уже не работник, а мужик еще молодой. И тут при-

ходит весна, и вдруг подхватывает его необоримая сила, влечет на глухариный ток, как будто там на току есть источник живой воды. Глухаря Михаилу не удается убить, но, победив свою немощь, прожив ночь в лесу, встретив зорю с ее таинственными песнями, он возвращается домой заново заряженным для жизни.

В рассказе «Звень, звень...» героем тоже движет необоримая сила, хотя она и несколько другая, чем в случае с Михаилом. Но — необоримая... Человек по имени Василий Матвеевич поставил капкан на волка. Волчина попался здоровый, ушел, неся капкан на ноге, позвякивая им: звень, звень... Следом за волком пускается в путь и охотник. Надо волка убить — не только потому, что профессия у охотника такая: волчатник, — но и потому, что волк обречен на медленную мучительную смерть, с железом-то на ноге. Никак нельзя Василию Матвеевичу бросить этого волка. Он пошел посмотреть капкан налегке, а дорога ему выпала долгая, день за днем идут человек и зверь, будто привязанные друг к дружке одной цепью.

Ночами охотник кипятил воду в медной гильзе, даже и котелка у него нет, и куриво кончилось, и силы на исходе, а бросить нельзя. Почему нельзя? Вот в том-то все и дело. Тут и концепция, и философия. Такой уж он русский лесной человек — Настоящий Охотник! Волк теряет силы, и человек теряет силы, и остается у них сил чуть-чуть, и наступает меж ними вроде как равенство. И когда человек убивает волка, это и не победа, и не добыча. Просто так должно быть, а не иначе...

В одном из рассказов Локтев организует окладную, с флажками охоту на волков: волки повадились резать телок в колхозном стаде. Тут уж не до концепций, и некогда спорить, полезна охота или вредна. Срочно нужен был Настоящий Охотник — и слава богу, что он нашелся!

С волками Локтев сводит счета без колебаний и без рефлексии, но вот когда надо брать в берлоге медведя, тут он хотя и делает дело чисто, но что-то такое вибрирует в нем: «Нечестная игра! — размышляет наш Настоящий Охотник. — Будто играют в карты на медведя, а его к столу не пускают. Ставка — жизнь медведя, а ему карты не дают. Любой может выиграть, кроме него!»

Как видим, Настоящему Охотнику — ему-то и надлежит прикончить медведя — не чужды самоанализ, угры-

зения совести, некоторое даже раздвоение личности (разумеется, не в тот момент, когда медведь поднялся на дыбки). Признаемся, нам симпатичны эти черты живой, развивающейся, чуткой к веяниям в атмосфере нашего общественного обитания человеческой личности. Ежели бы Настоящий Охотник вдруг закоснел в доспехах своей профессиональной исключительности, мы бы и отнеслись к нему по-иному.

В книгу «Озеро Тихое», наиболее полную из всех книг Ливеровского, включены рассказы разных лет, и можно проследить эволюцию творческого внимания писателя: от сугубо охотничьих сюжетов, от записок гончатника, волчатника, медвежатника и так далее — к вполне неохотничьей, общезначимой проблематике сегодняшнего села. В последние годы Ливеровский стал писать подлиннее, чем прежде, повесомее, тематически разнообразнее. Более полно раскрылся характер писателя — подвижный, общительный, отзывчивый, даже въедливый, стремящийся добраться до сердцевины любого явления. В рассказе «Межняки», например, он производит целое социологическое исследование: крестьянин ушел из деревни, но до города не дошел, поставил дом на окраине поселка, работает и на производстве, и на собственном огороде, живет одной ногой там, другой здесь.

Что всегда привлекало в рассказах Ливеровского, коротких и длинных (в коротких заметнее), ранних и поздних, — это акварельная прозрачность письма и необыкновенно бережное авторское отношение к подлинной — прямой речи своих героев. На эту способность писателя к искусному речевому перевоплощению указывал в свое время Виталий Бианки. В предисловии к «Журавлиной родине» он писал: «Древняя Новгородчина пленила Ливеровского не только красотой своих пейзажей, но и языком деревенского люда. Говорят новгородцы на наречии едва ли не самом старинном во всем русском языке. Многие их слова как бы прямо растут из земли, из леса. Особенное это наречие хорошо чувствует Ливеровский, и, когда он рассказывает свежие лесные повести, нам кажется, что слышим их мы из уст древнего новгородского рыбаря или ушкуйника».

С Ливеровским-писателем мы познакомились сравнительно недавно: первая его книга «Журавлиная родина» вышла в 1966 году. Чтобы представить себе, откуда он родом, какую школу прошел — должна же быть у

писателя школа, — давайте вспомним в свое время звучащие по радио, много лет подряд, «Вести из леса». Они были адресованы детям и представляли собой не только сводку всегда интересных, сенсационных лесных новостей, но и мастерскую веселой талантливой выдумки, игры самоценным словом. Сказки, байки, сцены в лицах и увлекательные мистификации, и обязательно уроки природоведения — такими были «Вести из леса». Их вдохновителем являлся Виталий Бианки, их привозили из лесу и сочиняли Николай Сладков, Алексей Ливеровский.

Школа Бианки, его уроки словотворчества, словесной живописи не прошли даром для Ливеровского. Особенно это заметно в циклах поэтических миниатюр, посвященных временам года. Пройдемся лишь по заголовкам миниатюр из цикла «Солнцеворот» — и обнаружим постоянное стремление писателя сочетать слова таким образом, чтобы высечь из них новый смысл, оттенок, краску, обыденное претворить в поэзию: «Глаза марта», «Поющие снега», «Запах лета», «Молчаливые чибисы», «Часы-желуди», «Студеный цвет», «Звездам холодно».

Надо думать, что не прошли даром для Ливеровского, при его необыкновенном чутье к таланту, и совместные поездки на охоту с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. Каждое словечко, сказанное многоумрым мастером, любовно записано. Тетради с записями не ушли в архив, а лежат под рукою...

...Лет тридцать тому назад, будучи студентом, я как-то шел по Литейному и на здании Центрального лектория прочел афишу: «Весенняя охота на боровую дичь. Лектор А. Ливеровский». Лекцию я со вниманием прослушал, многое из нее запомнил по сей день. Особенно поразило меня, как искусно воспроизвел лектор глухариное скirkanье на току, с помощью спичечного коробка...

Мои первые литературные опыты произрастали из охотничьих впечатлений. В лесу я, по счастью, и встречался с Алексеем Алексеевичем Ливеровским, стараюсь не упускать его из виду, прохожу с его помощью курс лесных наук — лучшего наставника в этих делах и не сыщешь.

...Та наша охота, с которой я начал рассказ об авторе книги «Озеро Тихое», кончилась ничем. Красавица Уверь-Уфка ни одного вальдшнепа не нашла, она оказа-

лась неспособной ученицей. Строгий учитель простил ей ее бесталанность — за красоту и ласковый нрав. Мы возвращались с охоты без выстрела, без пролития крови, без пуха и пера. И так было празднично на душе, безгрешно, что хоть садись и пиши рассказ... Не об охоте — о бабке Фросе, пустившей нас, незнакомых ей мужиков, к себе в дом, сварившей нам щей, постелившей постели и рассказавшей всю свою жизнь, такую долгую, как зима на дворе, такую ясную, как ведренный летний день, такую прямую, глубокую, как наши реки, такую трогательную, печальную, буревую, какими бывают только жизни русских женщин — хранительниц тепла в опустевших лесных деревнях...

Я думаю, Ливеровский уже написал рассказ о бабке Фросе. Или напишет. Он это умеет. У него это получается.

ЗЕЛЕНЕЕТ ВЕТОЧКА

В ста километрах от Москвы сворачиваю с шоссе на боковую отвилку. Она меня приведет в Карачарово, к Волге.

Там живет дед нашей литературы Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Он прежде жил в Ленинграде. Теперь перебрался в Москву. Его карачаровский летний домик — на перепутье из Ленинграда в Москву, в сосновом лесу над Волгой. Раньше волжские пароходы гудели на карачаровском плесе, приветствуя старейшину русских писателей, современника и собрата Бунина, Горького, Куприна. Теперь пароходов не стало, несутся мимо «кометы» и «метеоры», сияют огни теплоходов. Говорят, только старый волгарь «М. М. Пришвин» сигналил дедушке Микитову, тревожа сон отдыхающих в карачаровском курортном комплексе. Как-никак Михаил Михайлович Пришвин доводился приятелем Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову. Как-никак...

Под окнами старого ленинградского дома сутки напролет рычит Московский проспект. Сюда я приезжал в гости к Ивану Сергеевичу. От его дома до моих родителей, стариков, всего один квартал.

Иван Сергеевич встречал меня, усаживал к столу. Стол его был дубовый, как говорили встарь, помести-

тельный. В квартире его обитали иконы, лапти, коряги, чучела дивных птиц, туеса, деревянная, медная утварь, диковины леса, картины, тома позабытых увесистых книг. Иван Сергеевич плечистый, высокий, с развернутой грудью, с нестриженной бородой и капитанской трубочкой в борде, с приметливым глазом, осанистый дед...

Теперь он закутал от света глаза темно-зелеными очками. Он не увидит и не узнает меня. В квартиру его на Московском проспекте вселились другие люди. Когда я еду мимо дома Ивана Сергеевича в гости к моим старикам, меня охватывает вдруг чувство осиротелости. Несется мимо проспект. Несется время. Тут жил Соколов-Микитов, старый, истинный русский писатель. Я приходил к нему вечерами и слушал его рассказы из старинного времени. И не дослушал. И не воротись. И незачем поворачивать в этот столь же знакомый и родственный мне, как дом моих стариков, дом на Московском проспекте. Одинок, дико в литературе брести на ощупь, без родословной, без мудроглазого деда, очевидца и действующего лица истории.

Литературные деды — разные; в той же мере, как разнятся их литературные внуки. Но я не верю в эмансипацию внуков. Просто кто-то по невежеству или душевной косности проглядел собственного деда, пустился во все тяжкие, не сверившись с родословной.

Как говорится, мы не Иваны, не помнящие родства. Родство мое с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым я отыскал для себя в литературном многогомые, не претендуя на права наследования. Мне мила и близка микитовская восторженная преданность живой телесности мира.

Материалистическое жизнеутверждение питало настоящую литературу во все времена. И Лев Толстой писал материальные реалии жизни как нечто глубоко духовное. И Хемингуэй был поклонником и художником плоти земной... И вот Иван Сергеевич Соколов-Микитов — лесной и морской бродяга, работник, художник, одухотворенный житель земли, никогда не отделявший радость мысли, прозрение ума, напряжение таланта от материальной основы мира. Как в библейские времена...

Беру один из томов Соколова-Микитова, читаю там, где раскрылось: «Яркие голубые дни. Синее море. Яркое и горячее солнце, от которого больно глазам. Синие

звездные ночи и ночные вахты, когда на рассвете, как это бывает в детстве, неудержимо клонит в сон. Восход и заход солнца, всякий день по-особому прекрасный. Босфор, берега, туманы. Штормы и бури. Города и встречи. Пестрое многолюдство. Чарши и ошеломительная Галата. Кубрик, матросы, матросские разговоры — о далекой и милой России, о женщинах. О женщинах больше всего. . .

Всякий раз, как приходим в Константинополь, я одеваюсь и ухожу на берег. Я переплываю в легкой лодочке залив и иду знакомой дорогой. . . Вот белая, облупленная, освещенная солнцем стена. Вот зеленая, открытая широко дверь, на которой висит вместо вывески новый грубый мешок. Вот в тени лабаза, низко нагнувшись, сидит над работою женщина. . . Я смотрю на нее и опять чувствую, как падает и бьется сердце. Но боже мой, какие синие-синие глаза! . . .»

Я знаю, помню эту новеллу: любовь к синеглазой турчанке, и невозможность любви, и нож с длинным, злым лезвием — чтобы достать сердце врага, и много-много солнца.

Сюжеты своих книг, саг и новелл Иван Сергеевич Соколов-Микитов пережил вначале в собственном сердце. Художественному его таланту сопутствовал талант человеческий: смелость, душевная широта и здоровье, завидная сила чувствования и неумемное любопытство к жизни. Счастливец, он плавал в морях, бродил по земле, чуя силу ее тяготения. . .

Когда среди тысяч парадных на Московском проспекте я различил подъезд старейшины русской литературы дедушки Соколова-Микитова и поднялся к нему в кабинет на четвертый этаж, когда в чередѣ моих дней возникли независимые от времени, исполненные многознания, добросердечия и мудрого лукавства беседы за столом Ивана Сергеевича, мое прошлое вдруг приблизилось, предстало во плоти. . .

Несусь по узкой асфальтированной дороге. Жму, троплюсь, волнуясь. Читаю на синей стреле: «Карачарово». Высоко и неожиданно в вершинах леса вдруг проблескивает большая вода. Приехали. Волга. Шлагбаум с запретительным знаком. Въезд в Карачарово запрещен. Курортная зона. Запретная зона.

— . . . Ну что ты будешь делать, — сказал Иван Сергеевич Соколов-Микитов, — Мы теперь в зоне живем. Ког-

да строились, место пустое тут было, необжитое, а теперь зона.

— Может быть, даже и лучше,— сказала Лидия Ивановна,— хоть машин не стало, а то, знаете, сколько сюда наезжало из Москвы, из Конакова, из Калинин-на... Теперь закрыли въезд, хоть тихо стало.

— Да куда уж тише,— сказал Иван Сергеевич.— Как у Христа за пазухой.

Изменился Иван Сергеевич, борода его пострижена, не дымит в бороде трубка, на голове бархатная шапочка, глаза упрятаны за темными стекляшками. Опустились широкие плечи. Иван Сергеевич сидел за столом, что-то нашептывал диктофону, рассказывал, колдовал. Крутились диски...

— Вот шпиона мне подарили,— сказал Соколов-Микитов.— Лишнее что-нибудь болтнешь ненароком, он все запишет. И слух у него острый такой... Ну что ты будешь делать? Домашний шпион.

— Ванечка,— сказала Лидия Ивановна,— наши гости могут берегом Волги подъехать к нашему домику.

— Нескладно как-то петлять... Но нечего делать. Саша, внук мой, покажет дорогу.

Мы проехали берегом. Волга лучилась теплыню. Солнце гнало, топило в сосновых рощах смолу.

На подворье карачаровского домика не примята трава, не натоптаны тропы. Лидия Ивановна уже собирала на стол.

У меньшей моей дочки есть книжка «Карачаровский домик» — про трясогузок, синиц, кукушонка, пауков. Это — серьезная детская книжка. В ней уважительно гозорится о радостях и о драмах пичужьей, ежиной жизни. И радости эти, драмы похожи на наши, человеческие. В этой книжке нет сказок, словесных игрушек, веселой белиберды. Дети любят игру в словечки, но дети умеют серьезно слушать, переживать.

В нашем детстве мы плакали над «Серой шейкой» Мамнина-Сибиряка, и эти слезы не позабылись во взрослой жизни.

Соколов-Микитов не заставляет пернатых, четвероногих героев своих новелл говорить человеческими головами. Потому что у всякой твари есть собственный голос. Можно его услышать, как бы ни был он тонок. Только надо вначале стать добрым, понятливым в многоголом мире живой природы. Нужно научиться любви.

Каждая из маленьких новелл Соколова-Микитова

представляет собой похвальное слово зверю, пичуге или букашке. Даже в выворонных из порядочного общества пауках он находит черты совершенства, полезности и трогательной своеобразности характера.

«О пауках можно рассказать многое.

Пауки очень верно предсказывают погоду. Пойдешь, бывало, за грибами — длинная вязкая паутина липнет к лицу, к рукам. Это значит: надолго установилась ясная, хорошая погода.

Есть пауки — мастера и охотники.

Есть пауки — водолазы. Эти пауки спускаются под воду на дно неглубоких лесных ручейков. Вместо скафандра они уносят на своем брюшке большой пузырь воздуха, которым дышат под водою. . .

Есть пауки — быстроногие бегуны. Есть крошечные пауки-летчики, которые летают по воздуху на длинных, выпущенных из брюшка паутинках; как настоящие парашютисты, они пролетают большие пространства, перелетают широкие реки».

Рассказы Соколова-Микитова просты и поэтичны. Каждый из них — еще как бы маленький научный трактат. Соколов-Микитов приглашает взглянуть в живую природу, она проста и гармонична, и сколько таланта, фантазии, смысла в ее простоте!

«Карачаровский домик» написан в традиции классической русской литературы для детей. Так писал Лев Толстой. Так написал свою «Серую шейку» Мамин-Сибиряк. Таковы рассказы о животных Бориса Житкова, Михаила Пришвина.

Дети любят, когда бывалые люди рассказывают им всерьез о сущем, реальном мире. И взрослые тоже любят. Как бы ни усложняли, ни убыстряли, ни изощряли, ни отчуждали мы свою жизнь в городах, первопричина жизни — природа. . .

В карачаровском домике на берегу Волги сидит, наклонившись к уху диктофона, сивобородый дед. Писать он не может, не видит строчек. Но память его светла. Вращаются диски записывающего аппарата. Звучит над столом густой глуховатый голос. Ложатся на ленту слова. В очередных номерах журналов мы читаем новые рассказы Ивана Сергеевича Соколова-Микитова: «Галки», «Лебеди», «Ласточки», «Воробьи», «Журавли». И разглаживаются морщины на наших нахмуренных, озабоченных лбах. Мы чувствуем беспричинное, безымянное счастье. . .

Иван Сергеевич Соколов-Микитов никогда не заявлял о себе в печати сколько-нибудь громко. Его голос на протяжении десятилетий звучал в своем регистре, в собственной тональности. Он не умолкал, не срывался. Время и шумы, которыми наполнилось время, приглушали его порой. Он доносился как будто издали, из давней давности, заодно с голосами предшественников.

Литература омолаживалась. Иван Сергеевич старел. Книги его оттеснялись на полках новейшими книгами. Но старого мастера находили опять, обретали, открывали новые, молодые. Изумлялись его судьбе очарованного странника. Садилась к его столу. Беседа шла за столом, как у древних, возвышенно, мудро, и была она по-земному вкусна и приправлена перцем. Беседе способствовал старый екатерининский штоф.

Горький сказал однажды, что готов благословить хмельное зелье, когда оно зажигает в людях божью искру. И готов проклясть его, когда зелье гасит, темнит людские души. В литературных заметках о Соколове-Микитове обычно поминается штоф. Штоф стоит на столе — элемент ритуала. Он ходит по кругу, пустеет. Ивану Сергеевичу хоть бы что. Расправляются его плечи. Работает память. Он говорит интересней, вкусней:

— Помню, в тридцатые годы жила в Ленинграде писательница Нежина. Она всегда держала ежей. Мы собирались у нее, бывало. Разговаривали. Выпивали, закусывали. И вот, как вилками застучат, рюмками зазвякают, тут ежи вылезали из-под дивана. Рефлекс у них выработался. Водочки им давали выпить. На блюдечко нальют, они выпьют и под диван отправляются спать. Втянулись. Понравилось это дело ежам. . . И вот как-то раз, не помню уж кто, подшутил над ежами. Больше им влил, чем обычно, ну, может быть, грамм сто пятьдесят. Ежи, правда, выпили без остатка. И — ничего, вполне пристойно вели себя. Только один из них до гнезда не добрал, перебрал. Ежи всегда спят с поджатыми лапами, иглами защищаются. А этот, бедняга, как шел, так и растянулся, лапки наружу. Ночью крыса ему ноги-то и отгрызла. Вот такой грустный случай. Нравоучительный. О вреде пьянства. . .

А то еще помню, в Пермской области мы жили, в деревне, у Акинфьевны, у вдовы. И вот постигла такая беда Акинфьевну, что большей беды на деревне по тем временам и не придумать: индюшка ее только села на

яйца, да ненароком и померла. Чего склевала или пристукнул кто — уж не помню. Акинфьевна плачет. Ну что ты тут будешь делать? Не придумаешь, чем и помочь. Такое горе для деревенской женщины... Да. Тут соседка заходит, Акинфьевна жалуется на свою беду. А та говорит: «Ты, Акинфьевна, на яйца-то посади индюка. Налей ему водочки в клюв, он пусть выпьет, осоловет — и будет сидеть. А как протрезвеет, ты опять ему дай глотнуть. Как миленький будет, никуда не денется». Да... У нее, говорит, был такой случай.

Ну что ж, Акинфьевна в магазинчик сбегала за бутылкой, индюку в клюв влила, усадила его на гнездо. Он погрузился в нирвану — сидит за милую душу. И можете себе представить, высидел индюшат. Акинфьевна рада-радехонька. А индюк алкоголиком стал. Совсем спился с кругу. По деревне как малахольный бродил, пока не учуял, что место такое есть, где водочкой пахнет. У магазина по вечерам мужики соберутся, распивают на вольном воздухе. И он тут как тут. Ему нальют в какую ни есть плошку, он тяпнет — и с ног долой. В канаву завалится в крапиву и замертво спит. Как нынче пишут в газетах: пьянство к добру не приведет. Вот такая грустная история...

Может быть, эти свои истории Иван Сергеевич рассказал уже диктофону, внук Саша переложил их на бумагу, они сохранятся, не пропадут. Или предпочтение отдано другим историям, не слышанным мною. Память старого писателя полнится трогательными и поучительными, как притчи, сюжетами, картинами.

Соколов-Микитов за долгую свою жизнь был репортером, матросом, охотником, механиком на самолете, путешественником, участником арктических экспедиций. Жизненный материал накапливался в памяти, как седины в бороде. Перо его не поспевало за сюжетом биографии. Даже новейшая записывающая техника едва ли поспевает за памятью старого жизнелюба.

Лобастый, с запунцовевшим, большим и горбатым носом, полный мудрого лукавства, дед сидит за столом. Он опрокидывает граненый хрустальный стаканчик, накалывает на вилку грибок, приступает к хранимой в памяти притче:

— Изба у Акинфьевны большая была — в Пермской области, в эвакуации мы у нее жили. Сыновья ее все ушли на войну. Охотился я много тогда. Охота там богатая. И еще жила вместе с нами у Акинфьевны амери-

канка. Из Флориды приехала. Сын у нее был коммунист и пошел воевать с немцами. К нам он приехал. И она тоже приехала. И вот по утрам я выйду — хотите верьте, хотите не верьте — они сидят, две старухи, и вот разговаривают без умолку. Одна по-русски, другая по-американски. Я говорю: «Акинфьевна, а вы понимаете друг дружку?» — «А как же, — она говорит. — Понимаем, конечно. Об одном ведь мы с ней говорим».

Закончена притча. За столом легкий гомон. И опять воцаряется над голосами богато тонированный, глуховатый, необыкновенно дружелюбный, мягкий бас Соколова-Микитова:

— Война началась. Первая мировая война. Ну что ты будешь делать? Нельзя сидеть сложа руки. Я поступил на курсы медбратьев, у Витебского вокзала эти курсы были тогда. И вот, помню, прибыл первый эшелон раненых с фронта. Я в ночь дежурил, весной это было как раз. И врач была молоденькая такая девушка. Помню, в белом халате она, крахмальном. И гроздь сирени у нее к халату приколоты. Мы носим раненых, делаем перевязки. Один был солдатик совсем тяжелый, осколок ему попал вот в это место, порвал прямую кишку. Ну что ты будешь делать? Кровь бьет у него из раны. Мы знали, как кровь останавливать на руке, на ноге, жгуты накладывали, нас учили. А тут другое. И врач, эта девушка, растерялась. Кровь бьет фонтаном, весь халатик ее в крови. И сирень в крови. Как сейчас помню. Перебинтовали мы его. Послали за профессором на квартиру. Тот приезжает. Наркозу не было тогда. Только местная анестезия. Да. Разрезал он солдатика, зашил. Тот притих. Раненых много было, врач и профессор ушли, а я остался около солдатика. Тот тихо так говорит мне: «Дай покурить, затянуться разок». Я сигарку свернул, махорку мы тогда курили, зажег и дал ему. Он затянулся раз и другой. Я гляжу на него, он побледнел так, вытянулся. Отошел. Помер. На руках моих помер. Это первую смерть я тогда и повидал. А потом сколько было смертей — боже мой!

В этом рассказе, тогда еще не отредактированном, не написанном, Соколов-Микитов свел воедино те самые роковые вопросы, которыми задавался в своем творчестве и не мог разрешить: гроздь сирени на груди юной прекрасной девушки — и для чего-то пролитая кровь...

Иван Сергеевич помолчал, прекрасно понимая нуж-

ность паузы после такого рассказа, и повел беседу дальше. . .

— В семнадцатом году я жил на Васильевском острове. И Ремизов там жил. И Пришвин. Я в бескозырке ходил, а это лучше всякого пропуска было. Меня-то пускали везде. Матрос я был. . . Ну, что же, значит? . . Пошел я раз ночью к Неве посмотреть. Хоть редко, но выстрелы были. Из винтовок стреляли. Выстрелы двойло. В городе всегда выстрел двонт. Ну вот, дошел до Николаевского моста, там, видно было, стояла «Аврора». И тут на мосту толпились люди. И солдатик стоял с винтовкой. . . Это после уже началось — гражданская война, а в семнадцатом году тихо было. Солдатик стоит и вот так вот папаху себе насунул, на самый нос. Мы пригляделись к солдатнику: вроде как слезы у него по щекам бегут. Папаху-то подняли, глядим — это девка. Выставили ее мост сторожить. . .

Я сижу на берегу Волги, близко к воде. Низкий берег, по самому урезу чуть наклонились к Волге сосенки, березки. Одна сосенка растет, обнявшись с березкой.

В лесу — карачаровский домик. Светелка с дивами деревянного рукоделья, со смоленскими тканями орнаментами, с пеньками и сучками, с гнездом пеночки, с пестерем на стене, с глухарем на суку — он нахохлился, пропылился.

Усадьба вокруг домика вся позаросла кустами, цветами. Когда-то хозяин посадил малинник, он одичал. И слава богу, что одичал. Земля хоть где-то местами должна быть вольной, чтоб не корпели над ней, не вносили в нее химикатов, не собирали бы урожаев. Земля и все, что растет на земле, должны питать не только тело, но также и дух человека. Земле нужно отдышаться.

Волга плещется в берег. Стучит надо мною дятел. Детский садик разучивает песенку: «Сосны и березки, вишни и урюк — лес и сад ребятам самый лучший друг».

Внук Саша уехал вечером в лодке за Волгу. Лидия Иваѳовна волновалась всю ночь.

— Ну и что же, — говорил ей дед Иван, — я в девятнадцать лет в Африку подался. Что ж тут такого? Это естественно.

Парус на Волге. . . Нужно мне уезжать. . .

— Мы ездили с зятем в Ригу,— рассказывал вечером Соколов-Микитов.— Ну, что такое? Ехали быстро, дороги не видно. И птиц не слышать. Ну что ты будешь делать? «Остановись, бога ради»,— прошу я зятя. Он остановил машину. Вижу, лягушка прыгает через дорогу. Я так ей обрадовался. Живая тварь. Я поцеловал эту лягушку.

Гляжу на Волгу, на дальний заволжский берег. Что там? Что значат тамошние избушки, и луговины, и лес?

— Там есть такие деревни,— рассказывал Иван Сергеевич,— куда в мокрое лето и не попасть. На островах они посреди озер. Живут в этих деревнях не скажу что богато, но сносно. Клюквой живут. Клюква нынче в цене. Клюкву они продают в Саратове на базаре. Ну, и в других городах. Мы были там как-то с Твардовским. Он написал об этой поездке в журнале. И я написал. Давно было дело. Ну, приняли нас, самогоном угостили. Клюквой они подкрашивают самогон. И все мужчины у них имеют своеобразную внешность. Все лысые, и носы у всех длинные. Походят на куликов. Болотные люди. Да... И еще обычай у них тогда был. Теперь-то не знаю... Я нехорошее даже подумал вначале. После гулянки там все расходятся по деревне парами. И все несут по подушке. Вместе парни с девушками отправляются спать. Я нехорошее подумал... А оказывается, нет. Это у них такой обычай есть. Если парень на девушку посягнет, дотронется до нее, она его растерзает. Или там расцарапает. Прежде чем пожениться, они присматриваются друг к другу, выбирают. Спят рядом. Прислушиваются. А потом уже женятся. Не знаю, может, сейчас и не так...

Вечером мы с женой ездили по Сычовской дороге в село Днепровское к директору совхоза Доброву. Директор совхоза в таких же летах, как я. Нос у него длинен, с горбинкой — соколовско-микитовская порода. Он доводится племянником Ивану Сергеевичу. Лицо у директора овальное, багровое от солнца, доброе, толстые губы, округлый подбородок. Директор Добров — в коричневой кепке, в синем пиджаке, в галифе. У него в совхозе 16 тысяч гектаров пашни.

«Он где-то там, под Сычовкой,— наказывал нам карачаровский дед Соколов-Микитов,— бог его знает, за-

был, как деревню-то зовут. Вы спросите, его там все знают. Добров его фамилия. Женя Добров. . .»

Мы спросили, и нам показали директорский дом. Ночевали мы в доме Добровых, в светелке на чердаке. Были нам предоставлены тулупы на случай внезапной зимы. Был принесен снизу огромный приемник для спасения от сельской скуки. Но ни зима, ни скука не постигли нас в эту темную, теплую августовскую ночь.

Утром, на двух машинах, мы отправились к истоку Днепра. Когда совсем прохудилась дорога, пересели в одну машину, в директорский газик. Но и эта машина не привезла нас на самый исток. Днепр начинается в болоте, исток его обозначен колодезным срубом. Мы приехали к Днепру, когда он протек свои первые двадцать километров, достиг своей первой деревни — Слепцова. Днепр здесь был тихий-тихий, дремучий, в кувшинках, мутно-зеленоватый. . .

К истоку Днепра меня привез племянник Соколова-Микитова, коренной смоленский мужик, чем-то похожий на своего дядюшку, хотя и совершенно другой — директор совхоза. . . Как бы то ни было, отъехав от Карачарова на добрые двести километров, переместившись с берега Волги на берег Днепра, я по-прежнему ощущал какое-то незримое присутствие здесь, на этих срединных русских землях, карачаровского деда. И самое слово «исток» наводило на мысль о судьбе, о книгах, о личности Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. . .

— Я пришел в Ясную Поляну, — помню, рассказывал Соколов-Микитов. — Это было в двадцатом году. Солнце только всходило. Усадьба была пустая. Внучатая племянница в ней жила Льва Николаевича. Встретила она меня ласково. Привела в кабинет Льва Николаевича, там все было, как будто вот только хозяин вышел. Я сел к столу и что-то такое стал замечать особенное. Так-то все известно по литературе — вот кабинет, на столе книжка раскрытая: «Братья Карамазовы». А у кресла, гляжу, ножки подпилены. Лев Николаевич не признавал очков, а видеть-то плохо стал, ножки у кресла подпилили, чтобы ближе к столу наклоняться.

Да. На могилу я пошел к Льву Николаевичу. Красиво так, тихо, раннее утро. Гляжу, вокруг могилы подметает землю высокий мужик с бородой. На Тургенева он похож — кучер Льва Николаевича, Бумажки всякие вы-

метаает, мусор. Он остановился и как-то так прямо, долго глядел на меня. И сказал: «Приходят сюда, водку пьют, бутылки разбивают. Вот так-то...»

Прошли годы. Иван Сергеевич Соколов-Микитов делил свою жизнь между Москвою и Карачаровом. Кто бывал у него, говорили, что он скучает по городу своей молодости Ленинграду. Я не видался с Иваном Сергеевичем, но знал, чувствовал, что он есть, обращался к нему мыслью и сердцем. Посылал ему свои книги и знал, что надо мне побывать у него, что время, проведенное подле Соколова-Микитова, — такое время, по которому можно сверять ход собственной жизни.

Однажды я гостил в Дубне у моих друзей-физиков. Спустился на причал к Волге, прочитал расписание местных рейсов. В расписании значилось Карачарово. Я тотчас купил билет на «метеор» и неожиданно для себя, словно по шущьему велению, вдруг обрел карачаровский домик. Все было новым вокруг, поднялись этажи зданий на берегу Волги, а домик остался таким, как был, сад еще больше зарос, одичал.

Иван Сергеевич походил на свой дом, он как будто врос в землю, еще больше посеребрился от пронесшихся над его головою шквалов и бурь. Ноги плохо носили его. Только в голосе, как бывало, булькал чистый вешний родник, звучали нотки необычайно богатого, глубокого тембра.

Я бодрился, а что же еще оставалось?

— Может, быть, сбежать, Иван Сергеевич, в магазинчик?

— Это можно. Сбегайте. Вы еще молодой.

...Вино уже не веселило великого жизнелюбца. Иван Сергеевич был вместе со всеми, и куда-то он уходил, удалялся — в такие дали, где никто не бывал. Он вдруг погружался в оцепенение, сидел нахохленной птицей, надолго умолкал. Однако слышал, что говорили другие, вставлял вдруг слово по ходу беседы. Беседа, по правде говоря, то и дело спотыкалась, рвалась; все в этом доме причастны были тому главному, что совершалось с хозяином дома. Иван Сергеевич присутствовал за общим столом, но бытие его уже соприкасалось с небытием.

...Когда я пилил ольховые жерди ненаправленной пилой-ножовкой во дворе карачаровского домика, когда колол их незаклинненным топором, когда бегал на Волгу:

по воду, я горько плакал. Исполняя сей горестный труд, я знал, что нет в мире такого тепла, такой печки, чтобы согреть остывающую душу Ивана Сергеевича, и живая вода из Волги не продлит его жизнь, так нужную мне...

Самым непосредственным образом в течение многих лет служил мне примером литературный и человеческий опыт Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Он прожил завидно долгую жизнь, но мало кто его видел, особенно в последние два десятилетия. У него будто и не было жизни, судьбы, отдельной от его книг — страннических, подвижнических, лесных или морских, среднерусских или северных, всегда пронизанных, освещенных, согретых глубоко личным отношением ко всему живому, дающему жизнь, будь то земля, вода, лес, поле, зверь, птица, лик человеческий или душа, характер, обычай народный, история, слово.

Долгие неторопливые беседы с этим человеком, дошедшие до наших дней не только память о своих великих современниках, но и самый дух — бестрепетный, бескомпромиссный — традиции русской классической литературы, значили для меня, быть может, не меньше, чем весь пройденный до того курс литучебы. В заросшем, одичавшем и прекрасном своей одичалостью саду возле карачаровского домика Соколова-Микитова, на берегу летней Волги, я записывал то, что мне говорил дедушка русской литературы, а также и то, что я думал, вслушиваясь в необыкновенно глубокий, богатый оттенками его голос, что видел, вглядываясь в заволжскую синеву.

...Когда я нес на плече, по узеньким лестницам, с десятого этажа московского дома на улице Мира, гроб с телом Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, ноша была легка, но память о ней, телесная память, до сих пор остается в моем костяке — вес утраты. И что больше всего поразило меня, когда мы спустились на землю, выехали со двора на проспект, — дом напротив, в боковой улочке. Из этого дома несколько месяцев назад ушел навсегда в иные миры Василий Шукшин.

Два русских писателя разных поколений, но одной закваски жили друг против друга в большой серокаменной Москве и не знали про это, ни разу не повидались при жизни...

В изданную после смерти Соколова-Микитова книгу воспоминаний «Давние встречи» включены страницы его

записных книжек. Есть в них с наибольшей душевной полнотой и непосредственностью высказанная, программная для всего творчества, для всей жизни писателя заповедь: «Никогда, никогда не должно быть праздным сердце,— это самый тяжкий порок. Полнота сердца — любви, внимания к людям — первое условие жизни, право на жизнь».

И еще: «Художник — даже с малым, но истинным талантом — не может жить только для себя. Сердце его принадлежит людям. В этом его счастье и оправдание. . . Разве не чудо: биение моего сердца слышат тысячи людей! Самый страшный, смертельный грех для художника, его окончательное падение — ложь».

Иван Сергеевич писал, пока мог, почитая грехом для себя как художника унести в небытие хоть крупицу той правды, которой свято служил: «Стою, как старое дерево, у дороги. Уже давным-давно выжжена вся сердцевина,— ветер подует, и рухну. А все еще зеленеет веточка, теплится жизнь. . .»

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Есть книги, к которым — по прошествии лет — хочется возвратиться, сызнова их прочесть. Дело здесь не только в личных вкусах и потребностях, но также и в запросах времени. Есть книги, написанные как бы для потомков, в предвидении насущных завтрашних забот, общественных и культурных, художественных.

Именно таковы книги Михаила Пришвина.

Созданные в первой половине века, его книги сегодня заново обретают если не злободневность, то некую особую пленительность, обаяние. Потому что в них содержится живительный кислород чистопробного русского народного языка, оплодотворенного артистизмом таланта. Согласимся, что в нынешней нашей литературе заметным становится кислородное голодание — именно в смысле художественной недостаточности языка.

Сегодня читать книги Пришвина — в ряду других современных книг — все равно что попасть из большого каменного и железного города в лес на лужайку. Согласимся и с тем, что в наше время стремительного роста городов, всеобщей механизации, урбанизации и прочего лес и лужайка становятся не досужей прихотью горожанина, а непременным условием самой жизни, Глоток

свежего воздуха приобретает все большую цену не только в телесном, но и в духовном смысле.

Воздух — первооснова жизни; слово, язык — первооснова литературы.

О языке Пришвина высказано в свое время немало похвал. Вспомним хотя бы некоторые из них. «Это, конечно, поэзия, но и еще что-то». Так отозвался Александр Блок о первой книге Пришвина — «В краю непуганых птиц». «Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лед, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобным течению звезд». Так написал о Пришвине Паустовский.

Сам Михаил Михайлович Пришвин во всех своих книгах щедро делился с читателями секретами ремесла, не боялся декларировать творческое кредо, как принято теперь говорить, обнажал технологию, метод, прием. «В моей борьбе вынесла меня народность моя, язык материнский, чувство родины, я расту из земли, как трава, и цвету, как трава, меня косят, меня едят лошади, а я опять с весной зеленею и летом к Петрову дню цвету. Ничего с этим не сделать, и меня не уничтожат, только если русский народ кончится, но он не кончится, а может быть, только что начинается». Эти слова — из книги Пришвина «Глаза земли».

А вот высказывание писателя на эту же тему из другой его книги — «Дорога к другу»: «Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что, не мудрствуя лукаво, сердцем слушая время, в тесном общении с простым человеком и с томиком Пушкина, можно сделаться отличным писателем».

На протяжении всей своей творческой жизни Пришвин книги писал, а сам подглядывал за собою, пишущим, и вопрошал себя: почему я пишу, как, о чем, для кого? И вопросы к себе и ответы он вплетал в ткань своих произведений. Они органичны для этой ткани, неотделимы от нее. Суть ответов всегда сводилась к общему корню: язык русский, народ русский, природа русская.

Но если на всякий вопрос находился ответ, то для чего и задаваться вопросом? Но Пришвин спрашивал неустанно, даже в самом конце, на восьмом десятке лет жизни. Потому что всегда за пределом ответа оставалось «что-то еще». Однажды он записал в дневнике:

«Как Лев Толстой, я бы мог написать, а как Гоголь — не мог». Только не нужно торопиться обвинить Пришвина в безудержной самонадеянности. Отважившись меряться силами с Львом Толстым, он имел в виду предельно простые, нравоучительные, хрестоматийные рассказы Льва Толстого для детей. Таких рассказов Пришвин и сам написал немало, опираясь на опыт Льва Толстого. Право же, мог он на старости лет позволить себе померяться силами с учителем.

Что касается Гоголя, тут для него неразгаданным оставалось таинство творчества, как для алхимика — секрет философского камня. Именно это постоянно влекло его к Гоголю. И в собственном творчестве, эмоциональном до импульсивности, язычески-страстном и в то же время весьма и весьма рационалистическом, подверженном непрестанному авторскому надзору, писатель стремился выйти за пределы познанного, освоенного, найти собственный философский камень, сказать нечто неведомое доселе, придать словам необычное звучание, самобытную оркестровку.

Книги Пришвина — это «езда в незнаемое» в самом буквальном смысле. Одну из ранних книг он так и назвал — «За волшебным колобком». Вначале путешествие, потом книга. Пришвина влекло за пределы обывательского, в страны невиданные. Русский Север, Заонежье, Беломорье, затем лесное Заволжье, Ветлуга и Унжа, край старообрядчества, раскольниковских скитов. Из Заволжья он привез книгу «У стен града невидимого». Затем казахские степи и книги «Адам и Ева», «Черный араб». И наконец Дальний Восток и, может быть, главная книга Пришвина — «Корень жизни».

Путешествия Пришвина, или, как сказали бы теперь, его «творческие командировки», могли бы стать предметом отдельного исследования, разговора, весьма плодотворного для современного писателя, чуть ли не ежегодно отправляющегося в путь за новым литературным материалом, как рыбак за уловом. На основе путевых, мимоидущих впечатлений Пришвин создавал книги непреходящего художественного и философского значения. Ему удавалось помирить музу журналистики с музой высокой поэтической прозы. Согласимся, что мало кому удается такая творческая амальгама. Богу богам, а кесарю кесареви.

Верный обычаю творческого самоотчета перед читателями, Пришвин и здесь без усталости растолковывал

свою методу: «Путь исследования журналиста в моем творчестве сопровождался все время, с одной стороны, расширением кругозора до того, что в дело пускается все прожитое, прочитанное и продуманное, а с другой — поле зрения сужается исключительным вниманием, со страстью сосредоточенным на каком-нибудь незначительном явлении, и от этого почему-то чужая жизнь представляется как своя...»

Итак, отправляясь в путешествие за новым материалом для будущей книги, Пришвин не столько уповал на новизну географического, этнографического или другого материала, сколько на глубину, интеллектуальную развитость, философскую, научную, житейскую и иную экипировку собственной личности. Он любил и умел собирать материал, путешествуя следом за «волшебным колобком», усвоил себе целую систему творческого поведения в странствии, но в то же время остерегал себя, требовал «противопоставить подлинность своей души, своего личного опыта дешевой лигатуре заданной темы».

«Всякие мои исследования начинаются от себя самого, я тему свою, как пустую бадью, опускаю в свой колодец и, если бадья пустая, бросаю эту тему, как мертвую. А если из колодца приходит вода, то я снявший материал опрыскиваю этой живой водой, и тогда отчего-то забываю себя».

В книгах, статьях, посвященных творчеству Пришвина, изрядное место всегда занимают цитаты из пришвинских книг, дневников, автохарактеристики. Пришвин облегчал задачу своим истолкователям, истолковал себя сам. Но сколь бы ни были полны автохарактеристики Пришвина, всегда остается «что-то еще», не сказанное и едва ли до конца постижимое, тот самый «свой колодец», куда надобно погрузить бадью, взыскав «живой воды». Читая и перечитывая Пришвина, поражаешься глубине и сложности мира его чувствований, мыслей, совершенству, изысканной простоте его стиля.

В статьях о творчестве Пришвина прослеживается некая тенденция упрощения. Оно и понятно: сам писатель — на протяжении всей жизни в литературе — звал к простоте, декларировал простоту. В его дневниках последних лет есть такая запись: «Испытанием таланта писателя может служить маленькая вещичка, годная в детскую хрестоматию». Это все так. Но простота Михаила Пришвина особого рода. Тут мне снова не удержаться от цитаты (таков Пришвин, он все обдумал наперед,

за своих будущих критиков): «Приближаюсь понемногу к Аксакову, но у него дается простота его правдой, а у меня искусством!»

Просты сюжеты пришвинских сочинений, язык исполнен мудрой, чуть-чуть лукавой простоты исконного русского народного говора. Но ни в одной из своих книг писатель не растворяется в стихии областнических речений. Нигде он не подражает народному языку, не воспроизводит его натуралистически, не упрощает, не калькирует, а заново создает — на народной основе — свой собственный, пришвинский язык — и в этом видит сердцевину искусства. «Защищая форму, я требую от писателя прежде всего языка».

Язык Пришвина — это особый мир, со своими законами стиля, гармонии, ритмики, тонировки. Чтобы хоть отчасти понять и проникнуть в него, нельзя довольствоваться автохарактеристиками писателя. Нужно обратиться к биографии Пришвина в широком смысле, вспомнить, что пришел он к искусству слова далеко уже не молодым, перевалив за тридцать, имея за плечами разностороннее европейское образование, опыт научной и практической деятельности, немалый житейский багаж. То есть, прежде чем стать писателем, Михаил Михайлович Пришвин основательно экипировался, усовершенствовал, образовал, отшлифовал, углубил свою человеческую личность, насколько это было возможно по тем временам.

Об этом полезно помнить: опыт Пришвина-литератора включает в себя как неперемное изначальное условие высочайшую образованность, многознание, если угодно, интеллигентность, владение не азами, а самой сущностью культуры своего времени.

В самом начале была деревня Хрущово, Соловьевской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии. Здесь Михаил Пришвин родился, в семье мелких землевладельцев-помещиков, выломившихся из купеческого сословия. На память невольно приходят достославные имена литературных земляков Пришвина: Тургенев и Фет, Лесков и Тютчев, Бунин и Леонид Андреев. И до Ясной Поляны от Хрущова рукой подать. На черноземной почве подстепной срединной Руси на протяжении полутора столетий вырастали литературные злаки, буйные, колосистые. Тут поистине кладовая, хранилище семенного фонда полновесного, животворного русского слова. Да вот и нынче, раскроем одну из книг курянина

Евгения Носова «Берега» или книгу орловца (живущего в Ленинграде) Алексея Леонова «Ходят девки» — мы найдем в них ладный, певучий, вполне народный и в высшей степени художественный русский язык.

Но это — предмет особого разговора.

Михаил Пришвин учился в Рижском политехникуме, здесь он вступил в марксистский кружок, перевел на русский язык «Анти-Дюринг» Энгельса и книгу Бебеля «Женщина и социализм». Заключенный в одиночную камеру Елгавской тюрьмы за марксистскую пропаганду, взирав на божий свет сквозь крохотное зарешеченное оконце, погружаясь поневоле в мир собственных мыслей и ощущений, — быть может, впервые подумал здесь будущий писатель о том, что такое и одновременно очищающей обязанности самоограничения. Впоследствии он скажет об этом так: «Как воздух от сжатия становится твердым, так человек от самоограничения — свободным».

После тюрьмы доступ в русские учебные заведения оказался закрытым для Пришвина. Он едет учиться в Германию, поступает на агрономическое отделение философского факультета Лейпцигского университета. Биографические материалы М. М. Пришвина свидетельствуют о том, что годы учения в Лейпциге явились для него также временем целенаправленного, неукротимого самообразования. Пришвин читает Спинозу, Канта, Ницше, основательно штудировал Гете, постигает образный строй вагнеровской музыки. Все это очень пригодится впоследствии Пришвину-писателю.

Не будем гадать, когда, в силу каких именно жизненных обстоятельств поэт лирико-романтического направления взял в Пришвине верх над ученым-агрономом. Юноше Пришвину предстояла еще жизнь в Париже, этот «праздник, который всегда с тобой», и роковая любовь на парижских бульварах, без счастливого исхода. Образ, бремя этой любви Пришвин пронес с собою по жизни, не захотел с ним расстаться.

По возвращении на родину он работает агрономом в уездах Центральной России, сотрудничает в Тимирязевской академии в Москве. Первая его печатная публикация — брошюра «Картофель в полевой и огородной культуре». Написал ее Пришвин в пору службы на опытной сельскохозяйственной станции «Заполье» в Луге, заштатном городишке под Петербургом.

Надо думать, в Петербург Пришвина привел не столько интерес к картофелю, сколько подспудное, все

более настоятельное тяготение к миру литературы и, естественно, к центру этого мира. В 1906 году напечатан в одном из петербургских журналов его первый рассказ для детей — «Сашок», в 1907 году появилась первая книга — «В краю непуганых птиц». Эта книга северных очерков представляет не только интерес литературный, но и географический, этнографический, фольклорный. За нее Пришвин получил звание действительного члена Российского географического общества и серебряную медаль.

Михаил Михайлович Пришвин не стал агрономом, но агрономическая практика, знание естественных наук дали Пришвину-литератору возможность равноправного братского общения с миром живой природы. Не стал он и этнографом-фольклористом, но опыт записывания народных речений, песен, сказок, былин служил ему всю жизнь путеводным «волшебным колобком».

В Петербурге Пришвин сошелся с кругом литераторов, пользовавшихся славой декадентов, прежде всего с Алексеем Ремизовым. И декадентом Пришвин тоже не стал, но нашел чему поучиться в литературной школе Ремизова — виртуоза изощренной словесной формы.

Тогда же на долгие годы завязалась творческая дружба Пришвина с Горьким; она всегда служила Пришвину самой надежной опорой — идейной, литературной и чисто житейской, человеческой. Тут уместно вспомнить один из отзывов Горького о языке Пришвина: «После Н. С. Лескова в нашей художественной словесности не было такого тонкого мастера. Но Лесков гениально владел речью рассказывающей, а Пришвин совершенно изумительно владеет изображающей речью. Он действительно «лепит». Его фраза жестикулирует, слова думают».

Незаурядная литературная искушенность, глубина и обширность знаний, способность анализа позволили Пришвину в годы творческой зрелости, полного владения своим талантом обрести сознание равноправия на литературном Олимпе. В этом отношении характерна лирико-философская миниатюра из поэмы в прозе «Фацилия», написанной в пятидесятые годы, незадолго до смерти писателя. Она называется «Гете ошибся»: «Первый раз обратил внимание, что иволги поют на разные лады, и вспомнил мысль Гете о том, что природа создает безличное и только человек личное. Нет, я думаю, что только человек способен создавать, наряду с духовными

ценностями, совершенно безликие механизмы, а в природе именно все лично, вплоть до самых законов природы: даже и эти законы изменяются в живой природе. Так не все верно говорил даже и Гете».

Пришвин не испытывал пиетета перед светилами мировой литературы, будь то Толстой или Гете; столь же трезво — реалистически — он относился и к собственному творчеству. В дневниках его есть такая запись: «Без философии можно обойтись в жизни. Но без юмора живут только глупые». Постоянно подвергая анализу свое жизненное, творческое поведение, Пришвин оставил нам самооценки, полные юмора, иронии, а также и горечи разочарования, сомнения, неуспеха.

Революцию Пришвин понял не сразу, пришел к ней не вдруг. В годы войны, разрухи, безвременья, не видя творческой и общественной перспективы для себя как писателя, он пробовал осесть на земле, крестьянствовать, учительствовать. Но из этого толку не получилось. Фиксируя в записях, в дневниках каждое новое состояние своего духа, определяя ориентиры социального местопребывания себя как личности в каждый новый исторический момент, Пришвин оставил нам — в ряду других — и такую запись: «...будучи типичным заумным русским интеллигентом, в конце концов я должен был как-то материализоваться в жизни. В известном возрасте вопрос о материализации своей личности становится ребром, иначе жить невозможно».

«Материализация» осуществилась в годы советской власти, когда писатель впервые смог ощутить общественную потребность, нужду в своем таланте, в труде художника слова. Талант кристаллизовался, обозначилась сфера применения духовных сил писателя. Пришвин утвердился в сознании читателей как певец русской природы. Правда, он природу воспел, но не как средство спасения от «грядущего молоха», не в духе отшельничества и пейзажизма, а как неотъемлемую, жизненно необходимую, не только материальную, но и духовную, философскую, художественную ценность — одну из ипостасей человеческого бытия.

Теперь писателю нет нужды отправляться за материалом для своих книг за тридевять земель. Многие годы он живет в самом центре России, в Московской области, в лесных селах, на берегах рек и озер, встречает каждый рассвет, каждое явление солнца под открытым небом, в росистой траве; ни один рассвет не похож на

другой. Он слушает говор местных людей, коренных русских жителей, живет одною с ними жизнью,— и это довольно ему, чтобы быть счастливым, удачливым в творчестве.

«Мой жизненный путь в искусстве слова мне представляется прогрессивно восходящим, и в каждый данный момент я знаю, куда мне надо идти... На первой ступени этой лестницы, мне казалось, я покидаю свою родину, стремясь найти ее лучше в какой-то другой стране, в каком-то «Краю непуганых птиц», в какой-то земле, где иду я за волшебным колобком...»

Мне казалось тогда, что я шел скорее мира, и догонял его, и брал из него то, что мне надо было. Но с некоторого времени... у меня переменялось мироощущение, как будто я стал, а мир пошел вокруг меня...

А пишу я о природе потому, что хочу о хорошем писать, о душах живых, а не мертвых».

Тенденции и законы движения художественной литературы в чем-то схожи с законами живой природы. Когда попирают законы, установленные природой для себя, природа скудеет — в ущерб человеческому обществу, современникам и потомкам. Когда порывается связь литературы с природной почвой, со стихией творимого народом языка, скудеет литература. Безъязыкость — первый признак ее упадка.

В последние годы, да и в прежние годы тоже, немало сказано и написано слов о неизбежности упрощения, осреднения языка, о низведении его из категории художественной на уровень служебного, функционального средства передачи информации — якобы в силу прогресса цивилизации. В подтверждение этих прогнозов написана и пущена в обиход тьма тьмущая книг безъязыких.

Но лучшие наши книги сегодня, как и во все времена, и хороши-то прежде всего своим языком — русским, народным, национальным, живым, рожденным в тесном общении с родной природой. Они свидетельствуют никак не об утрате языковой культуры, а, наоборот, о возрождении, что ли, языка, о пристальном внимании современных наших писателей к искусству слова, к языковой традиции русской классической литературы.

Тут есть чему поучиться у Михаила Пришвина. Быть может, сегодня как никогда полезно перечесть его книги, побывать в запасниках самоценных, не потускневших от времени пришвинских слов,

Думаю о Михаиле Леонидовиче Слонимском, просто так, без причины, в разное время года и суток. Михаил Леонидович, уйдя из жизни, оставил по себе не подверженный выветриванию или коррозии духовный мир отдельной, неповторимой, не исчезающей за давностью лет человеческой личности. Мысли? Да, и мысли тоже. Но мне трудно было бы воссоздать изреченные им некогда мысли. Книги? Да, книги, конечно. Но книги этого писателя я прочел спустя годы после того времени, когда Михаил Леонидович был жив, жил в одном со мной городе, когда я разговаривал с ним и чего-то ждал от него.

Я был молодой, начинающий автор и ждал похвалы, поощрения своим скромным трудам. Слонимский прочитывал то, что я ему приносил, разбирал прочитанное, находил такие слова, какие нужны были мне, чтобы поверить в чуть брезжившее писательское призвание. Поверить — значило сделать выбор, а в выборе чудился риск, на карту ставилась целая жизнь, в ту пору совсем еще не прожитая.

Михаил Леонидович сидел у себя в кабинете — в очень писательском, хотя и небольшом кабинете, — в писательском доме на канале Грибоедова, в центре города, коему суждено было стать действующим лицом отечественной — и мировой литературы. В очень литературный мир я попадал, приходя в кабинет к Слонимскому.

Хозяин кабинета курил папиросы, предварительно засовывая в мундштук приготовленную ватку. Сигареты с фильтром в ту пору еще не изобрели; когда же они появились, Слонимский жег их как-то особенно сладостно, окутывался дымом и говорил, одновременно улыбаясь и глядя с печалью, которая поселилась раз навсегда в его необыкновенно выразительных, больших, темных, блестящих глазах. Глаза Слонимского представляли собою главное, доминанту в его облике, и, кто бы о нем ни писал — о молодом Слонимском или же убеленном сединами, — в центре портрета оказывались глаза. Взгляд Слонимского я не помню чтобы когда-нибудь был потухшим, из глаз его лился, как говорят, тихий свет, особенно заметный в полумраке кабинета: в любое время года кусок ленинградского неба в окне не баловал яркостью красок.

Я приходил к нему для того, чтобы услышать оценку очередной своей повести или рассказа. Так было заведено, дозволено мне и другим участникам литературного объединения при издательстве «Советский писатель», руководимого в начале шестидесятых годов Михаилом Слонимским (первым руководителем этого объединения был Леонид Рахманов; объединение работало добрый десяток лет с отлаженностью хорошо поставленной школы и с внутренней свободой союза единомышленников). Прежде чем отдавать вещь в журнал, приносили ее на канал Грибоедова; Михаил Леонидович не отказывал, брался читать, тратил время и силы души так, что, казалось, вся жизнь его в этом; какой-то собственной писательской жизни словно и не было у него. Впрочем, мы, начинающие, и не думали о таких вещах, нам нужно было «добро» Слонимского, тогда легче разговаривать с журнальным, издательским редактором, и ежели мнение редактора расходилось с мнением Слонимского, прав был, конечно же, Михаил Леонидович! А как же иначе? Мы знали, что Михаил Леонидович был секретарем издательства, возглавляемого Горьким, состоял, выражаясь по-современному, в литобъединении «Серапионовы братья», бок о бок с Константином Фединым, Николаем Тихоновым, Николаем Никитиным, Всеволодом Ивановым, Михаилом Зощенко. . .

Может статься, Слонимский не то чтобы переоценивал наши скромные труды, но чуточку выдавал нам лишку, авансом. Он уповал на будущее. Щедро тратя себя на чтение рукописей молодых, на беседы с ними — в литобъединении или у себя дома с глазу на глаз, Михаил Леонидович руководствовался усвоенным им, должно быть, в годы собственной литературной молодости законом товарищества. Он никогда не становился в позу учителя, мэтра, уважая в каждом ступившем на писательскую стезю прежде всего дар художника, не уставая удивляться и радоваться появлению нового, молодого, идущего вслед за тем, что было; может быть, даже и отрицающего какую-либо зависимость от былого, но непременно родственного ему. Слонимский не склонен был подразделять вечно движущуюся, обновляемую нашу литературу на поколения, направления, ветви, периоды и т. д. Став действующим лицом или, как говорили когда-то, активным штыком советской литературы в первую пору ее становления, он сразу усвоил себе еще и роль, ну, что ли, садовника: трудаясь на писательской ни-

ве, и почву рыхлил для других, и подпорки прилаживал, если надо; под пологом вызревших злаков выращивал новые всходы. Эти обязанности он неукоснительно выполнял в течение полувека.

Тут уместно вспомнить слова из письма Горького совсем еще молодому, начинающему прозаику Слонимскому (письмо помечено октябрём 1922 года): «Я знаю, что среди Серапионов вам выпал жребий старшего брата, «хранителя интересов и душ» братии. Это трудная и неблагодарная роль, но это почтенно и необходимо. И ваше стремление сохранить дружескую связь, цельность братства возбуждает у меня к вам чувство искреннейшей благодарности, уважения».

Горький увидел в двадцатипятилетнем Слонимском главные, определяющие свойства его личности, с гениальной прозорливостью предрек ему именно ту судьбу — «жребий», — которую писатель исполнил, ни разу не поступившись усвоенным в молодости нравственным кредо советского литератора. И в шестьдесят и в семьдесят лет Михаил Леонидович был все тем же «хранителем интересов и душ» писательского товарищества. Он почитал литературный труд делом не только глубоко индивидуальным, но еще и проникнутым духом взаимности, преемственности. Ему было в высшей степени свойственно чувство локтя в литературе. С годами группировавшаяся вокруг Слонимского литературная молодежь не редела, скорее приумножалась.

Это объясняется прежде всего его особенной, бескорыстной, свободной от пристрастий, поражающей своим постоянством любовью к литературе. Вообще писателей можно поделить на две категории: одни любят в литературе свою, пусть малую, долю участия, свои сочинения, то есть самих себя, а после уже все другое. Это бывало свойственно и большим талантам, и средним, и вовсе крохотным. Другие — и это особенный дар — любят литературу прежде самих себя в ней и служат общелитературному делу, радуются биению чужого таланта, как собственной удаче; если надо, пестуют его, горюют, когда талант изменяет себе, начинает петлять ради выгод, ступает на протоптанный до него путь. Это бывает: начав с единомыслия первой литературной школы, кружка, объединения, писатель затем обретает собственный голос, и не обязательно он звучит в унисон с голосами недавних товарищей и учителя. Литературный процесс скорее напоминает ристалище, нежели спевшийся хор, и

роль «хранителя интересов и душ» воистину трудная, неблагодарная — Горький провидел и это, обращаясь к молодому Слонимскому со словами благодарности.

Слонимскому больно было переживать — нет, не ошибку, не даже творческий неуспех и тем более не отход от любезных писателю литературных форм кого-либо из его недавних учеников, — огорчало и уязвляло Слонимского вольное обращение с нравственными канонами, завещанными настоящей литературой.

Однажды мы жили с Михаилом Леонидовичем в Доме творчества в Комарове. У меня только что вышла книга, может быть, третья по счету, во всяком случае одна из первых; я пребывал в состоянии так знакомой каждому молодому писателю эйфории, когда, казалось, еще немножко, еще чуть-чуть — и книга твоя что-то такое всколыхнет, потрясет, перевернет, опрокинет. Книжного бума тогда еще не было; книга поступала в продажу, спокойно лежала на полках и прилавках, кто-то ее покупал; оставалось чуть-чуть подождать: пусть прочтут — и наступит признание, слава. Пока что я, как говорят, ликовал, возвращался в Дом творчества поздно за полночь. . .

И как-то раз, возвратясь и нетерпеливо похаживая по комнате в предвидении завтрашнего дня, полного всяческих удовольствий, я услышал тихий стук в дверь. За дверью стоял Слонимский. Шел второй час ночи. Михаил Леонидович сказал, что подымался ко мне множество раз, не спал, ждал меня, разговор не терпит отлагательств. Черты лица его обострились, а взгляд, всегда лучившийся доброю, поразил меня отчужденностью. Передо мной был другой Слонимский, не тот, каким я привык его видеть на занятиях литкружка: в нимбе папиросного дыма, ласковых улыбок, говорящего непременно благожелательные речи. Теперь я видел сурового, жесткого, старого, исстрадавшегося — и непреклонного человека. Слонимский сказал:

— Я прочел вашу книгу. . .

Он говорил долго, и я улавливал суть его речи, не фиксируя внимания на фразах и словах. Во мне срабатывал некий фильтр самосохранения. . . Слонимскому не понравилась моя книга. Не потому, что она бесталанна, плоха, может быть, даже напротив: чем книга сильнее художественно, тем больше ответственность ее автора в нравственном смысле. Интимности, откровенничанья противопоказаны настоящей литературе. Личное начало

не обязательно адекватно общечеловеческому. Подробности чьей-либо жизни могут стать интересными и поучительными для всех, только будучи осмыслены, переработаны в сознании художника. «Правда жизни» имеет свои подвалы, чердаки, но есть еще высший, духовный смысл жизни, и, чтобы постичь его, нужно набрать высоту. Литературная судьба начинается не с первой книги, не со второй и не с третьей, а именно с высоты обзора...

Слонимский говорил другими словами, но такова была суть преподанного мне в ту ночь урока. Урок получился предметным и доказательным: на столе между нами лежала книга; я так надеялся на нее, так много ждал от нее... Разминая тонкими пальцами бог знает которую папиросу, Слонимский говорил о стыде, предстоящем писателю в пору зрелости — за написанное и опубликованное им однажды, если писатель позволил себе нравственную нечеткость, опустился ниже дозволенного настоящей литературой. «Конечно, бывает, не так уж редко бывает, бумага терпит... Но, вы понимаете, мы говорим о другом. Я в вас верил, и я надеюсь...»

Слонимский верил в меня. Иначе, судите сами, для чего бы стал опытный старый писатель, уже носивший в себе смертельную болезнь и знавший о ней, просиживать ночь напролет в прокуренной комнате с малознакомым ему человеком на сорок лет младше его? Воистину до конца он остался «хранителем интересов и душ».

Так много сказал мне в ту ночь Слонимский, что, как ни противился я вмешательству в мою личную жизнь (сочинение книг представлялось мне тогда, да и теперь тоже, глубоко личным делом), урок запомнился, я усвоил его. Все сбылось, что предсказывал мне Слонимский: и стыд за публикацию незрелой вещи, и мука переоценки написанного тобою однажды, и усилия, не всегда успешные, подняться, набрать высоту.

Особенно памятна мне одна мысль, высказанная в ту ночь Слонимским: «Писатель воспитывает себя прежде всего тем, что он пишет... Создавая своих героев, писатель сам зависим от них...» Михаил Леонидович говорил об «обратной связи»; столь модное теперь, заимствованное из точных наук понятие в ту пору еще не перекочевало в литературный обиход.

Творческий акт создания литературного персонажа представлялся ему и актом становления, самовоспита-

ния литератора. «Чем выше, в идейном отношении, вы поднимете героя вашей книги, тем дальше увидите сами, уловите главные тенденции развития жизни». Кажется, так формулировал Слонимский свою любимую мысль. Слово «тенденции» он произносил с мягким окончанием: «тенденсии».

В герое повести, романа или рассказа Слонимскому хотелось найти средоточие самых передовых идей времени и обязательно — сопричастность общественному развитию в его социальном, нравственном, философском аспекте. Превыше иных движущих сил в литературном процессе он ставил интеллект. Какой-либо расчет на успех у массового читателя, подлаживание к его вкусам были чужды ему.

Однако не следует думать, будто Слонимский был писателем чисто «умственным», отвлеченным от жизни, книжным. Стоит взглянуть в его биографию, чтобы понять, как искал он, смолоду до седых волос, наитеснейших контактов с действительностью в самых болевых ее точках, на переднем крае сражений — в буквальном смысле. Именно искал, в юности, может быть, полусознательно, в зрелые годы отдавая себе отчет в том, что писателем можно быть лишь ценою великих усилий, участвуя в социальных бурях, поверяя почерпнутый в книгах, в общении с выдающимися умами опыт непосредственной практикой борьбы и строительства нового мира.

Михаил Слонимский сотворял себя как писателя. Право на это звание было для него свято, он завоевывал его. Начал писать, возвратившись из окопов первой империалистической... Первая его книга «Шестой стрелковый» пахла кровью и порохом. В первом авторском представлении читателям совсем еще молодой Слонимский счел нужным сообщить те факты своей биографии, которые самому ему казались определяющими: «В 1914 году, 17-ти лет, кончил ускоренным выпуском гимназию и пошел на войну. Путь проделал такой: через Варшаву к Единорожку (в семи верстах от германской границы), оттуда отступал к Рожанам, через Нарев, до Полесья (Молодечно).

За Наревом был контужен: разрывом снаряда бросило о землю. Сломал ребро и ногу.

Закончил военную карьеру солдатом в Петербурге 27 февраля 1917 года.

Последние три года из Петербурга уезжал редко и ненадолго.

В 1917 году писал военные обзоры, теперь пишу рассказы. На днях выйдет книжка «Шестой стрелковый» — в изд-ве «Время», еще одна в изд-ве «Былое» («Чертово колесо» и др.).».

Этот, как говорят нынче, писательский самоотчет помещен в № 3 журнала «Литературные записки» за 1922 год, в ряду с самоотчетами других «Серапионов» — всем им было тогда чуть больше двадцати. Читаешь эти короткие жизнеописания и диву даешься: какой концентрат разнообразнейшего человеческого опыта несли в себе совсем еще молодые люди, коим предстояло стать зачинателями явления принципиально нового во всемирно-историческом масштабе — советской литературы.

Вот, например, что писал о себе Всеволод Иванов: «Учился в сельской школе и — полгода — в сельскохозяйственной. С 14 лет начал шляться. Был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном и факиром — «дервиш Бен-Али Бей»...».

С 1917 года участвовал в революции. После взятия чехами Омска (был я тогда в Красной гвардии), когда одношاپочников моих перестреляли и перевешали, — бежал я в Голодную степь...

Ловили меня изрядно, потому что приходилось мне участвовать в коммунистических заговорах. Так от Урала до Читы всю колчаковщину и скитался».

Рядом не менее впечатляющие, яркие в духе времени и всерьез драматичные «послужные списки» Зощенко, Тихонова, Федина...

Первые уроки, преподанные Слонимскому его товарищами по перу, состояли в том, что литература не кабинетное дело, не рафинад; она заваривается в котле классовых битв, ей предшествуют хождения по мукам, и личный жизненный опыт — первооснова писательского призвания — должен быть емким, непосредственно сопряженным с важнейшими для эпохи делами человеческими.

Так было в двадцатые годы. В начале шестидесятых, руководя нашим литобъединением, Михаил Леонидович Слонимский на каждом занятии загорался, на глазах молодец. Я думаю, можно предположить без натяжки, что дух, царивший у нас, скрещение не только творческих индивидуальностей, но и разнообразнейшего жизненного опыта возвращали его в молодость, Неваж-

но, как он оценивал художнический потенциал того или иного члена литобъединения, скажем, Виктора Курочкина, Андрея Битова, Сергея Тхоржевского или Виктора Конецкого (впрочем, едва ли он ошибался в прогнозах); читая только что явившуюся на свет прозу, повести и рассказы, Слонимский попадал в такой же, как во времена его молодости (разумеется, на ином социальном фоне), созидаемый заново, полный боренья, страстей и трагедий, населенный такими разными лицами реальный, действительный мир — и волновался, переживал, негодовал или ласково улыбался. Он так любил жизнь!

Мы говорили о литературе, читали свои сочинения, и все это поверялось тем опытом, что был у нас за плечами; приобретал его всяк на свой лад. Я только что возвратился с Алтая, после трех лет целины; Борис Сергуленков приезжал на занятия с кордона, он был лесником; Сергей Тхоржевский семь лет рубал уголек на шахтах Воркуты; Виктор Конецкий вступил в литобъединение в должности капитана сейнера, только что совершив арктический перегон — за одну навигацию от Мурманска до Находки; Виктор Голявкин поражал своих однокашников по Академии художеств буйством красок, свободой и дерзостью мазка, а нас, литкружковцев — необычайным словесным узором, иронией и гротеском своих коротких рассказов; Владимир Ляленков добирался до Дома книги на Невском, где мы заседали, на медленном в ту пору поезде из Пикалева, он там строил, в должности прораба, новый город; Виктор Курочкин в блокадном Ленинграде затачивал снаряды, впоследствии прошел командиром самоходки от Днепра до Праги, в послевоенное лихолетье работал народным судьей...

Честное слово, Михаилу Леонидовичу Слонимскому интересно было руководить таким литкружком!

Тут надо оговориться: Слонимский не ставил знака равенства между профессиональной оснащенностью писателя и степенью его «бывалости». Он был кость от кости интеллигентом, истины ради это следует подчеркнуть. И сам он подчеркивал — в «Автобиографии», предварившей собрание сочинений 1969 года, написал: «Родился я в 1897 году в Петербурге. Дед мой — ученый, отец — литератор, дядя (брат матери) профессор С. А. Венгеров, известный литературовед, пушкинист. Вообще рода я интеллигентского — ученые, литераторы, музыканты...»

Чтобы судить о силе, живучести художественного генетического начала или, проще сказать, закваски в роду Слонимских, здесь к месту вспомнить, что сын Михаила Леонидовича Сергей Слонимский ныне известный композитор.

В той же «Автобиографии» Михаил Слонимский счел нужным сообщить о себе и такие, принципиально важные для всей его творческой судьбы и гражданской позиции сведения: «В январе 1915 года, семнадцати лет... ушел добровольцем на фронт первой мировой войны. В результате получилось своеобразное «хождение в народ», во всяком случае — в самую жестокую реальность. Кошмары и нелепости несправедливой войны истребляли иллюзии, показывали обнаженную правду».

«Хождение в народ», традиционное для русской интеллигенции с первоначала ее становления, оказывалось плодотворным при том условии, если «народ» понимали в широком реально-историческом плане, видя в нем не «меньшого страждущего брата», не инертную массу, а основополагающую и движущую силу национального и государственного бытия, будь то крестьянин, рабочий, солдат или деятель просвещения. Слонимский воспринял традицию как путеводную нить, порвал — надо думать, не без боли — с привычной для него «средой обитания», хлебнул лиха в окопах первой мировой войны — и результат не замедлил сказаться. Его первая книга «Шестой стрелковый» неоднократно переиздавалась и оставила по себе заметный след в анналах нашей критики.

Читая сегодня ранние вещи Михаила Слонимского, думаю сразу о многом. Назвать автора «Шестого стрелкового» молодым писателем в сегодняшнем нашем понимании даже в голову не приходит, — настолько быстро он повзрослел на войне, настолько причудливо и органично соединился его интеллигентский духовный опыт с опытом солдата на несправедливой, безумной, кровавой войне.

Рассказом «Шестой стрелковый» открывается одноименная книга. Потрепанный в боях шестой стрелковый полк отведен на отдых в полесскую деревушку Емилестье. Болото кругом. Туманы, карликовые на болоте березки. Хлипкие, как грибы-обапки, полесские мужики... Впрочем, каких-либо описаний природы, пейзажей или портретных характеристик здесь нет. Кстати сказать, их не будет и в последующих сочинениях Михаила

Слонимского. В ранних вещах пейзаж, портрет — это метафора, символ, впоследствии — чуть заметный мазок на палитре, оттенок фона. . .

Болезненна, лихорадочна природа в Полесье, и лихорадка бьет шестой стрелковый полк. Все несправедливо, безумно, безумна сама война; армия, построенная на лжи и насилии, умирает в тяжелой агонии. Сошел с ума командир полка Будакович; адъютант Таульберг с его идеей справедливых отношений между офицерами и солдатами подобен белой вороне, его обвиняют в шпионстве, он бежит от расправы в болотную топь; заведующий оружием Гулида, карточный шулер, рвет куши в офицерском собрании; капельмейстер Дудышкин в экстазе сочиняет вальс «Весенние цветы»; все бредят образом Кати Труфановой, приславшей из Петрограда подарок доблестному воинству. Солдатская масса тяжело, угрюмо молчит, что-то в ней созревает. . .

И вот наступает расплата: и Будакович, и Таульберг, и Дудышкин, и иже с ними — все золотопогонное — вверх ногами, в колодезь. Уцелел только мздоимец Гулида, он кричал громче всех: «Ура! Новая жизнь! Я вам всем теперь такого вина достану!.. Праздник!..»

В рассказе «Варшава» опять же апофеоз безумства войны, при иных обстоятельствах места. Корнет Есаульченко прибыл в Варшаву на отдых. Кандидат на классную должность Кроль выдал ему бумагу, в ней написано: «Ранен, контужен и за действия свои не отвечаю». Отдыхает корнет Есаульченко так же разгульно, безудержно, как воюет; рассудок, совесть, душа, здравый смысл усыплены, под наркозом; развязаны инстинкты, воспалено воображение, и уже не понять, где реальность, где бред. Мир корнета беспредельно широк, мир кандидата Кроля преувеличенно сужен. И эти два мира сошлись в одной точке — Марише, которая подает господам офицерам в цукерне шоколад. «Цукерня вся белая, будто вылита целиком из молока, с белыми занавесками, стуликами и столиками. От беленьких прислужниц пахнет сливками. Речь у них сдобная и приветливая, и глаза, как изюм в булке, чернеют. . .»

Для корнета Есаульченко Мариша — рай земной после ада, в Марише его надежда забыться, упиться этими сливками. Кандидату Кролю надо жениться на Марише, именно с этого начинается рассказ «Варшава»: «Такой уж банк у кандидата на классную должность Кроля: жениться на Марише».

Война срывает все банки, все гибнут в бессмысленной пляске смерти: и корнет Есаульченко, и кандидат Кроль, и Мариша.

«Уже влажные пары Вислы ударили в рыжие позды коня. Уже близко Висла. Но кроваво-черные полосатые вихри встали на пути. Железо, камень и дерево взлетели к небу, чтобы больно бьющими осколками осыпать землю и застлать землю дымом».

Когда я читаю ранние рассказы Михаила Слонимского, я думаю и о том, насколько писатель впоследствии изменился, дисциплинировал руку, строжайшим образом выверил стиль, унял первоначальную изобразительную экспрессию. Книга «Шестой стрелковый» и близкие ей по духу рассказы начала двадцатых годов стоят особняком в творческом наследии Михаила Слонимского. Парадоксальная метафоричность, деформация привычных жанровых канонов, ритмизация прозы, непереносимость сравнения, трюба, изысканность — на грани дозволенного — эпитетов, причудливость, рваность сюжетных линий, гипербола и сарказм, гротеск и лирическое крещендо, — изображая крушение, ломку привычных устоев жизни, Слонимский искал соответствия литературных форм жизненному материалу, заново создавал поэтику своей прозы.

Разумеется, он не был одинок в исканиях. Кружок молодых писателей, собиравшихся в Доме искусств на Мойке, представлял собой экспериментальную мастерскую: и непосредственный опыт жизни, и дерзость молодости, и ощущение раскрепощенности духа, и отношение к слову, как к глине в руках ваятеля, и полная самоотдача революции, и родственное внимание Максима Горького — каждый был окрылен сознанием новизны, небывалости творимого дела. Если прочесть сегодня, наряду с рассказами Слонимского, сочинения других первостроителей советской литературы, ну, например, раннюю прозу Николая Тихонова, нетрудно заметить их общность в этой решимости реформировать стиль, до предела насытить фразу содержанием, изукрасить ее, заново переплавить словесную руду в тигле эксперимента.

Речь идет не о том, чтобы подразделить писательскую судьбу Михаила Слонимского на фазы, противопоставить эти фазы одну другой. Судьба настоящего писателя обладает нерасторжимой цельностью — потому она и судьба, — и диалектика внутреннего развития,

включая в себя способность самоотрицания, определяет самобытность судьбы.

Начав с экспериментальной прозы, Михаил Слонимский, по пришествии опыта, профессионализма, отказался от приемов письма своей молодости, став другим писателем, нежели был в двадцатые годы, однако он всегда понимал значение этой школы эксперимента — для себя и вообще для писателя, свято относился к опытам двадцатых годов. И в этом один из уроков его литературной судьбы.

Помню, как отнесся Михаил Леонидович к впервые прочитанным в нашем литобъединении, экспериментальным по самой сути рассказам Голявкина. Голявкин не мог понравиться всем, он писал непохоже, не так, как другие, резко выделялся. Михаил Леонидович, излучая доброжелательность, объяснял нам, что традиционализм — наживное дело, а новация (если она не только ради новации) и есть тот самый оселок, на котором лучше всего поверяется творческий потенциал начинающего автора, то есть («простите меня за это ставшее расхожим словечко») талант. . .

. . . В 1923 году Слонимский уехал из Петрограда в Донбасс. Можно предположить, что по-прежнему им владела путеводная идея «хождения в народ», теперь на совершенно иной общественной почве, обогащенная участием в начинаниях Горького по выявлению и собиранию талантов, по литературному освоению наших достижений. В Артемовске он участвует в организации и становится редактором первого в Донбассе литературного журнала «Забой». В автобиографических заметках Слонимского зафиксирован этот факт и только: «На Донбассе я жил в постоянном общении с шахтерами, заводскими рабочими, инженерами».

Обладея некоторым опытом редактирования журнала, пытаюсь представить себе, что значило создать на голом месте совершенно новый журнал и быть его редактором. И главное, решиться взять на себя всю эту бездну хлопот, организаторской работы, литературного редактирования, вместо того чтобы целиком отдаться литературному творчеству, развивать свой первый успех: книга «Шестой стрелковый» сразу же сделала имя Слонимского широко известным в литературных кругах.

И в этом, так сказать, проходном эпизоде биографии Михаила Слонимского вполне проявились его качества литератора — общественного деятеля. Только сфера

действия теперь неизмеримо расширилась, она уже охватывает всю зарождающуюся советскую литературу, будь то Петроград или Донбасс. . .

Чему еще учил нас, молодых, Михаил Леонидович, так это участию в общелитературном деле. Задуманный Горьким Союз писателей, со всею его структурой, с журнальными, издательскими, секционными, управленческими подразделениями, с конференциями и собраниями, он понимал как живой организм, постоянно нуждающийся в притоке свежих сил, крови, мыслей, таланта. Он отрицал самую возможность существования советского писателя отдельно от коллектива, ибо прекрасно понимал бесплодие какого бы то ни было отшельничества, асоциальности в наше время. И он постоянно остерегал от гипертрофии, окостенения форм работы Союза писателей, от администрирования, выступал против засиживания на выборных литпостах, терпеть не мог использования трибуны или иных инстанций Союза в личных, тем более мелкогрупповых интересах. И огорчался, если не находил созвучия своему общественному темпераменту в умонастроениях молодых, даровитых.

Помню Михаила Леонидовича выступающим на писательских собраниях. Каких только не бывает собраний, иной раз одни говорят, другие слушают вполуха, время идет, будто ему не поставлены сроки. . . И вдруг выходит к трибуне (к столу) высокий, худощавый, слегка сутулящийся, с выразительными глазами человек и начинает говорить, заметно волнуясь при этом, незатертыми, здесь же рождающимися словами. И всем понятно, что говорит он потому, что нельзя промолчать; говоря, мыслит; речь его — творческий процесс: выступает писатель. Даже самое короткое, в прениях по обсуждаемому вопросу, выступление Михаила Слонимского всегда бывало резко индивидуальным, пронизанным чувством и мыслью. В каждой речи его обозначалась личность писателя — не только сочинителя, но и мыслителя, общественного деятеля и такого обаятельного, такого умного, тонкого человека!

Без преувеличения можно сказать, что участие Михаила Слонимского в общелитературных и журнальных делах составляет страницу, может стать, и не одну, в истории Ленинградской писательской организации. Его неустанная работа с молодыми до сих пор дает всходы не только в сочинениях его бывших учеников, но и в их общественном поведении. Положа руку на сердце, со-

знаюсь, что это Слонимский прихотил меня к разного рода общественной деятельности в Союзе писателей. Было время, и я, как многие молодые, противился этому, помышляя о «чистом» писательстве, где-нибудь в тишине. . .

То, что было сделано Михаилом Слонимским в пору редакторства в журнале «Забой» в Донбассе, теперь самым тщательным образом исследуется красными следопытами Артемовска. После смерти Слонимского с трогательной дотошностью они выуживают разного рода сведения о человеке, которого почитают знаменитым своим земляком, у вдовы писателя Иды Исааковны Слонимской.

Наиболее заметный из рассказов той поры — и далеко не бесспорный, как многое написанное Слонимским в молодости, — «Машина Эмери». В центре рассказа — Франя. Не то чтобы в самом центре, а где-то посерединке меж двумя сконцентрированными жизненными установками: управляющим рудником Олейниковым и художником Лютым. Олейников живет идеей: преодолеть время, шагнуть в будущее, а в будущем — свобода от всех земных притяжений, страстей, благ и мук, человек подобен железной машине, без нервов, зато раскрепощен его дух, интеллект. Лютый обретается в координатах привычного житейского пространства, он любит Франю, ему неприятен Олейников, но он зависим от управляющего рудником; искусство должно теперь стать таким, как понимает его Олейников: победить время, нарисовать будущее, то есть оторваться от почвы, от быта, воспарить. Франя, может быть, любит Лютого, во всяком случае она из того же теста, что он. Однако она уходит к Олейникову, в нем сила, та власть над жизнью, которой нужно поддаться женской душе. Для чего поддаться? Чтобы «осилить» эту силу, это железо, этот механизм. О, женщина многое может. Хотя сила ее невыразима в формулах и программах, бывает она посильнее железа. . .

Вообще в ранних рассказах Михаила Слонимского, начиная с «Шестого стрелкового», немалое место уделено так называемому «женскому вопросу», по-видимому модному в те годы и далеко не безразличному самому автору.

В статье «О моей жизни и книгах» Михаил Слонимский назвал любимых им — в разное время — писателей: «Верхом совершенства в литературе были для меня

проза Пушкина, Лермонтова (особенно «Тамань»), Гогаля. Из иностранных писателей любил больше всех Стендаля, Мериме, позднее пришел Анатоль Франс. Над всей современной литературой возвышался Максим Горький. . .» Выберем из этого списка Анатоля Франса и вспомним его роман «Боги жаждут». Французский писатель исследовал стремительную эволюцию человеческой природы в годину великого разлома и великих жестокостей, сопутствующих осуществлению самых гуманных целей; в поле его зрения попадали не только главные действующие лица; его занимала роль женщины в революции, именно женская, невидимая снаружи, возможно сокрытая пологом ночи, и все-таки несомненная роль. За женщиной, право, не так уж редко оставалось последнее слово накануне принятия важных решений. . .

С этой стороны пытался проникнуть в логику поступков своих героев — в ранних рассказах, таких, как «Машина Эмери», «Актриса», «Начальник станции», да и не только в ранних — Михаил Слонимский. Женские образы, это отмечалось критикой, удавались порой писателю в большей степени, чем мужские.

Я не хочу проводить каких-либо параллелей и, тем более, настаивать на подчиненности раннего Слонимского литературным влияниям извне. Наоборот, я говорю о некоторых особенностях творчества писателя, обозначившихся уже в самом начале пути и сообщивших его произведениям ту жизненность, жизнеспособность, благодаря которой многие из них не выдохлись, не вылиняли, не пожелтели под спудом времени.

Раннего Слонимского критика упрекала в стихийности, импрессионизме и прочих «измах». Но если представить себе его литературное наследие без этой начальной студийной поры, то получится совсем другой писатель, попроще, попрямей того, который известен в истории советской литературы как один из ее зачинателей. Извлекая полезные и сегодня уроки из творческого пути Михаила Слонимского, стоит вспомнить о том, что простота, почитаемая за высшее достоинство в настоящей литературе, не приходит сама собой, а увенчивает как синтез искания, сложности, муки, борьбу, способность таланта «осилить» себя.

В 1926 году в журнале «Звезда» в Ленинграде был напечатан роман Слонимского «Лавровы». В этом первом крупномасштабном произведении автор «Шестого

стрелкового» предстал перед читателями в новом качестве: повествование, помимо всего прочего, обрело теперь скупую точность документа (роман написан на основе дневников, которые вел Слонимский в питерских казармах в 1916—1917 годах), психология героев соотнесена была с социально-исторической реальностью революционной поры; появился новый герой — рабочий-большевик...

И вместе с тем «Лавровы» — семейный роман; социальные бури эпохи преломлены в нем сквозь призму отношений внутри одного семейства. Традиционная романная форма насыщена изнутри злобой дня, болью, смятением человеческих душ, поставленных перед необходимостью сделать выбор: порвать с привычным, даже с кровным, родным...

Роман «Лавровы» — заметная веха не только в судьбе Михаила Слонимского, мастера социально-психологической прозы, но и в истории нашей литературы.

Читательское отношение к тому или иному однажды замеченному писателю обладает известной инерцией. От писателя ждут одного, а он вдруг напишет другое... По выходе в свет романа «Лавровы», отлично понимая недоумение определенной части читательской среды, Слонимский неоднократно высказывался в печати, объясняя: «...я добивался большей художественной простоты, чем в первых рассказах... этого требовала психика героя будущей книги, героя, который должен был жить, думать, чувствовать, работать, быть с Октябрьской революцией, а не погибать бессмысленно в кровавой империалистической войне».

В романе «Лавровы» вполне определились те грани стилистики, та мера соотношения между жизненным материалом и художественным вымыслом, а также и мера самоограничения, которые стали нормой в последующих книгах Слонимского. Перечитывая критическую литературу, посвященную его творчеству (оценки критики неоднозначны, многие из них основаны на вульгарно-социологических посылках), я остановился на характеристике Корнелия Зелинского, наиболее, пожалуй, соответствующей сути дела — если представить себе место Михаила Слонимского в советской литературе: «Это умный писатель, без иллюзий взирающий на действительность, сдерживающий себя в своем охлажденном стиле. Но внутренне Слонимский очень впечатлителен в социальном смысле. Отсюда его политическая острота,

стремление вопросы ставить «на попа», прямолинейно, в лоб».

И еще одна цитата, из вступительной статьи Даниила Гранина к четырехтомнику Слонимского 1969 года: «Суховатость, костистость, да еще лаконичность, даже аскетичная сдержанность в некоторых случаях способствуют долговечности прозы; в частности, на прозе Слонимского это подтверждается довольно убедительно; в лучших повестях его манера напоминает высокое искусство графики».

В 1932 году Михаил Слонимский отправляется в Германию, с благословения Горького, — у него в голове созрел план повести о расстрелянном контрреволюционере — председателе Совнаркома Баварской советской республики, образованной в 1919 году, Левинэ. В 1935 году «Повесть о Левинэ» была напечатана в журнале «Знамя». В «Автобиографии» об этом сказано так: «Меня, петербуржца, давно занимала тема «Мы и Запад». И только. Лаконизм, суховатость доведены до предела.

Давайте представим себе, чего стоило советскому писателю собирать материал для «Повести о Левинэ» в наводненном фашистами Мюнхене, брать интервью не у друзей Левинэ — их уже не существовало, — а у тех, кто судил революционера. Какое потребовалось для этого мужество, какая гражданская убежденность интернационалиста руководила его действиями, какую тактическую мудрость проявил он в стане врагов...

Между прочим, поездка Слонимского в Германию называлась «творческая командировка». Именно так он и озаглавил свои впечатления об этой поездке: «Творческая командировка. 1932 год, июль-август».

После «Повести о Левинэ», рассказов, которые Михаил Слонимский писал всю жизнь, интересы его переключаются на пограничную тему. Надо думать, что старый вояка Слонимский острее других улавливал запах пороха в воздухе. Поэтому и тянуло его, впрочем не только его, ближе к передовым рубежам. Наиболее значительная вещь, написанная им в эти годы, повесть «Андрей Коробицын».

В финскую кампанию Слонимский сотрудничал в дивизионной, армейской газетах. В Великую Отечественную войну в меру сил и здоровья работал для фронта. После войны приступил к исполнению главного дела жизни — романа-трилогии о становлении русской, советской научной интеллигенции, с начала века до бур-

ных первых послереволюционных лет: «Инженеры», «Верные друзья», «Ровесники века». Дело это он исполнил в полную меру, как и многое множество других трудов, будь то книги, общественные обязанности или наставничество над молодыми. Вообще, говоря об определяющих качествах Слонимского-литератора, следует особо отметить высочайшую степень его ответственности — перед обществом, литературой, перед призванием писателя и товарищами по перу.

Однажды Слонимский заметил: «Основное в биографии писателя — его книги. В них обычно выражается то главное, чем жил и живет автор...» Это верно. Однако можно, как говорится, подойти к вопросу с другой стороны: биография настоящего писателя сама по себе бывает остросюжетна и внутренне драматична. Можно представить ее себе как ствол, а книги — ветки и крона...

Чураясь в своих писаниях «личного элемента», избегая тональности «лирического героя», не позволяя себе каких бы то ни было откровенностей, Михаил Слонимский не оставил нам автобиографических сочинений в традиционном понимании этого жанра. Материал его такой поучительной, характерной, будящей воображение судьбы пока что недоиспользован, что ли. Так мне кажется.

Помню, на одном из вечеров в Доме писателя имени Маяковского Михаил Леонидович Слонимский читал главы из книги воспоминаний о писателях своего поколения. Книга вобрала в себя соцветье имен первой величины и такого диапазона, какой был доступен лишь литератору с незаурядной широтой взглядов и беспристрастием: Максим Горький, Александр Грин, Ольга Форш, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Николай Никитин, Михаил Зощенко, Евгений Шварц, Лев Канторович, Петр Павленко... Обычный вечер в ряду мероприятий Дома писателя. Но те, кто слушал Слонимского в этот вечер, уходили с ощущением какой-то породненности, сопричастности самому высокому, чистому, гуманному в мире — литературе. Книга воспоминаний Михаила Слонимского проникнута любовью к людям, служившим литературе, отдавшим ей без остатка все силы души.

«...И умер на ходу, в работе, на полужазе». Так заканчивается очерк о Петре Павленко, включенный в

«Книгу воспоминаний». И сам Михаил Слонимский писал, служил литературе до последнего дня и часа.

Говоря об уроках Слонимского, надо огovorиться: Михаил Леонидович специально никого ничему не учил. Уроки его состоят в примере жизни, творчества, поведения, в благородстве самого образа советского писателя. Уроки эти неброски, настолько был скромнен писатель. Чтобы усвоить их, надо найти в себе силу подняться до той высоты, ниже которой Слонимский не позволял себе опускаться.

«ПРОБИТЬСЯ К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ДУШАМ...»

Прежде чем сесть писать то, что я помню о Викторе Курочкине, пошел на кладбище постоять у могилы, вырытой осенью в хмурый день, укутанной не поблекшими до весны еловыми лапами, расцвеченной в мае тюльпанами. Был майский вечер, в вершинах кладбищенских елей пробовали голоса дрозды. Они как будто бы не решались запеть, понимая, что в этом месте пристало быть тишине. Курились подоженные кучи еловой хвои, натрясенной за зиму с помпональных венков, и этот кадилый дымок, смешанный с запахами отволглой земли, свежих березовых листьев, смолы, был сладок и горек. . .

Стоя над могилой Виктора Курочкина, я вдруг вспомнил, всем телом, мышцами, нервами вспомнил ознобный день похорон, то особое чувство потери, которое вдруг охватило, сомкнуло, сдвинуло вместе всех нас, кто пришел проводить товарища в последний без времени путь. Об этом чувстве есть строки у самого Виктора Курочкина, в повести «На войне как на войне», в последнем ее абзаце: «Когда экипаж опустил своего командира на сырой глиняный пол могилы, подошел комбат, снял шапку и долго смотрел на маленького, пухлогубого, притихшего навеки младшего лейтенанта Саню Малешкина. . .»

У гроба Виктора Курочкина, в минуту прощания с ним, в ленинградском Доме писателя стоял на треноге портрет молоденького, пухлогубого, улыбающегося, с распахнутыми, полными азартного, отчаянного любопытства к жизни глазами, с иконостасом орденов и медалей на не слишком-то широкой груди, с гвардейским значком лейтенанта-танкиста. . . Чтобы лучше понять характер, первооснову личности и судьбы, а также и

некоторые особенности героев повестей и рассказов этого писателя, стоит взглянуть в портрет юного лейтенанта, может быть только что вернувшегося из танковой атаки...

Курочкин попал на войну в такое время, когда поле каждого боя, большого и малого, выигранного и неудачного, озарилось проблеском пусть не близкой, но непрерывной нашей Победы. Военные повести Виктора Курочкина пронизаны этим озарением.

Он увидел войну из люка самоходки — командовал самоходной установкой СУ-85. Из личного опыта писателя родилась — спустя двадцать лет после окончания войны — его первая военная повесть «На войне как на войне». Повесть эта соткана из живых деталей, подробностей, эпизодов военной повседневности. Она несет в себе запахи, звуки, слова, интонации времени. Это нельзя придумать, сочинить. Это нужно пережить и сохранить в памяти сердца. Однако в повести Курочкина нет военного бытописательства, мемуарной сводки сведений, так называемой «окопной правды». Повесть «На войне как на войне» явилась результатом синтеза юношеского всенного опыта с житейской мудростью и, главное, художественной зрелостью писателя. За двадцать лет после войны Курочкин окончил юридическую школу, поработал народным судьей в Уторгошском районе Новгородской области, закончил Литературный институт, написал повести: «Заключенный дом», «Последняя весна», «Наденька из Апалева», «Урод», десяток рассказов. Его пьесу «Сердце девичье затуманилось» поставили в московском Театре имени Пушкина. По его сценарию был снят фильм на колхозную тему «Ссора в Лукашах».

Повесть «На войне как на войне» читается в один присест: нельзя оторваться, настолько сложен, соразмерен, гармоничен ее строй. Даже не строй, а лад. Повесть Курочкина музыкальна. Сюжет в ней незаметен. Начинается повествование неторопливо, в темпе адажио, затем — аллегро, крещендо... Заключительные страницы повести звучат патетически, как реквием по командиру самоходки Малешкину.

Всего два дня провоевал Саня Малешкин на своей самоходке. До этого ему не везло: случайный снаряд разорвался рядом, осколком перерубило ствол пушки, самоходку отправили в ремонт. И когда наконец повезло младшему лейтенанту, когда довелось ему повоевать

и отличиться в бою, случайный осколок залетел в люк самоходки. Сани Малешкина не стало.

На войне как на войне.

Успех больших битв предопределяется волей и талантом командования, высшей стратегией, выучкой, мужеством и дисциплиной солдат, то есть опять же способностью их исполнить эту высшую волю. Однако война состоит также из миллионов маленьких схваток, случайностей, когда каждому из ее участников надлежит командовать самим собой, принимать мгновенные решения и мгновенно их исполнять. Курочкина интересуют именно такие ситуации. Герой его повести Малешкин — совсем молодой, необстрелянный вояка, он еще не притерся, не обкатался в механизме войны. К тому же он несколько рассеянный, непутевый, нескладный парнишка. В военное училище он попал из сельской школы. Ему еще предстоит научиться действовать согласно общему плану, стратегии и воле. Пока что он руководствуется в своих действиях непосредственным душевным импульсом, юношеским нравственным кодексом.

Сане Малешкину хочется поступать хорошо, то есть бить фашистов. Как можно скорее, больше их бить. И еще ему хочется, чтобы в порядке была самоходка и чтобы доволен был экипаж. Собственную персону он не принимает в расчет. Он еще не знает цены своей жизни.

Когда разбило снарядом ведущий танк и самоходка оказалась неприкрытой под прицельным огнем вражеских батарей, водитель Щербак испугался. Ему не хватило самообладания ехать навстречу смерти. Им овладел столбняк. Самоходка остановилась. Тогда командир ее Саня Малешкин выскочил из люка и, пятясь спиной к врагу, стал манить за собой свою машину. Водитель очухался. Самоходка вновь ожила... и подбила трех «тигров».

После этого боя командир представил младшего лейтенанта Малешкина к званию Героя, а экипаж к орденам...

В фильме «На войне как на войне», снятом по повести Курочкина, младший лейтенант Малешкин остается жить. Авторы фильма не решились нарушить жизнеутверждающее звучание картины трагической нотой. Должно быть, они заботились о зрителях: зрителям жалко, обидно было бы безвременно проститься с таким хорошим парнем, которого нельзя было не полюбить за полтора часа экранного времени.

И Виктору Курочкину, автору повести, жаль своего героя. Но — на войне как на войне.

Курочкин не чурался трагедии, темы смерти — так было всегда в настоящей литературе. Но скорбь его светла. Он обладал счастливым для писателя даром — увидеть смешное даже в драматической сцене, облегчить душу улыбкой.

Вспомним хотя бы эпизод размолвки Малешкина со своим экипажем накануне боя. Экипаж разместился в прифронтовой деревне, в избе у милой хозяйки. Хозяйка поставила на стол бутылку самогону. Но тут в избу пришел замполит Овсянников. Он посидел немного за столом, потом позвал с собой на улицу младшего лейтенанта и сказал: «Вообще водка гадость, а пить ее с подчиненными вдвойне гадость... Если хочешь быть настоящим офицером, прекрати. С сегодняшнего дня прекрати...» Еще Аристотель сказал: «Пьянство — добровольное сумасшествие». Знаешь, кто такой Аристотель?»

Этого Малешкин не знал. Однако пообещал не только с экипажем, но и вообще не пить. Вернувшись в избу, он взял оставленную ему кружку с самогомом и выплеснул зелье. И тут разверзлась пропасть между экипажем и его командиром. Хозяйка обиженно поджала губы. И так плохо, так одиноко сделалось Сане, что хуже и не бывает. «...Малешкин походил по хате, остановился у окна. Стекла промерзли насквозь и заплыли льдом. Саня лизнул и сплюнул. Лед показался ему соленым. Он совершенно не знал, что делать».

Пришлось Сане повиниться перед своим экипажем и нарушить зарок, данный замполиту. На войне как на войне.

Читать эту сцену нельзя без улыбки. Смотреть ее на экране вдвойне смешно. Между тем до гибели Сани Малешкина остается менее суток...

Повесть «На войне как на войне» можно счесть наиболее зрелым и законченным — по ясности мысли, определенности авторского взгляда на жизнь, художественной цельности образов, выделке стиля и деталей, своеобразию письма — произведением Виктора Курочкина. Но все эти качества и особенности дарования в достаточной мере сказались и в написанной десятью годами ранее, первой увидевшей свет повести «Заколоченный дом». Вообще, перечитывая подряд все, что написал Курочкин в разное время, за двадцать лет работы в литературе, дивишься цельности творческого наследия

этого писателя. Он словно и не бывал никогда «молодым», «начинающим».

В повести «Заколоченный дом» поставлены многие из проблем, которые через двадцать лет окажутся в центре внимания нашей «деревенской» прозы. Повесть эта сегодня нисколько не устарела, наоборот, чуть брезжившая в ту пору, когда Курочкин обдумывал и писал ее, тема заколоченных домов в русских селеньях нынче служит предметом исследования и тревоги в творчестве наиболее чутких к процессам народного, национального бытия, самых талантливых наших писателей.

Тут стоит вспомнить о том, что Виктор Александрович Курочкин родился и вырос в крестьянской семье, в самой что ни на есть российской лесной глубинке, в деревне Кушиково Калининской области; в послевоенные годы, с удостоверением корреспондента районной, потом областной газеты, колесил по проселкам елового, осинового, ольхового края. Курочкин знал деревню, был связан с нею узами сыновнего родства, болел ее болезнями, говорил ее языком и провидел будущее колхозной деревни, как говорится, на несколько ходов вперед. (Виктор Александрович Курочкин был, ко всему прочему, еще и изрядным шахматистом.) Аналитический склад ума, надо думать, подвигнул его на юридическую стезю, а впоследствии, в годы литературных трудов, уберег от каких бы то ни было обольщений, от умиления старозаветной патриархальностью сельщины. Непреходящее значение творческого наследия Виктора Курочкина обусловлено не только своеобычием его художественной манеры, но прежде всего объективной верностью социально-психологического анализа, точно соотнесенного с местом и временем.

На роль главного героя своей первой повести «Заколоченный дом» Виктор Курочкин выбрал личность заурядную, усредненную, как половица в затертом подожвами полу старого дома. Именно так он и аттестует своего героя в первых же строках повествования: «В паспортном столе городской милиции значится, что гражданин Овсов Василий Ильич появился в П. в тридцатых годах, что он происхождения из крестьян-средняков, семейный и служит в артели «Разнопром». Другие данные о нем пока милицию не интересовали, да и незачем: Овсов не пьет, квартплату вносит аккуратно, с жильцами не судится. Наоборот, в доме, где он проживает почти двадцать лет, не только не причинил никому

зла, но даже не сделал ничего такого, в чем бы можно было его упрекнуть.

— Золото Овсов! Сколько живем здесь — и ничего плохого от него не видели. Незаметный он человек, — говорили про Василия Ильича».

Вы слышите в авторской интонации эту скрытую курочкинскую усмешку, вроде бы и без едкости, без сарказма, пожалуй даже сочувственную, во всяком случае исполненную глубокого житейского многознания? Интонация эта тотчас наводит читателя на мысль о том, что и сам автор тоже тертый калач, стреляный воробей, которого не проведешь на мякине. Тут к месту припомнить, что первую свою повесть тридцатилетний Курочкин писал и печатал в то время, когда на страницы журналов выхлестнулась так называемая «молодежная» проза, проникнутая духом вполне беспочвенного и самообольщающего отрицания «прозы жизни». С другой стороны, о сельских жителях если кто тогда и писал, то с оглядкой на эталон-монумент — роман «Кавалер Золотой Звезды». Глубинная, исконная, нечерноземная, суглинистая, подзолстая, болотная русская деревня пока что помалкивала о себе. Ее будущие художники слова, историографы, истолкователи еще только проходили свои жизненные университеты.

Берясь за перо, протаптывая собственный первоупток в литературу, Курочкин, должно быть, ощущал это одиночество (тут ему помогала русская классика: Гоголь, Чехов, Лесков), а может быть, и не думал об этом, следуя зову художнического чутья, выверенного опытом народного судьи, разъездного корреспондента. Он выбрал в герои своей повести (слово *герой* в данном случае надо бы взять в кавычки, но Курочкин не любил кавычек, выявляя нюансы интонацией) малозаметного вахтера артели «Разнопром» Василия Овсова, понимая, что эта малозаметность и усредненность представляют собой оболочку, характернейший признак живучей социальной категории, целой житейской, обывательской среды. Многое множество овсовых выдуло из деревни ветром коллективизации, как тараканов из щелей. Чего искали они, где и как прилепились в новой жизни? А вот, пожалуйста, жизненное кредо Василия Ильича Овсова: «Все, что было связано с производством — машины, железо, соревнование, — вызывало у Василия Ильича болезненное раздражение. «Зачем все это? Разве нельзя жить без машин, соревнований, без собраний? — спра-

шивал он себя, и сам же отвечал: — Можно... Надо жить тихо, спокойно».

Приют этой тихой, спокойной жизни, исключительно для себя и своих домочадцев, Овсов находит в маленьком городе П., даже не в самом городе, а на окраине его, в таком местечке, где есть свободная земля под клубничные гряды. Описание этого «приюта» хочется привести целиком: оно выполнено Курочкиным-художником со свойственной ему широтой, свободой мазка, некоторой причудливостью рисунка, со сдержанной усмешкой, несущей в себе разящую социальную характеристику.

«Жил Овсов во «дворце полей», — так назывался в П. один из самых старых домов на окраине по соседству с кирпичным заводом и кладбищем...»

Если бы автору дали право все переименовать на свой лад, то он бы «дворец полей» переименовал во «дворец сторожей». И не без основания. Почти весь дом был заселен сторожами. Лучшую квартиру занимал сторож универмага. Он выгодно отличался от других сторожей высоким ростом, хриплым басом и добротным обчинным тулуном; кроме того, ежегодно запахивал двадцать соток земли. Сторож фуражного магазина круглый год ходил в валенках с резиновыми галошами и под старую офицерскую шинель поддевал жилет на заячьем меху. Сторожа булочных мало чем отличались друг от друга: брили они по праздникам, постоянно возились с молочными бидонами и пили горькую. Называли их парашютистами. Эта кличка была безобидной и носила чисто профессиональный характер. Дело в том, что сторожа, отправляясь на рынок с молоком, брали сразу два бидона и вешали их на себя, как парашют: один на грудь, другой на спину...»

Привыкший держать нос по ветру, Овсов первым заметил, что меняются времена, приходит конец тихой спокойной жизни во «дворце сторожей». Что было делать ему? Вот здесь он и вспомнил о своем заколоченном доме в деревне Лукаши на Псковщине. К тому же крестьянская жилка, наследственная тяга к земле исподволь подтачивали обретенные тишину и покой. Вернулся Овсов в Лукаши. И что же?.. Тут писателю представлялась возможность наставить своего героя на правильный путь. Он даже и главу, в которой герой принимает похвальное решение вернуться в колхоз, назвал чисто по-курочкински, с подспудной иронией: «Молодчи-

на». В родной деревне Овсов отправляется с колхозной бригадой на покос, и, кажется, в нем оживает лучшее, человеческое, исконно крестьянское... «Коса нырнула с легким свистом, и словно сбитая легла трава, а пятка косы отбросила ее в сторону. Еще взмах, еще взмах, еще, еще. Василий Ильич оглянулся — за ним вытягивался ровный желтоватый прокос. Овсов глубоко вздохнул и почувствовал, как легко дышится и как что-то давно забытое, волнующее просыпается в нем...»

Но Курочкин слишком хорошо знает своего героя. Проза Курочкина по самой сути своей — психологическая, а значит, верная жизненной правде; утешительных, легких концовок в ней не бывает. Болезнь собственничества, эгоцентризма, изъязвившая душу Овсова и многих ему подобных, туго поддается лечению, даже такими сильными средствами, как артельная косьба на росном лугу.

Власть наработавшись за день, ночью Овсов заскучал. «Вот я решил остаться здесь, — размышлял Василий Ильич. — Все надо вновь заводить. Дом старый, ремонт, хлопоты. А зачем? Разве нельзя приезжать в Лукаши на дачу?»

Лукашинские мужики прозвали Овсова дачником, всем ясно, что дни его пребывания в Лукашах сочтены, интерес к нему пропадает даже и у самого автора. Главным действующим лицом повести становится Петр Трофимов, молодой председатель колхоза «Вперед», отвоевавший, вернувшийся — вся грудь в орденах — в отчий дом не по нужде, а по чувству долга перед разоренной захватчиками родной землей, перед своими односельчанами, а стало быть, перед всем народом.

Петр Трофимов ведет себя на председательском посту несколько по-фронтовому, как на войне, в бою, когда нет техники, поредел боевой порядок и нужно — хоть умереть — но взять высоту. Высота эта представляется Петру полновесно оплаченным трудоднем. Не только поднять, зажечь, заставить людей работать, но и по достоинству вознаградить их труд, нимало не заботясь при этом о собственной персоне, — такова цель председателя, таковы его стратегия и тактика.

Чем-то похож Петр Трофимов на Саню Малешкина, возмужавшего, повзрослевшего, вернувшегося живым с войны Саню.

Прочтите заново «Заколоченный дом» — и вы побываете на поле одного из тысяч сражений местного, и в

то же время всенародного значения, какие велись в пятидесятые годы в нашей деревне, будь то Лукаши или Пекашино, — за хлеб насущный, за души людей, за будущее искони русской земли.

Вспомним, что Курочкин был тут первым, время написания повести «Заколоченный дом» помечено 1954 годом. Впоследствии это время будет изображено на эпических полотнах романов.

Вскоре после дебюта в жанре повести Курочкин написал сценарий фильма «Сора в Лукашах». Фильм получился злободневным, имел успех у зрителей. А еще раньше был рассказ «Дарья», на основе его — пьеса «Козыриха», в московском Театре имени Пушкина она шла под названием «Сердце девичье затуманилось». С самых первых шагов в литературе Виктору Курочкину в общем все удавалось: повесть, пьеса, сценарий. Что ему помогало (разумеется, прежде всего талант), так это знание самых законов дела, за которое он принимался, врожденная крестьянская основательность, профессиональная мастеровитость. Чему он учился, науку усваивал крепко: окончив Литинститут, год за годом приходил на занятия литкружка при Ленинградском отделении издательства «Советский писатель». Как говорится, и я там был, не только мед и пиво пивал вместе с Виктором Курочкиным, но и выслушивал горькую правду о своих первых литературных опытах. Как известно, успех любого литературного кружка зависит не только от педагогического таланта его руководителя, но и от уровня представленных на обсуждение сочинений. Может быть, даже в первую очередь от этого уровня. Уровень обсуждения в нашем кружке и определялся такими вещами, как повести Курочкина «Заколоченный дом», «Записки судьи Семена Бузыкина», его рассказы: «Дарья», «Мачеха», «Цыган Бенко», «Лесоруб», «Яба».

... Действие пьесы «Козыриха» тоже происходит в деревне, в лесной курочкинской деревне. Сюжет ее, с высоты достижений нашей литературы последних лет, может показаться упрощенным, облегченным, романтизированным, даже наивным: знатная свиноводка Татьяна влюблена в красавца лесника Антона, в него же влюблена и мужняя жена Дарья. У этой Дарьи сильный характер, и страсть ее — роковая. Она дает мужу отставку, поступает на свиноферму и обгоняет Татьяну по показателям привеса. Сюжетец, скажем так, бодренький, в духе начала пятидесятых годов. Но прочтите занево

рассказ «Дарья», пьесу «Козыриха», послушайте, как говорят герои и героини, какие частушки они поют, сколько в их речах воистину народного острословия, остроумия, как свободно, всякая на свой лад, изливаются в речах души!

Но не ищите в рассказах, пьесе, повестях Курочкина какой-либо сугубо местной диалектной особенности. Нет ее и в пейзаже, обрисовке быта. Как будто писатель выбрал себе наблюдательный пункт, откуда видна и слышна ему вся российская нечерноземная глубинка, все ее Лукаши, Ковши, Глазуны, Закуты. Именно в чувстве меры, в способности отбора художественных деталей, языковых средств, в обобщенном, укрупненном — в духе лучших литературных традиций — изображении действительности состоят сильные стороны дарования Виктора Курочкина.

Обратившись, в первую пору писательства, за жизненным материалом к деревне, Курочкин впоследствии еще не раз вернется в близкие сердцу, родные места. Но испробованные однажды ситуации, конфликты, характеры, даже самые атмосфера, дух, настроение ни разу не повторятся в его произведениях.

Теперь, когда завершен обидно короткий творческий и жизненный путь этого необыкновенного — как и должно настоящему таланту — писателя, можно попробовать уловить внутреннюю, может быть подсознательную, связь сочинений Курочкина с сюжетом его судьбы. Ведь может же не только гений, не только Пушкин, но и наш современник, если он настоящий художник, провидеть свою судьбу, поставленные ему пределы и сроки.

Находясь в расцвете всех сил, обласканный хотя и скромным, но настоящим успехом в литературе, театре, кино (критические отзывы на произведения Курочкина не бывали однозначными, Курочкин ну никак не подходил под общую мерку), деля свое время меж рабочим столом, рыбачеством, которому он предавался со всею страстностью натуры, дружескими застольями, тоже сыгравшими немалую, может быть и коварную, роль в его жизни, Виктор Курочкин написал «Последнюю весну» — повесть о старике Анастасе, брошенном уехавшими в город детьми на попечение соседей в деревне. Печаль этой повести навешана чуткой, отзывчивой душе автора самой пронзительной горестью, исходящей из сотен и тысяч окон стариковских сиротских избышек в сдвинутой с места деревянной России. Внимание писателя при-

ковано к явлению общественному, общезначимому, но трагедия деда Анастаса, последний год его жизни за печкой в чужом доме, провалы и возвращения памяти, горячая работа больного сознания, чересполосица реальности и бреда, самая смерть написаны не только с потрясающей глубиной проникновения, личностной индивидуализации, но еще и с клинической объективностью истории болезни. . .

В этой связи мне вспоминается случай. Дело было после похорон Виктора Курочкина на поминках в его доме. За столом поднялся человек в штатском, но с выправкой кадрового военного, в прошлом однополчанин покойного, и рассказал такую историю. Госэкзамены в танковой академии принимает ее начальник, седой генерал. Экзаменующийся молодой лейтенант ответил все правильно по билету. И генерал ему задал вопрос: «Что делать, если, используя все ваши знания механики, электроники, систем современного танка, вы не можете запустить мотор, в боевой обстановке, зимой? . . .» Лейтенант призадумался. Генерал усмехнулся: «Читайте повесть Виктора Курочкина «На войне как на войне». Там экипаж самоходной пушки роет яму под пушкой и греет ей брюхо горящим соляром. Варварский способ, но не надо о нем забывать».

С таким же основанием можно посоветовать вступающему на врачебное поприще молодому специалисту по высшей нервной деятельности прочесть повесть Курочкина «Последняя весна». Курочкин писал ее так, будто предвидел, что не через годы даже, а через месяцы кровоизлияние в мозг повергнет его в безъязычие, в немоту, что целые восемь лет он не напишет и не скажет ни слова, и никто не узнает, какие мысли, думы, крики о помощи стеснятся в его голове, и конец этой муке принесет одна только смерть. Будто о нем написал в эту пору одно из лучших своих стихотворений Глеб Горбодский: «Что в голове его творится? Болото там? Иль море там? Так бесприютна эта птица. . . А на земле, как говорится,— всё на местах. Все по местам».

В первое время болезни Виктора Курочкина мне пришлось дежурить у его постели в больнице, ночами. Дежурили поочередно его друзья — не те, с которыми он якшался, будучи самозабвенно до слабости падким на всяческие общения, а те, что вместе с ним ходили в литературное объединение, любили его за талант, невидимый снаружи, порою, казалось, позабытый даже са-

мим Курочкиным, но обязательно прораставший сызнова в каждом новом произведении, воистину многогранный: и веселый — и грустный, и насмешливый — и чувствительный, и раздумчивый — и безудержно страстный.

Писал, да и жил Виктор Курочкин согласно какому-то внутреннему барометру, подверженный циклическим перепадам настроений, состояний. То он вдруг исчезал из поля зрения, где-то уединялся, работал запоем. Впрочем, рабочие эти периоды длились сравнительно недолго, да и сами повести Курочкина коротки, книги не толсты; все написанное им можно прочесть, с перерывами на сон, отдых, прогулки, дня за два. Стоило Курочкину закончить очередную работу, отнести написанное в журнал или издательство — и он пускался в «веселье». Его можно было встретить в разнообразных компаниях за столом. Он «веселился», не щадя себя, не жалея, с некоторым даже надрывом. В «веселости» его проглядывала подступающая к горлу депрессия. В такие моменты он любил декламировать стихотворение Блока «Поэты»:

За городом вырос пустынный квартал,
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой...

От липнувших к нему в периоды «веселья» «друзей» («друзья» хорошо описаны В. Курочкиным в повести «Урод») он избавлялся на рыбалке. К этому делу, как и вообще ко всякому делу, он относился свято. Два лета мы жили с ним вместе на лесной реке Куйвасарь близ Ладожского озера, в каютах пустующего в летнее время дебаркадера, — осенью и весной здесь останавливались охотники. В окно каюты мне было видно, как Курочкин пишет... Писал он от руки. Почерк у него неразборчивый. Написанное сам и перепечатывал на машинке. Так мы жили: накопаем червей, поудим окуней и язей, сходим в лес, посидим на причале — и принимаемся за писание. Попишем — глядь, пора и обедать. Приготовление ухи и, особенно, судака по-польски Виктор Курочкин не доверял никому, с некоторым даже высокомерием отстранял непосвященных, настаивал на своих особых профессиональных правах в этом деле.

Он обладал незаурядным даром лицедейства, перевоплощения (надо думать, это свойственно вообще писательскому призванию), легко входил и вживался в роль,

ну, скажем, в роль кулинара или в роль рыбака. Жизнь предоставила ему возможность исполнить множество разных, в том числе и весьма серьезных ролей. Таковую жизнь он сам себе выбрал.

Рассказывают, однажды в зимнюю пору Курочкина забрали в милицию. Он возвращался с подледного лова, в валенках с галошами, в ватных штанах, в шубейке и малахае, с ящиком на особом, собственного изготовления, полозе, которым он чрезвычайно гордился и хвастался в гораздо большей степени, чем всем своим творчеством вкуче. В центре города, может быть даже на Невском проспекте, он вдруг увидел афишу только что вышедшего на экраны фильма «Сора в Лукашах». Курочкин остановился против афиши, внимательно ее прочел. Затем присел на свой ящик, задумался, что-то такое вспомнил и заплакал в три ручья. Понятно, милиция подхватила под руки плачущего в неположенном месте рыбака. Курочкин пытался объяснить, что он, именно он является автором этого фильма. Никто ему на слово не поверил, конечно. И что особенно удивительно, хотя вполне характерно для Курочкина: казалось, и сам он не очень-то верит в такую возможность, во всяком случае потрясен, увидев свою фамилию на афише. . .

Вообще Курочкина интересовала природа актерского ремесла. Опыт сотрудничества с кино и театром дал писателю возможность подглядеть в этом мире нечто такое, чего никто другой не увидел, и написать повесть-фантазмагорию «Урод». В ней с блеском проявился дар Курочкина-комедиографа. Обращаясь мысленно к творчеству Курочкина в целом, нельзя упустить из виду эту повесть, хотя она стоит несколько особняком в ряду других его сочинений. Повесть написана в гоголевской традиции, с лукавой усмешкой над странностями человеческой природы. Образы в ней обрисованы крупно, отчетливо. Оставаясь верным реалистической манере, Курочкин мастерски, с точным соблюдением меры пользуется приемом гротеска.

Сюжет повести построен на перипетиях судьбы, может быть, неплохой, но вполне бесталанного человека из городского предместья, Отелкова. Особенная телесная «фактурность» Отелкова сыграла с ним в молодости плохую шутку: он стал актером. Его уважают за это обыватели городской окраины, в недавнем прошлом села Фуражки, но делать Отелкову в мире искусства

решительно нечего, и сам он, человек по природе простой и честный, понимает свою бездарность, живет в трагическом раздвоении, а обрести заново цельность не в силах: слаб человек. В этот, казалось бы, вполне заурядный, даже банальный сюжет искусно вкраплены причудливые, полуфантастические сцены из жизни отелковской собаки-боксера по кличке Урод. . .

Курочкин не то чтобы осуждает своего героя, он вроде даже сочувствует ему, но главное не в этом, авторское присутствие незаметно в повести. Силой таланта он преобразует жизненный материал, поднимается над ним, достигая той высоты художественного обобщения, которая известна нам по настоящей литературе.

По-художнически зорко Виктор Курочкин подмечал в людях, да и в себе самом тоже, вот это несоответствие «фактуры» с внутренним содержанием исполняемой роли. В роль профессионального литератора, кинодраматурга — не в творческом, а в житейском смысле — войти ему так и не пришлось. Он постоянно сознавал в себе это несоответствие, в тех его произведениях, где рассказ ведется от первого лица, фигура писателя-рассказчика обрисована непременно уничижительно, местами напоминает шарж. Перелистаем хотя бы «Наденьку из Апалева», написанную примерно в одно время с «Последней весной», в середине шестидесятых. Вот, пожалуйста. . . «Я до того обленился в Апалева, что даже мух от себя не гоняю. Второй месяц на исходе — у меня ни строчки. Чистый лист на письменном столе пожелтел и сморщился. День за днем бью баклуши, а по выражению Наденьки, «изучаю жизнь». Она старается вовсю: таскает меня по полям, бригадам. . . Люди на меня смотрят по-разному, но больше с насмешливым любопытством. Только, пожалуй, в глазах Наденьки я — фигура, а в глазах остальных — нечто среднее между уполномоченным из района и колхозным лодырем Аркадием Молотковым. . .»

Несколькими годами ранее «Наденьки из Апалева» был напечатан рассказ Юрия Казакова «Некрасивая» — по-бунински сильный, художественно-рельефный, талантливый и, как говорится, «беспощадный» рассказ о сельской учительке, которой выпал несчастливый билет в лотерею естественного отбора: она некрасива, а стало быть, и несчастна. Никто не любит и не полюбит ее. Она живет, оплакивая себя, умывая душу слезами, постоянно готовая к унижению, милостыне. И кажется,

выхода нет. Казаков не первым взялся за эту «вечную» тему...

Этой же теме посвящена и маленькая повесть Виктора Курочкина «Наденька из Апалева». Я не знаю, читал ли Виктор Александрович рассказ Юрия Казакова, и я не собираюсь взвешивать абсолютные художественные ценности двух произведений, написанных на сходную тему. Я только хочу сказать, что свою «Наденьку» Виктор Курочкин написал как будто из потребности оспорить каноническую трактовку «проклятой» темы роковым образом обездоленной некрасивой девушки.

Со свойственной ему страстностью он полемизирует с автором «Некрасивой» или с кем-то еще, защищая, жалея и даже воспевая свою Наденьку, кинемеханика из села Апалева, некрасивую, нескладную, махнувшую на себя рукой, преклоняясь перед силой ее духа, перед жертвенной ее готовностью послужить людям, перед воистину обескураживающей добротой. Некрасивая Соня у Казакова не может подняться над властью инстинкта, она вполне бездуховна; изобразительная сила рассказа лишь усугубляет его негативизм; тут не оставлено места даже для сострадания. От некрасивой Наденьки из Апалева исходит постоянный, ровный свет одухотворенности, ума, бескорыстия. Наденька тоже вначале страдает от невнимания к ней первого апалевского парня шофера Околошеева, но характер у нее крепче околошеевского, и уж если кто полюбит ее, то обретет он — сокровище. Но надо еще суметь сокровище разглядеть. Не всякому это дано, вот в чем дело.

Конечно, встречаются в наших селеньях, и не только в селеньях, несчастные до неприличия, некрасивые и неумные Сони и прелестные, хотя тоже некрасивые Наденьки. Сопоставляя сходные по теме вещи двух писателей одного литературного поколения, я хотел обратить внимание на главное, пожалуй, оставшееся неизменным на протяжении всего творческого пути качество таланта Виктора Курочкина — его особенную человечность.

Впрочем, каждое произведение Виктора Курочкина обладает известной автономией и по жизненному материалу, и по теме, и даже по настроению, авторской манере. В разные периоды своей жизни Курочкин бывал неодинаков, писал он с интервалами, иной раз затягивавшимися надолго. В сравнительно небольшом его творческом наследии каждое произведение самоценно и, соответственно, в очерке творчества достойно отдельной

страницы или хотя бы абзаца, иначе очерк будет неполным.

Ну вот, к примеру, рассказ «Яба». Сюжет его, надо думать, Курочкин приметил в жизни еще в бытность свою народным судьей (в этой должности он пребывал с 1949 по 1951 год). Рассказ подобен притче, в нем заметны и некоторые художественные условности, преувеличения и сказочная манера; и герои его: пастух Филипп, бригадир Ремнев, районщик Филимон Петрович с любимой присказкой «я бы...» (за это и прозван «Ябой») представляются типажам обобщенными, носителями определенных черт своего времени и социального строя.

Чтобы почувствовать особость, нерв этого курочкинского рассказа, достаточно прочесть его первые строчки: «В колхоз «Красные бугры» лучше всего добираться пешком. Болото, потом лес, потом еще болотце, погрязнее и подлиннее первого, и появятся три бугра один за другим, а на них деревни: Малые Ковши, просто Ковши и Большие Ковши. Справа бугры прорезал овраг, на дне которого еле шевелится река Копуха. С другой стороны до леса тянутся поля водянисто-зеленой озими и рыжей зяби.

Жизнерадостный народ поселился на буграх. Когда была война, ковшата говорили: «Вот кончится война, тогда мы заживем...»

Рассказ о том, как некий олух царя небесного по имени Филимон, получив хоть маленькую, но власть, в районном масштабе, возомнил себя той самой печкой, от которой всем надобно танцевать: «Я бы...» Пастух Филипп пас свое стадо, бригадир Ремнев бригадирствовал, Филимону Петровичу для чего-то, из высших соображений, захотелось их поменять местами. «Пастух! — воскликнул Филимон Петрович. — Что такое пастух? Это фигура, это своего рода тоже организатор. Нам нужно смело выдвигать людей на ответственные посты...»

И что же вышло? Бригада осталась без головы, Филиппа хватил кондрашка. Рассказ приурочен к определенному месту и времени, но, согласитесь, та самая злоба дня, которая двигала перо Курочкина, не устарела и в наши дни, и не только в сельской глуши попадаются филимоны, уверовавшие в эту формулу: «Я бы...»

Рассказ «Яба» напоминает отдельно взятую главу или даже, пожалуй, пролог к более крупному произведению. Так и было вначале, «Яба» включалась автором

как глава в повесть «Записки судьи Семена Бузыкина». У этого, самого любимого Курочкиным детища и, может быть, самого главного его произведения особая судьба...

Впервые Курочкин прочел «Записки» в уже упомянутом литобъединении, потом повесть долго лежала в столе. Выходили в свет другие вещи Виктора Курочкина. «Семен Бузыкин» дожидался своего часа. Была ли на то воля автора, или же имелись иные причины, судить не берусь. Впервые главы из «Записок судьи Семена Бузыкина» напечатаны в № 6 журнала «Аврора» за 1974 год. Публикация сопровождается сноской: «журнальный вариант». Что кроется за этой редакционной оговоркой, обыкновенно остается неизвестным читателю...

Сам автор не участвовал в подготовке «Записок» к печати. Он только приходил в редакцию, садился против меня (я тогда заведовал прозой в «Авроре») и смотрел мне в глаза. Губы его шевелились, он силился что-то сказать и не мог. Писать он тоже не мог, даже позабыл, как пишется собственная фамилия. Выдерживать взгляд Виктора было невыносимо. Я говорил ему что-то такое бодрое, он слушал меня. Глаза его наполнялись слезами. Он махал рукой, как выпавший из гнезда галчонок машет коротким для полета крылом, и уходил.

Исследователи творчества, биографы Виктора Курочкина — они еще будут: в истории нашей литературы судьба и книги этого писателя оставили след, с годами он обозначится в полной мере, — обратятся к «Запискам судьи Семена Бузыкина» не только как к литературному явлению, но и как к исповедально-искреннему отчету писателя о драматичном периоде своей жизни. Конечно, не нужно отождествлять судью Семена Бузыкина, известного в районе под прозвищем Буза, с судьей Виктором Курочкиным. И все же... Бузыкин чем-то напоминает Петра Трофимова из «Заколоченного дома», а Петр Трофимов, пусть самую малость, смахивает на командира самоходки Саню Малешкина. Что роднит этих в общем-то очень разных людей? Выбор места в сражении, будь то танковая атака, возрождение к жизни разоренного села в послевоенное лихолетье, судебный процесс, где на карту ставится доброе имя и будущее не только подсудимого, но и судьи. Во всех этих ситуациях любимые герои Курочкина оказываются на острие атаки, берут на себя всю ответственность за исход сраже-

ния, кампании, дела, руководствуясь при этом, может быть даже и безотчетно, врожденным, неотъемлемым, совершенно органическим сознанием нравственного долга перед отечеством и людьми.

Тут, к месту, надо заметить, что Сане Малешкину все-таки было легче (хотя он и погиб в своем первом бою), чем судье Семену Бузыкину — в черед, не сулящей исхода и отдыха, таких по-житейски простых и по-шекспировски фатальных дел, когда надо держать в туго сжатой горсти воли закон и совесть, сострадание и беспристрастность, эмоции и холодный расчет ума.

Однажды судья Бузыкин поехал в не столь отдаленный колхоз провести занятие с коммунистами. Билетов на проходящий поезд не было. Бузыкин, парень не промах, вскочил на подножку с другой стороны. На той же подножке, может намеренно, может случайно, оказался когда-то судимый им и осужденный, теперь освобожденный из мест заключения малый. Бузыкин помнил, как этот малый после суда грозил ему кулаком: «Погодите, отбуду срок, я вам припомню!» И вот настал час расплаты. Малый лихорадочно докуривал папиросу: докурит и примется за судью. У судьи сдали нервы. Он изготовился прыгнуть, уже и поручень отпустил. А поезд шел шибко, и насыпь была высока. И что же?.. Осужденный, грозивший мстью, спас излишне нервического судью. И в этом случае Курочкин склонен к самоуничижению. . .

Заканчивается сцена авторским монологом, кардинально важным для понимания нравственных основ всего творчества Виктора Курочкина: «Мне теперь ничто не угрожало. Но было так плохо, словно я совершил непростительную подлость. Когда я вспоминаю этот дорожный случай, меня передергивает, как от озноба. . . И в то же время этот случай заставил меня смотреть по-другому на человека. В самом плохом, отвратительном я пытаюсь отыскать хоть крупницу доброго, хорошего. И когда мне преподносят человека, как идеальный пример, я этому так же не верю, как не верю, когда мне говорят о человеке, как о кладезе зла и пороков».

Виктор Курочкин, насколько я помню, никогда не рассказывал о своем судействе. В хранящемся в военкоматском архиве личном деле офицера запаса Виктора Александровича Курочкина нашлись некоторые документы того времени, из которых явствует, что автор «Записок судьи Семена Бузыкина» был неважнецким

судьей: многие его приговоры опротестовывались за мягкостью, сама деятельность в роли служителя Фемиды увенчивалась не лаврами, а взысканиями и выговорами. Надо думать, судья этого и заслужил. Нет проку задним числом выгораживать незадачливого районного народного судью. Только давайте вспомним, какие были тогда времена: 1949—1951. И попробуем понять, как разрывалась душа молодого судьи между правыми и виноватыми, истцами и ответчиками, высшей истиной и статьёй закона, совестью и указкой свыше; а хотелось ей, этой самой душе, гармонии, цельности, и сама душевность судьи вменялась ему в вину. В ту пору художник, прорезываясь в судье, мешал беспристрастно судить и все более властно толкал на путь, решительно несовместный с судебной карьерой.

Как личность и как художник Курочкин сформировался на войне и в годы своего судейства в сельской глубинке. Оба эти периода одинаково важны. Сам жизненный материал, почерпнутый на фронте и в зале заседаний районного суда, впоследствии примерно поровну распределился в художественных произведениях писателя. Молодость свою Виктор Курочкин провел на переднем крае — в самом прямом, непосредственном значении этого достаточно уже примелькавшегося словесного трафарета. Отсюда и знание жизни, и богатство человеческих индивидуальностей, и неординарность сюжетов, коллизий, художественных решений, и творческая смелость, и талантливая причудливость замыслов.

Творчество Курочкина опиралось на мощный плодотворный слой опыта, памяти. Так много он знал и мог бы еще написать. Мог! . . . В том самом помянутом его личном деле есть справка о тяжелом ранении лейтенанта Курочкина при форсировании Одера, свидетельства о награждении орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». Курочкин все-таки скрытный был человек. Чего он не любил, так это рассказывать о себе. Дневников не вел. Автобиографических книг не писал. Об отрочестве его, ранней юности известно лишь, со слов жены, что перед войной семья Курочкиных жила в Павловске под Ленинградом. Когда в Павловск ворвались немцы, Виктор с отцом, под пулями, пешком ушли в Ленинград. В зиму 1941—42 года они работали на одном заводе, станки их стояли рядом. В блокадном Ленинграде Виктор освоил профес-

сию шлифовщика, он шлифовал головки зенитных снарядов. Когда умерли от голода отец и бабушка, он остался совсем один! К весне сам плохо стоял на ногах, его увезли из Ленинграда по озеру, в Ярославле лечили от дистрофии. Потом уже было танковое училище в Ульяновске. . .

В повестях Курочкина — военных или из мирного времени — немало грустных страниц. Но вчитайтесь в его судьбу, отразившуюся сквозь призму художественного видения жизни, и вы поймете, чем заслужил он право на эту грусть. Основой, опорой жизни и подлинного писательского мужества служила ему всегда вера в духовную силу, в нравственное здоровье и стойкость русского человека. Тут черпал он силы в житейских невзгодах, тут источник доблести на войне.

Свою последнюю повесть — «Двенадцать подвигов солдата» — Виктор Курочкин не закончил. Первая ее часть — «Железный дождь». У героя этой повести Богдана Сократилина двенадцать наград за войну, из них девять медалей «За отвагу». Повесть складывается из бесед автора со своим героем. Автора интересует природа доблести русского солдата. Солдат не похвастается своей доблестью, он только вспоминает, как это было на войне. В рассказах его трагическое перемежается с курьезным, частное — с общезначимым, эпическим. Те же самые пропорции, распределение света и тени, что и во всем творчестве Виктора Курочкина.

Уже в самом зачине этой повести всякий знающий Курочкина улыбнется знакомой руке: «С.— крохотный городишко в окружении болот, озер и сереньких деревень. Природа там и сейчас по-русски трогательная, климат сырой, а жизнь, как и везде, обычная». Экспозиция так коротка, что не выкинешь ни словечка, и так в ней много всего: и пейзаж, и социальная характеристика, и авторское отношение.

Курочкин писал принципиально «обычную» жизнь, «как везде». Из этой обычной жизни попал на войну Саня Малешкин и стал героем, не ведая за собой никаких героических качеств. В «крохотный городишко С.» возвратился с войны, совершив двенадцать солдатских подвигов, Богдан Сократилин.

Язык в повестях Курочкина свободен от какой-либо стилизации, влияний и поветрий. Это — образный, емкий, экономный, местами намеренно скупой на художественные средства и в то же время подвижный,

необычайно живой, близкий к бытующей разговорной речи, народный в самой своей основе и взыскательно выверенный литературный язык. Если говорить о языковой традиции, которой следовал Курочкин, то это чеховская традиция.

В нашей критике принято числить писателей списками, по цеховому признаку: вот, к примеру, военные писатели, вот деревенщики, а это и вовсе ни то ни се — лирическая проза. Курочкина не поминали ни в одном таком списке. Дело здесь, мне думается, не в величине дарования, не в доле участия в общем литературном процессе. Просто Курочкин — сам по себе. Он одновременно и баталлист, и деревенщик, и лирик. В ряд его не поставишь ни с кем — выпадает. Он прежде всего, по самой сути своей — художник. Талант его, может быть, как говаривали в старину, скромный, но в то же время он дерзкий, насмешливый. И грустный, мягкий, лирический. Голос Курочкина негромок, но не слышать его в многоголосом хоре нельзя, это — особенный голос.

...Когда мы прощались с Виктором Курочкиным в Доме писателя, к гробу вышел Глеб Горбовский и прочел специально написанное им ночью стихотворение «Виктору Курочкину». Я хочу привести его здесь, не разделяя на строки и строфы, — в первый раз Горбовский и прочел его, как слово прощания у гроба покойного друга:

«Остановился танк. На пашне... Железный гроб. Молчит броня. Открылся люк. С вершины башни мальчишка смотрит на меня. Белоголовый. Гимнастерка великовата... А глаза глядят измученно и зорко на мир, где корчилась гроза! Еще гремела в отдаленье, лучилась молний остря... Но все же бойню одолели; включай, природа, соловья. Слагайся гимн во имя мёртвых! Эй, лейтенант, домой ступай!.. Но пальцы к поручням примерзли: не оторвать, хоть — отрубай! Не отпускает сталь солдата. Броня крепка! Прошу учесть. Он понял: дергаться не надо, его удел — остаться здесь... Он в танк вернулся. Люк задраил. И вновь — враскачку — вдоль страны... Мы от инфарктов умираем, а лейтенанты — от войны. Еще их носит ветер лютый по обескровленным полям, но приглядишься, они оттуда, с войны... Их государство — там... Смотри, как жалкие подранки, в священном гневе и тоске блуждают призрачные танки по Курской огненной дуге... Война взяла их в час вели-

кий, любовь и разум ослепя. И до последнего их крика не отпустила от себя!»

Еще мне запомнились слова, сказанные тогда Федором Абрамовым: «...Виктор Курочкин сумел донести до человеческих душ то самое важное, что думал, чем мучился, чем жил. Он сумел пробиться к человеческим душам... И в этом великое достоинство, миссия — и настоящее счастье художника! Это немного кому удается...»

Когда я стоял над могилой Виктора Курочкина, под елями, в майский вечер, я думал еще и о том, что из всех деревьев русского леса Виктор Александрович выделял своим особым родственным вниманием елку. Да ведь и правда, печальное, строгое на закате, сверкающее, даром дающее каждому счастье в Новый год, вечноезеленое, вечное это дерево сопутствует русскому человеку в жизни и осеняет его после смерти.

КАЛОРИЯ

Этим летом я писал заметки, или, как еще говорят, документальную повесть об одной не очень большой, но и не маленькой фабрике, выпускающей рояли и пианино. Я брал интервью у директора и у столяра, у фортепьянного мастера и у навивщика струн, у старого рабочего и молодого рабочего. И в общем, можно бы точку поставить, но чего-то мне не хватало — концовки, изюминки. То есть не изюминки, а резонансной елки недоставало в моих записках: из этой елки делают деку фортепьяно, а в деке материальная, что ли, основа, субстанция музыки.

Резонансная елка растет на севере Волгогдчины, в Харовском районе. Главой о харовской елке, так мне казалось, можно завершить записки. Но кончилось лето. Зимой жизнь замирает не только в еловом лесу, но даже и в душе повествователя, привычного к странствиям, воцаряется любовь к домоводству.

Настало новое лето, и мысль о резонансной харовской елке, из которой делают чуткие деки фортепьяно, вдруг неожиданно укалывала, как мысль о неотданном долге. Вот тут-то и зазвонил телефон. (Прямо по Корнею Чуковскому: «У меня зазвонил телефон...»)

Позвонил мне из Вологды писатель Василий Белов: — Я еду в деревню, в Тимонику, — сказал Василий. — Если хочешь, поедем. В избе места хватит. На

озеро сходим, рыбы поймает. Баню истопим. Посмотришь, как мужички наши живут вологодские... Правда, немного их осталось, но есть. Пока что есть...

— А как добираться-то в твою Тимонику?

— До Харовска на архангельском поезде. Поедешь — телеграмму дай, тебя в Харовске встретят, свезут...

Вот как повернулось или, лучше сказать, повезло. Именно в Харовск, к харовским резонансным елкам, которых не доставало в записях этого лета, мне открывалась теперь зеленая улица: «встретят, свезут». И не к елкам свезут, а к Василию Белову, с которым в последний раз мы гуляли не где-нибудь, а в Латинском квартале, в том самом Латинском квартале, где можно гулять далеко за полночь, не сознавая позднего времени, ибо гулянье в Латинском квартале не унимается до утра...

Так вышло: гостиница, где жила наша туристская группа — «Сите-Бержер», — находилась неподалеку от вечно гуляющего Латинского квартала: сначала вверх по улочке Рю-Монмартр, затем налево по большому кольцу бульваров до улочки Сен-Дени и по улочке этой, не то чтобы напрямиком, слегка вихляя, согласно извилам улочки Сен-Дени, — до берега Сены. А на том берегу и Латинский квартал, и дальше — бульвар Сен-Мишель, или, как его зовут парижане, Бульмиш...

Но это было давно. Теперь же я поспешил купить билет на архангельский поезд и в чередке румяных мальцов и девчонок, отъездивших на яблоках в южных краях и возвращающихся к первому сентября домой на север, среди их еще более румяных мамаш доехал до станции Харовск. Там меня встретили и отвезли до самого дома Василия Ивановича Белова, который, замечу кстати, известен каждому человеку в округе (небезызвестен он также и читателям книг в Париже).

Василий Иванович сидел у окошка в своей избе-тереме высоко над землей, над травой-муравой. Изба его широка в груди и плечах, из таких она срублена сосен, каких теперь и не встретишь в наших лесах. Первой моей мыслью было: «Ну как же вздымали-то эти лесины столь высоко без подъемного механизма? Какие тут жили добрые молодцы-богатыри?..»

Хозяин открыл оконце, и лик его как нельзя более соответствовал обрамлению: крутолобый, с мягкой, льняной куделькой волос, обметанный сивой, малость рыже-

ющей бородой, с озерной синью во взоре. . . Шофер, до-
везший меня до места, почтительно поздоровался с хо-
зяином:

— Здравствуйте, Василий Иванович!

Хозяин выбежал к нам и повлек за собою по широ-
ким ступеням лестницы, сначала в суглубь сеней, затем и
в просторные хоромы, в горницы, пахнущие старой смо-
лой сосной.

Тесаные беловским дедом стены как затекли смолою
без малого сто лет назад, так и остались медвяного цве-
та. Время превратило смолу в янтарь. Вдоль стен
поставлены лавки, отменно отполированные — не только
современными сукнами с примесью лавсана, но и домо-
ткаными юбками и портами давнишних жителей Тимо-
нихи. Лавки эти такой ширины и длины, что можно на
них и прилечь, и вытянуться во весь рост с устатку.

«Чтобы понять поэта, надо съездить к нему на роди-
ну». Кажется, так сказано в одном месте у Гете. Ну вот,
я приехал на родину поэта, вот и сидит у окошка на
лавке поэт, Василий Иванович. И все идет как по пи-
саному в этот момент приобщения к первоистоку, к почве
поэзии, — все и написано уже: многие литераторы при-
езжали к Белову в Тимонику. Да и сам Белов написал
немало о своей родине, вот об этой ее твердыне — сосно-
вой избе.

Листаю книгу Белова «Холмы». Ее открывает запев-
ка, стихотворение в прозе «На родине». Я процитирую
В. Белова — для тех, кто еще не читал его книгу, но
главным образом для себя. (Где-то, помнится, я читал,
среди наставлений, даваемых мэтрами литературы начи-
нающей пишущей братии, что полезно бы сесть да и
переписать от руки, ну, скажем, «Анну Каренину». Пе-
реписывание образцов высокой прозы приучает руку к
высокому стилю. . .)

«И вот опять родные места встретили меня сдержан-
ным шепотом ольшаника. Забелела чешуей драночных
крыш старая моя деревня, вот и дом с потрескавшимися
углами. . .

Из этой сосновой крепости, из этих удивительных во-
рот уходил я когда-то в большой и грозный мир, наивно
покаявшись никогда не возвращаться, но, чем дальше и
быстрее уходил, тем яростнее тянуло меня обратно. . .»

Я еще позволю себе цитату — из предисловия к кни-
ге «Холмы»: его написал Евгений Носов, курянин, побы-

вавший, как я, в Тимонихе в некий необозначенный год...

«Вскоре открылась Васильева деревенька Тимониха. Разбежались вправо и влево леса, стало просторно и светло. Высокие теремные избы стояли на муравистом холме, у подножия которого увертывалась от лобастых валунов шустрая речушка с коричневой лесной водой...

В окне дома над вековой березой мелькнуло лицо, и вот уже на крылечко выбежала и прижалась к груди сына мать Анфиса Ивановна. Она выбежала босая, в простеньком платье, и лицо ее было удивительно просто — круглое, в девичьих конопушках, русые, такие же, как у сына, волосы мягко, будто платочек, округляли голову...

Ну конечно, была истоплена баня, и стоял на большом, скобленном, ничем не покрытом столе самовар, пеклись бесподобные рыбники, подавались пуговичной величины рыжики, янтарное морошковое варенье, отдающее медом, а вперемежку с чаем баловались черникой с молоком, которую разлюбезная Анфиса Ивановна преподнесла нам в огромном деревянном лотке...»

Все так было и в этот раз. Только рыбники явятся несколько позже, после того, как мы с Василием сходим на озеро порыбачить и принесем окушков да сорожат. Я дивился домашней утвари, высоким сводам беловской избы, сельским яствам, которыми нас потчевала Анфиса Ивановна, но дивованье мое было, что ли, вторичным. Я об этом уже прочитал, каждой вещи в беловском доме назначено было место, составлен некий путеводитель, произведена опись, инвентаризация. И хотя, с одной стороны, я находился у друга в гостях, но, с другой стороны, чувство заповедности сего места не оставляло меня, я присутствовал будто в музее, где посетителю разрешено не только ротозействовать, но отчасти и приобщиться к реликтам, к быту патриархальных времен: насыпать из берестяной солонки горку соли прямо на стол, взять из чугуна картошку в мундире, нацедить из поющего самовара чайку, забелить его молочком...

Беловские предки, конечно, не ведали, что настанет такое время, когда их изба послужит пристанищем праздным потомкам, то есть праздным в том смысле, что для жизни не нужно им будет ни пахать, ни сеять, ни жать, ни в лес идти по дрова. (Изба настолько избыточно велика, что можно отпилить от нее полешко дров — не убудет. Так и решается проблема топлива в послед-

ние десятилетия. Избу опиливают, жгут на дрова, а она все стоит.)

Мы с Василем перешли из столовой в большой кабинет. (Есть еще один кабинет, вовсе уединенный, тихий, с маленьким, как в келье Пимена-летописца, оконцем.) В большом кабинете Белова тоже стояли лавки вдоль стен, и стол здесь большой. И еще поставлены — чинненько в ряд — две деревянные кровати, похожие на ладейки-бадейки, с бортами, с глухими спинками, сквозь которые ног не проденешь, коль перерос,—ау!

— Я как приеду в деревню,—говорил мне Василий,—так у меня даже зубы на место становятся. Как в городе поживу — зубы шатаются. Там такая вода. А здесь попью из речки воды, и зубы на месте. И голова не болит, и желудок нормально работает. И волосы не лезут... Но конечно, и без столицы тоже не проживешь... Каждый месяц приходится ездить...

Не прерывая своих разговоров, мы вышли на волю. Василий повел меня по деревне Тимонихе, по лугам, по холмам. Он потчевал гостя не только грибами с картошкой за ужином, но даже и воздухом, запахом, говором своей родины. Дул ровный, широкий, упругий ветер, нес капли дождя и предвестие близкой осенней стужи.

Мы ступали по мокрой траве, не выбирая дороги или тропинки. Перелезли через изгородь, сошли к тихой речке, там женщина полоскала белье.

— Ну че, девка,—девке было за пятьдесят,—как ребята-то твои? — спросил Василий.

Женщина распрямилась и обстоятельно отвечала:

— Старшие мои замужем, Василий Иванович, дак внучатки теперь со мной...—Женщина пела по-вологодски — ласково, мягко и скромно, как луговая птица. (И Анфиса Ивановна за столом тоже давеча пела: «Нога у меня к ночи затосковала, затосковала, дак я натянула на ногу-то варежку, и прошло».)

Василий заговорил со своей односельчанкой для того, чтобы я услышал голос ее, похожий на полевую песню. Однажды, помню, зашел у нас разговор о таланте, и Василий сказал: «Что такое талант? Я не считаю себя талантливым. Живущие со мной рядом люди, в моей деревне и в других местах тоже, гораздо талантливее меня. То есть душевно богаче. Русские люди вообще талантливы. Только их иногда не слышат, голос у них негромкий... Вот разве в этом и есть мой талант: услышать и запомнить. Ну, и потом написать...»

Мы вышли за околицу деревни Тимонихи. Ветер по-прежнему не убывал, еще не осенний, но уже и не летний, пропахший мокрой травой и листьями, березой, ольхой и елью (харовской резонансной елью), багульником, грибами, должно быть рыжиками. Ветер был осязаемо плотен и вкусен, настолько, что, казалось, можно откусывать его и глотать.

Навстречу попался мужик с бревном на плече, и разговор с ним возник сам собой, с той же естественностью, как если бы нам навстречу попался медведь и мы, само собой, неизбежно пустились бы наутек сломя голову.

— Ты чего сам бревно-то тащишь? — спросил встречного Василий. — Вон трактор ходит.

Мужик с облегчением сбросил бревно наземь и ответил, закуривая:

— Дак че, Василий Иванович, когда он еще пойдет... Так-то вернее будет. У меня вон погреб просел...

Мы вернулись домой, и Анфиса Ивановна рассказала последнюю новость-бывальщину. По привычке мне хочется употребить тут словечко из литературного ряда — «новелла». Анфиса Ивановна рассказала новеллу. Новелла была свежа, горяча, как пышка, взятая прямо с противня, из печи. У соседки Анны загуляла овца, и вскоре об этом прознали бараны не только в Тимонихе, но и в Печихе. Не стало отбою от кавалеров. Но в появлении на свет еще одного ягненка, в приросте своего овечьего стада Анна не имела ни малейшей экономической заинтересованности, поскольку наличных покосов и выпасов едва-едва хватало ей, чтоб с горем пополам прокормить двух овец и барашка. Запереть же загулявшую овцу в стайку не подымалась рука: овца бы вконец извелась, измучила бы всю деревню отчаянным своим бляением. И что же? Анна нашла радикальный и гениальный в своей простоте и, главное, собственный, доморощенный, не имеющий прецедентов выход. Она взяла и помазала ваксой — обычной сапожной ваксой — одно местечко на шубе овцы, и у баранов пропал интерес к гулящей особе.

— Ты бы мог такое придумать? — спросил Василий, взыскующе глядя на меня.

— Нет, такого мне не придумать.

— Ну вот, а ты говоришь... Таких сюжетов у меня здесь сотни. Сиди и записывай. — Василий будто на кого рассердился, не то на меня, не то на себя или еще на кого-то третьего.

— Да я ничего и не говорю.

— Я бы мог здесь подолгу жить... Вообще мог бы жить.

— Так и живи.

— Я один не могу. У меня семья в Вологде.

Так мы сидели и сидели, привычные к городской мере времени, а деревня уже спала, и Анфиса Ивановна отошла ко сну, чтобы встать раньше всех, затемно затопить печку, замесить тесто, испечь пироги. Ветер к ночи усилился, позвякивало стекло в окошке. И вдруг появился еще один звук, скребущий, царапающий,— где-то напротив, на уровне крыши.

— Это скворешня,— сказал Василий.— Я ее делал. Надо поправить. Пойдем.

— Да ладно. Темно. Утром поправишь.

— Нет! Она будет вякать, я спать не смогу. Значит, плохо сделал...

Мы вышли в мокрые ветреные потемки, посвечивая фонарем, отыскивали тополь со скрипучей скворечницей. Василий полез на тополь, будто ему четырнадцать лет, а не сорок. Я направлял кверху свет фонаря, но он едва достигал нижних ветвей. Скрипение прекратилось, из тополиной кроны вывалился Василий Белов, съехал вниз по стволу и сказал:

— Ну вот. Теперь будет ладно. Я ее ремнем привязал.

И правда, сделалось ладно: дул ветер, обтекал монолиты изб, шурхал по драночным кровлям, и не было этого диссонансного звука, не вякало, не скрипело.

Ночь прошла в чересполосице сна, пробуждений, бессонницы; петухи заорали, когда утром еще и не пахло, следом за ними Анфиса Ивановна завозилась у печи.

Чуть свет я вышел из дому, увидел за ближней околицей поле, устеленное льном, и шибко идущую по нему молодую бригадиршу в белом плаще, с белеющими голыми икрами, с бригадирской меркой-рогулькой. Неподалеку, на соседнем бугре, виднелась деревня Лобаниха с церковкой. У самого леса урчали два комбайна, дожили клин ржи. По небу летели низкие облака.

Оглядев этот сельский пейзаж с приметами нови и старины, я направился полевой дорогой к лесу, и лес, как говорится, расступился передо мной и, соответственно, за спиной у меня сомкнулся. Лес был волглый, еловый, сплошь заваленный мертвыми чурками и хлыста-

ми, опутанный лишаями. К прогулкам, отдохновению и любованию этот лес мало располагал. Но я все далее углублялся в него по вязкой дороге с тележной колеей — тут, видимо, ездят за сеном на дальние покосы или же за дровами. Я пристально вглядывался в ели, понуро стоящие по щиколотку в болоте. Неужто это и есть резонансные харовские ели — певучие деревья, столь высоко ценимые в музыкальной промышленности? Правда, они не имели сучьев, только бедные кронки с ржавеющей хвоей. (Это и ценится: цельность древесных слоев, не нарушенных, не пронзенных суками.) Птичьих трелей не раздавалось, да и не могли они раздаваться в такую позднюю пору.

На самой дороге народились ночью волнушки, румяные, крепенькие, кровь с молоком. Я быстро разделся, снял майку, завязал в ней лямки узлом — получился мешок. Принялся собирать в него волнушки. Других грибов в этом мокром еловом лесу не росло. Да и волнушки, едва я наладился их собирать, вдруг пропали.

Принес я Анфисе Ивановне малость волнушек, она всплеснула руками:

— Батюшки, надо было корзинку-то взять... Помню, Женя у нас живал, дак утречком соберется с удочкой, босиком, вот такусеньких принесет рыбешек, да и на сковородку, сам и жарить станет...

Василию Ивановичу что-то сей день немоглось. (Это я сам придумал такое словечко: «сей день». На севере бытует: «сей год». Выражение это напоминает о той поре, когда время не разменивалось на мелочь месяцев, дней и часов, а понималось целокупно: «сей год».) Сей день Василию Ивановичу немоглось потому, что вчера, во время наших ночных прогулок на дожде и ветру, он простыл. Но делать нечего — Василий Иванович принялся натягивать сапоги и собирать необходимые для рыбалки припасы, а именно чай, сахар, ну и, конечно, котел.

— Уху будем варить? — спросил он меня без заметного энтузиазма в отношении ухи.

— А, ладно, без ухи проживем.

— Ну, смотри.

Анфиса Ивановна, провожая нас на рыбалку, сказала о том, как двое деревенских парней вот так же пошли порыбачить, только позднее, уже в октябре, на озере забереги уж были, первый ледок. Ушли и ушли. Хватились их, только когда уже радио замолчало: ребя-

та-то где? . . Пошли на озеро с фонарями. Всю ночь круг озера бегали, звали — ничего. Утром на лодке поехали и нашли. Ихняя лодка воды полнехонька. Один уцепился за лодку, так и застыл. Еле пальцы разжали. Другой лежал поперек лодки. Видно, друг-то его хотел спасти, лодку к берегу гнал — и погиб.

— В озере у нас дно не держит,— сказал Василий.— Вроде бы дно есть, а и нет.

— Озеро у нас бездонное, да ветреное, с норовом,— сокрушалась Анфиса Ивановна.— Ой, смотрите, ребята. . .

— Мы-то местные, знаем, как к нему подойти,— успокаивал мать Василий.— А вот приезжих оно не жалует.

— Дак и те ребята местные были. . .

Ладно. Пошли. Краем поля, мимо работающих комбайнов, мимо пасущегося телячьего стада, пробитой в кочкарнике тропой, березняками, еловой глухоманью, по тонким жердинам, перекинутым через ручьи. Деревя расступились, открылась большая вода — отнюдь не замкнутое озерцо, которое можно обежать или переплыть саженьками, а широченный плес с открытым горизонтом, с едва различимым в тумане тем берегом.

— Большая у вас вода!

— А ты что думал, у нас все большое. Лес большой, тайга. Избы большие. Поля, я помню, тоже большие были, теперь ольхой заросли. . . Только мужички у нас не шибко большие. Почва худая, подзол. . .

Мы разговаривали, сидя в «станке», в беседке квадратного сечения, эдак метра два на два, о четырех тонкомерных столбах, с дошатай кровлей, с полом и бортиками, но без скамеек, у самой воды. Надобность станка именно в этом месте была очевидной: то и дело припускал дождь; облака уносило ветром — ветер здесь дул, как надлежит ему дуть над большой водой.

Но сколько в станке ни сиди, спасаясь от ветра за бортиком, надо и делом заняться — тем делом, за коим пришли мы сюда. Василий сыскал весло, столкнули мы на воду лодку, долбленную из не очень толстого осинового ствола. Я попробовал с берега, то есть не с берега — с кочки плавучей, есть ли у озера дно. Дна не было, весло уходило в жижу по самый черенок.

Василий сел в лодку, я придерживал лодку за нос, готовый ее отпихнуть или тоже сесть, как скажет Василий. Я видел, что лодка едва ли бы нас удержала двоих,

и пример тех двоих, не доплывших до берега, придавал здешней местности, озеру, нелюдимым его берегам трагическую, что ли, окраску.

— Вдвоем уплывем ли? — спросил я Василия, зная, что не уплывем, и все же готовый уплыть.

— Нет, парень, — сказал Василий. — Лодка худая, верткая.

Он поворотил лодку носом в озеро и поплыл, перенося весло с борта на борт, гребя несильно, неслышно. У берега озеро поросло трестой, и в сивой тресте, в тумане, в сумерках предосеннего ненастного дня лодочник скоро исчез совершенно. Не стало его, хотя, казалось, куда ему деться. Сколько я ни вглядывался в затушеванную, размытую, серо-белесоватую озерную муть, ни черной точки в ней не было, ни запятой, только моталась под ветром треста и далеко-далеко чуть виднелась полоска сизой открытой воды. И сделалось мне до того тревожно за рыбака, что даже сердце зануло.

Я принялся искать дровишки для костра, но дровишек здесь не было никаких, деревья росли далеко — да и то березки волглые. Кругом простиралось болото — вересковые кочки. Я наломал тресты — соломы, метелок, — ободрал березовый ствол и, обследуя местность, сыскал остатки бывшего некогда здесь станка — обомшелые доски и бревна. Потюкал топориком, нащепал лучинок, чтоб чай вскипятить. Костерик сразу же загорелся, но бледное его синеватое пламя, видать, плохо грело, хотя лизало оно котелок, но вода не могла закипеть, не хватало калорий. Казалось, вот-вот, котелок начал уже булькать, но огонь опадал, не оставляя по себе даже углей. И опять я отесывал старые бревна, это меня отвлекало от мыслей о рыбаке. И опять не хватало калорий. . .

Мне именно вспомнилось это словечко — «калория». Всплыло в памяти, как пузырек из недр котелка на поверхность под действием неспорого огня.

Во время оно жила в Ленинграде актриса-чтица Ксения Ксенина. Ее звали и вправду Ксенией. Фамилию же она себе придумала, как это принято было у актрис. А время было такое, когда не хватало не только еды, но и дров, год, наверное, сорок шестой. И Ксения Ксенина (ее девическая фамилия Титова, она старая дева) всегда, постоянно мерзла. И приходила она к нам погреть-

ся, поскольку в детские годы жила в том самом городке, где жила моя мама,— в маленьком уездном городке среди лесов, болот, озер, льняных полей, в Новгородской губернии. Вместе они учились в гимназии и дружили.

В семье Титовых было трое девиц, три сестры: Евгения, Ксения, Александра. Глава семейства Титов служил в уездном городке податным инспектором, и должность эта давала ему многие преимущества перед другими жителями уезда. Податной инспектор имел выездную пролетку ли, тарантас — не знаю — и, соответственно, коня к тарантасу. И еще он держал у себя на усадьбе, для утехи потомства, ослика. Мама моя, и мамина сестра, моя будущая тетушка, и безвременно овдовевшая бабушка стояли в имущественном положении на тамошней лестнице значительно ниже Титовых. Однако сестры дружили — уж не знаю, кто более с кем, — и дружбу свою не забыли с годами. . .

Евгения с Александрой после революции стали учительницами словесности (и тетушка моя тоже), вышли замуж, обзавелись детьми. Ксения пошла в актрисы и коротала свой век в девках. Была она в юности, по описаниям моей мамы, хороша, густые свои русые вьющиеся волосы заплетала в косу, большие, синие, немножко навывкате, с поволокой глаза исконной русской красавицы служили предметом томления и восторга в среде уездных ухажеров. Только фигуру ее, в общем статную, малость портили ноги, без должной стройности форм, косолапые. Надо думать, на сцену Ксения выходила в длинных черных вечерних платьях, и недостаток ее фигуры был полностью скрыт.

Я встретился с Ксенией, когда ей было уже к сорока. Ноги ее отекали в блокаду от голода и вовсе стали как чурки. Но ей это было теперь все равно. Правда, она еще выступала в каких-то концертах, ездила на какие-то гастроли, во всяком случае говорила, что выступает и ездит. Не знаю. Главной страстью ее, то есть иллюзией страсти, а стало быть, иллюзией жизни, сделалась выпивка. Денег на выпивку Ксения не имела, и в нашем доме, как, очевидно, еще в каких-то домах, она появлялась с единственной надеждой выпить. Мама ей наливала рюмку, потчевала всякой своей стряпней, но Ксения не закусывала, чтобы «не осквернять поэзию выпивки» прозой жратвы». Она просила налить еще одну рюмку, мама спорила с ней, но всякий раз уступала,

После первой рюмки Ксения оживлялась, предчувствуя рюмку вторую и стараясь ее поскорей заслужить: вставала, прислонялась к печи и читала стихи, должно быть коронный и, может быть, даже любимый номер своей программы. Она читала «Зодчих» Дмитрия Кедрина. И к последней строфе ее голос срывался, хрипнул, глаза наполнялись слезами:

И в обжорном ряду,
Там, где заваль кабацкая пела,
Где сивухой разило,
Где было от пару темно,
Где кричали дьяки:
«Государево слово и дело!» —
Мастера христа ради
Просили на хлеб и вино.
И стояла их церковь
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд.
И запретную песню
Про страшную царскую милость
Пели в тайных местах
По широкой Руси
Гусляры.

Ксения обязательно напивалась. Но сколько бы ни напивалась она, боязнь замерзнуть, оставшаяся с блокадных зим, не покидала ее. И она собирала лучинки, щепки, бумажки, рыбки косточки, даже тряпки. И уносила с собой этот хлам. И каждую щепку, и каждую кость называла любовно — «калория».

Случалось, я отводил ее домой, нес сверток с «калориями»; и дома Ксения благоговейно разворачивала его, становилась к печи на колени, складывала «калории» в топку, чиркала спичкой, и, когда загорался в печи огонь, она протягивала к нему руки — они просвечивали, как неживые, — и говорила мне умиротворенно:

— Ну вот. Теперь можешь идти. Теперь все в порядке. Калории согреют меня.

Другого света, кроме огня в железной рифленой печи-голландке, в комнате Ксении не было. Я смотрел на коленспреклоненную женщину в смутных подвижных бликах огня, окруженную мраком и стужей; мрак и стужа будто слежались пластами, окаменели с зимы сорок первого года...

Ксения перестала к нам приходить так же внезапно, как появилась. Она пришла из небытия, в небытие же исчезла.

В первые годы после войны я видел, не умея, конечно, понять, таких женщин, как Ксения, с похожей судьбою — отчаявшихся, сломленных, не способных бороться с жестокостью, одиночеством, в предвидении еще большего одиночества старости спивавшихся и погибавших...

Ветер все дул, чай мой не закипал. Василий не показывался на озере. Я подошел к самой воде и что было сил заорал:

— Вася-а-а!

— У-уу! — донеслось с озера, и вслед за тем показалась черная запятая-точка, зашевелилась, увеличилась. Я кинулся рубить, терзать бревно, разложил большой костер, и чай закипел как раз в то мгновение, когда лодка мягко ткнулась в береговую кочку.

Василий пробыл на озере, должно быть, часа два, и то ли его лицо потемнело, то ли поглубели глаза — они заметнее стали, и читалась в них явственней, что ли, строгость души. Светлые волосы облепили его просторный выпуклый лоб. Василий рыбы поймал не много, но и не мало, изрядно: окушков, сорожат. И, сознавая цену своим рыбацким трудам и улову, сказал, усмехаясь:

— Рыбка у нас не больно... Не то что где-нибудь там... Все больше сороги... Но ничего, тоже рыба... Надо было луку-то взять, картошки. Уху бы сварили. Я говорил, возьмем, а ты — нет...

— Ладно, вон чаю поьем.

Попили чаю и двинули к дому, и первое, что увидели, когда вышли к околице деревни, был новый скотный, или, вернее сказать, телячий, двор — весь в огнях. Сама деревня будто потупилась, скромно отодвинулась на задний план. Мерцание света в редких ее окошках не могло сравниться с щедрым, без экономии, освещением скотного двора.

— Как все равно отель, — сказал я.

— В последние двадцать лет, — сказал Василий, — я не помню, чтобы в какой-нибудь из наших деревень построили дом. Чтобы окна зажглись... Для скота помещения строят, а люди уходят...

Тут, в этом месте, давайте вернемся к цитате из книги Белова «Холмы», которую я приводил в начале рассказа: «Из этой сосновой крепости, из этих удивительных ворот уходил я когда-то в большой и грозный мир, наивно поклявшись никогда не возвращаться, но, чем дальше и быстрее уходил, тем яростнее тянуло меня обратно».

Уходят, чтобы вернуться, — известная, хотя и парадоксальная истина. Василий Белов вернулся. Покуда его попрекали на страницах печати в приверженности к «истокам» и убеждали в том, что прогрессивна и исторически неизбежна именно ломка «сосновых крепостей», переселение народов от «истоков» к «устьям», тем временем бульдозеры помаленьку (скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается) прокладывали сквозь болота и еловые чащобы дорогу — большак. И нынче можно доехать из Вологды до Тимонихи и Печи́хи. Я ехал по этой дороге, видел. Дорогу строят, чтобы ездить по ней в два конца. «Сосновые крепости» строены на вековую жизнь, и расставаться с ними, ломать их и жечь, бросать политую дедовским, отцовским и материнским потом, хоть и не больно щедрую, но отзывчивую на труд землю, быть может, кому-нибудь и легко. . .

Впрочем, Белов, хотя и не застрахован от критики, не нуждается и в защите, ибо сам все сказал за себя. Он — писатель открытый, в его нравственном и художническом кредо нет двусмысленностей, обмолвок и умолчаний.

Пусть лучше и выскажется Василий Белов по затронутому вопросу, раскрою еще раз — благо рядом лежит — его книгу «Холмы» на последнем рассказе «Бобришный угор» . . .

«Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага. Я помню, как судьба вынудила мою мать уехать из деревни в город и как сразу страшен, тягостен стал для меня образ навсегда остывшей родимой печи. Тиль Уленшпигель на всю Фландрию вопил о пепле Клааса. И гёзы собирались на этот призыв со всей Фландрии. Мне же вопить не позволяет совесть, хотя и в мое сердце стучит пепел: на наших глазах быстро, один за другим, потухают очаги нашей деревенской родины — истоки всего.

И хотя мы покидаем родные места, все-таки мы снова и снова возвращаемся к ним, как бы ни грешили знакомством с другими краями. Потому что жить без

этой малой родины невозможно. Ведь человек счастлив, пока у него есть родина. . .»

Назавтра солнышко осияло здешнюю землю. По осиянной земле, по траве, по стерне я и отправился сразу же после завтрака, взял с собою лукошко, и дал мне Василий ружье, курковую тулку, и три патрона к ружью.

Дойдя до опушки леса, я вложил патроны в стволы, и тут же из можжевельных кустов выпорхнул выводок тетеревов. Я сделал стойку по выводку, как старый, добрый английский сеттер, сам и скомандовал себе: «Вперед!»

. . .Тетерка билась в траве, я взял ее в руки и вдруг почувствовал странность и дикость содеянного мною: сердце птичье лупило с той же отчаянной смертной тоской, с какой бы, наверно, лупило мое сердечко, если б к нему приставили автомат или другое оружие — за здорово живешь. . .

Вышел к озеру, отыскал весло, столкнул на воду лодку. Плыть вначале было легко и счастливо: треста гасила волну. Зато на открытой воде ветер вдруг взбеленился. Лодка сидела низко, воду стало заплескивать через борт. Волна шла с белым барашком. И не успел я опаматоваться, как унесло мою осиновую скорлупу на самый стрежень и стал я, ну, не тонуть, во всяком случае озираться. . .

Повернул лодку на ветер, кое-как, слава те господи, выгреб, зашелестела трава о борта. Возвратился к станку, смотрел на озеро, на тот недостижимый берег. . .

Костер не ладился, чай не кипел, и я опять спихнул на воду лодку, правил вдоль подветренного берега. Долго ли, коротко ли плыл, но озеро обогнул; в самом дальнем его углу, в заводи, стояла на якоре плоскодонная байдара, в байдаре сидели два рыбака, мальчишка и парень. Они настолько углубились в задумчивость рыбачества и так неожиданно было для них появление человека на этом пустынном озере, что они даже подпрыгнули в своей байдаре, когда я сказал:

— Ну как, ребята, клюет?

Не в силах сладить с глубоким оцепенением, ребята ничего не ответили мне, ни гу-гу.

. . .Теперь я плыл вдоль наветренного берега, того, что недавно казался мне недоступным. Из воды высовы-

вались сучья подмытых и павших в озеро сосен и елей. К берегу подступала чащоба. Я описал по озеру полный круг, вернулся к станку. Лежал, заслоненный от ветра бортиками, видел большое пространство неба. Солнце зашторила туча, и сквозь тучу прорезывались лучи, они походили на пучки прожекторного света, будто свет посылали не сверху, с неба, а снизу, с земли; потоки света сходятся в туче, и туча перенасыщена, вылетает. . . Вот и распалась совсем. . .

Василий ждал меня у избы, сидел на бревне и курил. Взглянул на меня, по своему обыкновению, несколько сумеречно, но в то же время и светло, сказал:

— Я уж тебя искать собрался. . . Баня истоплена. Ты как, париться любишь?

— Люблю.

— Ну дак чего? Пошли.

Мы пошли и попарились. И вся недостача тепла, калорий — в связи с поворотом лета на осень — возместилась сторицей. Василий охаживал меня веником, новым, прямо с березы. Себя же он сам и стегал.

За ужином я спросил у Василия о резонансной харовской ели, знают ли местные люди особые свойства и ценность своего болотного сокровища с чахлой хвоей.

— А как же,— сказал Василий,— вот мы парились в бане, ей уже семьдесят лет. Ее срубили из мелкослонистой, как ты говоришь, резонансной елки. Другое бы дерево сгнило давно — от перепада температур и от сырости. А в нашей бане даже нижних венцов не меняли. В ней парься еще хоть семьдесят лет.

..Ну вот, пожалуй, и все. Можно ехать домой. Можно поставить точку в последней главе — путешествии на родину харовских резонансных елей, из которых делают деки для пианино. И еще строят бани.

«ГДЕ-НИБУДЬ НА РУСИ. . .»

1

Кто знал Шукшина, тот помнит его постоянную сосредоточенность, серьезность, углубленность, некоторую даже иступленность, которая стала особенно заметна в последнее время. Василий Шукшин словно чувствовал пределы отпущенного ему срока, он постоян-

но подгонял себя: «Надо работать!» Именно этой мыслью пронизаны его неоконченные разговоры, последние интервью, появившиеся в печати. . .

Василий Шукшин торопился, укорял себя в том, что мало сделал, мало знает. Все сказанное им незадолго до кончины — записанное, зафиксированное — отдает горечью и в то же время проникнуто решимостью исполнить главные дела, откинуть второстепенное. . . «Я многое упустил в жизни и теперь только это сознаю. Играл в кино почти пятнадцать лет. . . Неустроенная жизнь мешала мне творить, и я бросался то туда, то сюда, потратил на ненужное много сил и теперь должен их беречь. Создал три-четыре книжечки и два фильма: «Печки-лавочки» и «Калина красная». . .»

Три-четыре книжечки. . . два фильма. . . Шукшин недоволен тем, что сделал. Он предъявляет себе строгий счет. В то время как нам, современникам Шукшина, его читателям, зрителям, казалось, что все дается этому человеку, что этот художник отмечен знаком удачи. . . Шукшин стал актером, режиссером, кинодраматургом, писателем — и в каждом жанре, в каждом роде искусства сказал свое слово, заставил заметить, услышать себя. Нам казалось, что он достиг столь многого, — сделанного им хватило бы на несколько жизней в искусстве.

Судите сами: только закончен фильм «Печки-лавочки», вскоре следом за ним — «Калина красная». Шукшин ставит эти фильмы как режиссер, исполняет в них главные роли, он пишет эти роли, эти сценарии — для себя, чтобы сказать свое слово, донести до людей свои мысли о жизни. Но этого ему мало. Он работает над сценарием фильма о Стеньке Разине — «Я пришел дать вам волю», делает режиссерские разработки будущего фильма-эпопеи о безудержности русской вольницы — предтечи грядущих революций. Сначала сценарий, потом роман. . . И в это же время выходит одна из лучших книг Шукшина — «Характеры».

При жизни автора мы как-то стеснялись прилагать к этой книге те же мерки, что к книгам, ну, скажем, Лескова, Бунина, даже и Чехова. Только теперь, когда Шукшина нет с нами, мы начинаем осознавать, что самые высшие мерки впору и по плечу Василию Шукшину.

Подобно Чехову, Шукшин не делил своих героев по ведомственному принципу на «ученых» и «неученых», на

«рабочих» и «нерабочих», на «деревенских» и «городских». Его интересовали нравственные начала, на которых строятся отношения людей в наши дни, когда ученые степени, должности, ранги и прочее решительно теряют свои преимущественные права, прежде всего именно в нравственном смысле, и, наоборот, заново освящаются отцовские, дедовские, национальные, исторические нравственные начала, истоки. В рассказах Шукшина истовость, готовность поклониться святыне — и понимание слабости, несовершенства своего героя, а стало быть, и себя; потребность в покаянии — и сомнения, сомнения; поиски истины — и опять-таки невозможность ее найти. . .

Откуда все это? Где берет начало талант Шукшина, в чем его своеобычие и непохожесть на другие, соседствующие дарования? Ответ в самой общей форме может быть один: талант Василия Шукшина — это русский национальный талант, в том же смысле, как мы говорим о русской национальной изначальности в таланте, например, Достоевского или Чехова.

Что мы разумеем под этим, может быть слишком общим, достаточно примелькавшимся определением: «русский талант»? Толкование его может быть разным, применительно к разным авторам. Когда речь идет о русском национальном таланте Василия Шукшина, то прежде всего имеется в виду его живая, отзывчивая, обнаженная, натруженная до болезненности совесть. «Как мы живем? Что с нами происходит?» — эти вопросы иной раз звучат у Шукшина в истинно трагедийном тоне. И рядом — усмешка или, вернее сказать, мягкая улыбка. Любовь к людям, понимание, сочувствие им — и при этом ясновидение, проникновение в самую суть человеческой природы со всеми ее несовершенствами и озарениями, пусть маленькими, чуть заметными вспышками. Понимая сущность народного, непридуманного юмора как необходимого фермента жизни, Шукшин заставляет смеяться своего читателя и зрителя, будь зритель профессор или крестьянин. Но смех его неподалеку от трагедии — так бывало в лучших классических произведениях, так бывает и в жизни.

Давайте вспомним «Калину красную» — любимый фильм, самым Шукшиным, прежде всего, любимый и, в свою очередь, зрителями и даже критикой, даже прессой, — давайте вернемся в кинозал, когда мы впервые увидели на экране нечто необычайное для нас, непохо-

жее на все то, чем нас потчует наш кинематограф, и вдруг, еще не зная отчего, засмеялись и вскоре почувствовали подозрительную влагу в глазах. И когда зажегся свет, мы не глядели по сторонам, не спешили поделиться впечатлениями, мы еще долго вглядывались, вслушивались в самих себя: какие струны задели в нас, в наших душах образы, мысли, искусство Василия Шукшина? Потом начались разговоры, разбор, анализ и прочее. Вначале было счастье свидания с настоящим искусством. Счастье подлинных смеха и слез, воскрешения чувств. . .

Творчество Василия Шукшина — писателя, режиссера, актера являет собою пример поразительной цельности, триединства. Герои в его рассказах выходят на сцену без экспозиции, без описательных, объяснительных абзацев и периодов — автор довольствуется короткими ремарками; герои в рассказах Шукшина живут, действуют, они говорят не много, но при чтении видишь их мимику, жест; наполнены содержанием, чувством не только реплики, монологи, но и паузы меж репликами. Каждый рассказ Шукшина при чтении на сцене звучит как пьеса. Рассказы эти можно играть — они написаны превосходным актером; Шукшин-режиссер доверяется Шукшину-прозаику — в его фильмах слово самоценно, оно естественно, взято в жизни, а не придумано, не навязано персонажам. У Шукшина каждая фраза бьет в точку, в яблочко. Фильмы Шукшина можно слушать, как превосходную прозу. И это в то время, когда в десятках, сотнях фильмов слово нивелировано, функционально, обезличено.

Талант? Да, талант. Учеба у первоклассных мастеров современного искусства? Да, и учеба. Но чуда шукшинского обаяния нельзя понять (если вообще можно понять чудо), если не заглянуть в предысторию Шукшина-художника, в ту обычную жизнь, откуда он вышел совсем недавно, принес с собою главное знание, которого нельзя приобрести, главный опыт, которому нельзя научиться, — человеческий, родовой, социальный опыт бывалого человека, коренного сельского жителя, сибиряка, затем матроса на Черноморском флоте, строительного рабочего в Подмоскowie, директора вечерней школы и, наконец, артиста, удостоенного высших премий.

О Шукшине написаны книги и монографии, охвачен, кажется, каждый этап его пути из обычной жизни в мир искусства. Я бы не стал в этих коротких заметках,

посвященных памяти Шукшина, касаться его биографии, если бы, волею судеб, мне не пришлось в свое время жить и работать неподалеку от его родного села. . . И так прекрасны, привольны родные края Шукшина, столько в них запечатлено дивной мощи, заметной и в людях, его земляках,— словно ждал этот край своего художника: сказать наконец о себе.

И художник пришел, появился. Никто вначале и не заметил, не подумал о том, что художник таится в обыкновенном парне из Сросток, малость скуластом на сибирский манер, с глубокими глазами, мощными дугами бровей и подбородком, зорко глядящими из глубины, зеленоватыми, как вода в Катунь, глазами — Васе Шукшине.

Таких, как Василий, парней можно было встретить на Чуйском тракте, в кабинках грузовиков,— я всегда дивился мужеству, силе духа, особому таланту — да, да, именно таланту этих парней, годами едущих краем пропасти, через заоблачные перевалы. Я думаю, если бы судьба Шукшина сложилась как-то иначе, то он стал бы шофером на Чуйском тракте. . .

Как бы там ни было, первый свой фильм (и рассказы — тоже) Шукшин посвятил Чуйскому тракту — «Живет такой парень». Герой этого фильма — шофер, Пашка Колокольников; лейтмотивом в фильме звучит шоферская песня: «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферов. . . Но среди них был отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев. . .»

Во время съемок фильма «Живет такой парень» я и познакомился с Василием Макаровичем Шукшиным. Фильм снимали в Горно-Алтайске. Как-то я возвращался из долгой командировки по дальним таежным районам Горного Алтая. Остановился в гостинице Горно-Алтайска, вечером зашел в буфет попить чайку. Некий человек, по виду нездешний, столичный, заговорил со мною, пристально вглядываясь при этом в меня (в таежных странствиях я оброс, одежда прогорела у костров, сапоги поизносились). Он спросил, не смогу ли я сняться в эпизоде, в кинофильме. Человек этот оказался ассистентом режиссера, а с режиссером-постановщиком Василием Макаровичем Шукшиным я встретился уже на съемочной площадке. . .

Мне предстояло сыграть в этом фильме эпизодическую роль, которая называлась в сценарии «здоровый мужик». Ну что же, . . . Горно-Алтайск — городок тихий,

сколько-нибудь значительного производства в нем нет. Население его, не занятое неотложными делами, расположилось вокруг съемочной площадки, как в театре. Съемки происходили на окраинной улочке Горно-Алтайска, ничем не отличающейся от улицы сибирского села...

Снимали эпизод со «здоровым мужиком». Режиссер Шукшин совершенно не походил на того режиссера кино, каким мы его себе представляем, главным образом по снимкам в журнале «Советский экран». Он был в галифе, в сапогах, в ватнике, в кепке с длинным козырьком и решительно ничем не отличался от горно-алтайских мужиков, пришедших посмотреть это кино (что, может быть, и было самым для них удивительным). Все обращались к режиссеру: «Вася». И я тоже, едва познакомившись, стал называть его Васей. Такой он был человек. Таким остался для меня на долгие годы (хотя, какие же долгие, всего-то чуть больше десятка лет).

Эпизод был такой: герой фильма Паша Колокольников (эту роль исполнял Леонид Куравлев), парень шептун и отчаянный, шофер на Чуйском тракте, шел сельской улицей и вдруг заметил, что очень пригожая молодайка выбивает перину на ограде. А у ног ее возится в песке мальчонка... И вот Паша Колокольников опустился на корточки, заигрывает с мальчонкой, умильно смотрит на маму, облизывается и бормочет: «А глазки мамины...»

Режиссер похаживал по нагорной улице, избранной под съемочную площадку, пощелкивал кедровые орешки и поплеывал. Лицо у режиссера было широкое, с челюстями-лемехами, с ложиной посередине подбородка. Режиссер был похож на того шофера, который недавно вез меня по Чуйскому тракту из Бийска в Чибит. Он был похож на своего родственника, который сроду растил махорку и хмель в Майминском совхозе под Горно-Алтайском, а теперь приехал побыть заодно с Макарычем и тоже похаживал рядом с ним и поплеывал орешной скорлупкой.

...Примерша одёрнула на мне выданную накануне в костюмерной, в клеточку, застиранную рубаху, пригладила мне волосы. Она подняла с колеи на дороге ком ссохшейся грязи и немножко помазала мне лицо, чтобы добавить лицу угрюмости.

Режиссер взял меня под руку и увел на усадьбу местного жителя, за пятистенную хату,

— Хозяйка! — крикнул режиссер.

И хозяйка, давно уже стоявшая у окна, готовно явилась на крылечке.

— Топора у тебя не найдется или молотка?

— Найдется. А как же? Вон в стайке у мово целый склад.

Пошли в стайку. Режиссер приглядел среди хлама ножовку и дал ее мне.

— Сценарий ты прочел? — спросил он.

— Прочел.

— Знаешь, в чем суть эпизода?

— Знаю.

— Ты хозяин этого дома. Ты что-то пилил, работал. Услышал, кто-то чужой у ворот, пошел поглядеть... А там, вон, видишь, твоя жена-молодайка перину развеси́ла выбивать. Как она первый раз ударит палкой по перине, так ты сразу идешь к калитке. Ясно?

— Ясно.

...Уже работал движок, установленный в кузове автофургона. Проложены были рельсы, на них поставлен съемочный аппарат. Оператор был в кожаной куртке и в синем берете, как должно быть оператору.

Все ассистенты носились, старались, таскали жестянки с пленкой и водружали «юпитеры» там и здесь. Под рябиной стоял директор фильма, человек пожилой, полный и несколько иронический.

Посмотреть, как снимают кино, прибывали все новые праздные жители Горно-Алтайска. Они располагались на бревнах, лузгали орешки, сполна отдавались блаженному любопытству...

Улица одним своим концом упиралась в сопки, там оранжево цвел березняк. Другим концом сваливалась она к речке, в заросшую ивой лощину; река вся расчесана была на прядки торчащими по руслу камнями.

...Старичок в сапогах, с мешком, набитым буханками хлеба, шел по улочке. Режиссер пересек старичку дорогу и что-то ему зашептал на ушко. Старичок закивал и опустил свой мешок на землю...

Мальчонка ехал, просунув босую ногу под раму велосипеда. Режиссер изловил мальчонку и тоже что-то ему нашептал.

Он подошел к совсем уже крохотному мальчику, который играл у калитки с лохматым щенком, присел и погладил мальчика и щенка...

— Попробуем! — громко сказал режиссер.

..И главный герой,— фуражка с красным околышем, пиджак и цветная рубашка, ворот навывпуск,— пошел вдоль по улице. И, согнувшись скобой, поехал мальчонка на велосипеде. Затрусил старичок с полным мешком для скотины купленного хлеба. Заюлил и запрыгал щенок. . .

— Мотор! — скомандовал режиссер-постановщик.

Оператор приник к своему аппарату и покатил его по рельсам вперед.

Зрители замерли все от мала и до велика.

Молодайка занесла над периной палку. . . Я вышел из-за избы, остановился в калитке и насупил лицо. . .

Кто-то прыснул из зрителей. Кто-то гыкнул.

— Стоп! — скомандовал режиссер. — Еще раз попробуем.

Он подошел ко мне и сказал:

— Пилу ты, пожалуй, брось. Это слишком уже. Перебор получается. Хватит того, что есть.

Он близко смотрел на меня. На скуластом его, шершавом мужичьем лице глаза были яркие и зеленые.

— Знаешь что,— сказал я режиссеру,— ты дай мне кедровых орешков. Я буду щелкать и плевать. Так натуральнее будет.

— Держи,— сказал режиссер и достал из большого кармана ватника пригоршню зажаренных до черноты орешков. . .

Спустя какое-то время я увидел себя в фильме «Живет такой парень».

Потом встречался, от случая к случаю, с Василием Шукшиным — то в Москве, то в Хабаровске, то где-то еще. Но это были незначительные встречи, о которых нечего и говорить. Я встречался с Василием Шукшиным на страницах журналов: если в номере есть рассказы Шукшина — значит, радость открытия, праздник, слезы и смех, и надо заглядывать вперед, много ли еще осталось этого счастья свидания с талантом дерзостным, самобытным. . . Увы, помногу Шукшин не писал, не хватало его. . . Я встречался с Василием Шукшиным в кино, это случалось, конечно, реже. . .

Иногда я писал Васе письма. . .

Всякий раз приходили ответы на них, трогательно-заботливые, сочувственные, полюбовные.

«Глебушка!

Здравствуй, родной. (Знаю, что тебя нет дома, но,

должно быть, письмо перешлют. Кстати, пользуюсь случаем — передаю привет супруге твоей. И еще раз кстати: ты не находишь, что ничего более поганого нет в русском языке, чем — СУПРУГА. Как подруга. Это тут мещанин разгулялся. Есть еще супружница.) Передай, пожалуйста, привет — жене. Так оно лучше.

Спасибо тебе за добрые слова!

Глеб, я уже начинаю привыкать, как ты отнесешься к тому или иному моему «произведению». Не балуй меня. Но, правда, дорого: ты единственный, кто понял, что «соль» в единственном рассказе — «Вянет, пропадает». Я в полном недоумении, когда этого не понимают, — там ведь очень грустно! Но разве ты можешь представить меня, доказывающего, что именно этот рассказ — что-то тут есть. Стыдно ведь! Вот и — спасибо тебе, что дождался я «одного голоса».

Глебушка, мне почему-то очень нужны твои письма, пиши, ради бога! Не поленись. Правда, — помогаешь. Дай бог здоровья тебе.

Ш у к ш и н».

«Глебович!

Что это ты загрустил там, верста коломенская? Жизнь так прекрасна! И удивительна. Смотри, как я: попишу, попишу — выйду на балкон, повою — и опять писать. Такая бодрость охватит, что сил нет. Хочется рвать и метать. Метать — это, не знаю, что такое, а рвать — пожалуйста, корзина рядом. Рвем. Или включи радио — тоже успокаивает. Или... Ну, это ты сам знаешь.

А чтоб серьезно, так «я уже тебе скажу»: хорошо, если бы мы все-таки выдюжили. Не видал, как дуги гнут? Березку распаривают и — осторожно, постепенно сгибают. Бывает — ломается. Мужик матерится и запаривает новую.

Очень меня как-то тронуло твое письмо. И — сижу и думаю: как же нам быть? И ничего не могу придумать, кроме как — выдюжить.

Милый мой, понимаю тебя всего от пят до макушки. А если учесть твой рост, то выходит, что понимаю много.

Насчет кино, детишек и лирической прозы — это ты себе славный мир выдумал! А магазин далеко? Надо, чтоб магазин был рядом,

Не тоскуй, Глебушка. Работай — в этом наше спасение. Будешь в Москве, не проехай, прошу тебя. Ехать ко мне просто: от метро ВДНХ — авт. 117 (до конца). Дом с магазином.

Дай бог тебе здоровья. Поклон жене. Будет не лень, пиши.

В а с и л и й».

«Глебушка!

Мне сказали так: ты был пьян, и тебе в руки «попался» номер «Мол. гвардии» с моей повестью. Она тебе понравилась, и ты даже слегка отрезвел.

А у меня так:

я был трезв, когда мне сказали, что повесть тебе понравилась, — я пошел и напился.

Дай бог тебе здоровья, друже! С Новым годом!

Чего же не заехал? Обещал ведь.

Ш у к ш и н».

И еще одно письмецо, ранее приведенных написанное, в конверт почему-то так и не вложенное, до почтового ящика не донесенное. Оно нашлось в бумагах Василия Макаровича, после его смерти. Его мне передала Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина.

«Глебушка!

Ты вот там в Варшавах и т. д., а сам очень русский. Тоска твоя русская. Ну, пей, пой, декламируй — а все русский. Люблю твои письма — длинноногие, нескладные, умные. Все заботятся о земле Русской, кроме ее истинных сынов!

Пожалуйста, пиши мне.

А у меня родилась дочка Мария. А я рад, как дурак. Глебушка, пьян. Люблю твою честную прозу».

Когда я стал работать в журнале «Аврора», мне захотелось, в первую очередь, видеть в числе авторов журнала Василия Шукшина. Я обратился к нему с письмом: «Вася, есть рассказы?»

С ответом, как всегда, Шукшин не замедлил:

«Глебушка!

Хотел, хихикнув, поздравить тебя с назначением, но ты вовремя помянул наши годы: правда, черт возьми, годы грустные. (Шукшину тогда было 42 года. — Г. Г.).

Рассказы-то? Они есть, но ты мне объясни сперва: а

преследует журнал какую-то свою тему (ну, «невскую», что ли)? Или — не обязательно? Я его (журнал) как-то не очень хорошо знаю. Если он все же ленинградский преимущественно, то будет сложно помочь.

Напиши.

Адрес у меня другой:

129085, Москва, ул. Бочкова, д. 5, кв. 121.

С Новым годом и тебя! И пожелания такие же — всего доброго!

В. Шукшин».

Я обращался ко многим авторам, более или менее знаменитым, — все они, как правило, оказывались связанными договорами, запроданными на много лет вперед. Ни у кого рассказов не находилось. У Васи нашлись рассказы. Вскоре он прислал мне «Осенью» — рассказ, проникнутый грустью и одновременно непреклонностью духа. Жестокий рассказ — и по-шукшински сострадательный, мягкий; короткий рассказ — и емкий, как притча о зле и добре, о жизни и смерти, о правде и неправде, об измене и возмездии.

Рассказ «Осенью» был напечатан в «Авроре», вслед за ним Шукшин прислал «Кляuzu» — сам он отнес это произведение к жанру «документального» рассказа. В «документе» Василий Шукшин свидетельствует против одного конкретного человека, получившего в свои руки крохотную долю власти — право дежурной у дверей «пущать» или «не пущать», и творящего этой своей «властью» зло, и не ведающего о том, что творит... «Кляуза» — не только документ обвинения, но еще и крик души, взывающий к совести: «Как мы живем? Что с нами происходит?»

И еще один маленький праздник, ну, если не в журнале, то у меня в душе: конверт с шукшинским почерком...

«Глебушка!

Вот — подсылаю еще один р-з «Рыжий», он тоже такого же плана — документально-биографический, в паре они смотрятся лучше. (В паре с «Кляузой». — Г. Г.) Тут, видно, напрашивается некое общее название для обоих... Дай, подумаю. Вот как, Глеб: я когда-нибудь намерен собрать книгу с таким названием: «Внезапные рассказы», Цикл р-зов с таким общим названием я

уже публиковал в журн. «Сибирск. огни» (№ 11 за 1973 г.) — ничего, неплохо, по крайней мере, понятно. Предлагаю так же:

«Внезапные рассказы»

1) «Рыжий».

2) «Кляуза». (Но уже без подзаголовка, что «Опыт...»)

Что касается Васи Белова, то... Я, правда, его не видел (я лежу опять в больнице, в другой уже, за городом), но просил жену рассказать ему, в чем дело (он приезжал на пару дней), он сказал, что «это ему (мне, в смысле) виднее, — на его совести». (Речь идет о рассказе «Кляуза», в котором упоминается В. Белов.— Г. Г.) Моя совесть чиста — там все правда. Да и мы ли выдумали порядок, в котором, соблюдая его, выглядишь идиотом? Чего тут стыдиться-то? Ничего, Глеб! Если один лакей может уделать с ходу 3-х русских писателей — разве это так уж плохо? В этом есть смысл.

Прошу тебя, откликнись, как получишь это! В любом случае.

Обнимаю.

В. Шукшин».

«Рыжий» не догнал «Кляузу»: рассказы Шукшина с ходу шли в производство. «Рыжий» — внешне, как говорится, «скромный», но со взрывчатой внутренней силой шукшинский рассказ. Что значил Шукшин для журнала, об этом можно судить по читательским письмам. Приведу одно такое письмо: «Что за прелесть этот рассказ В. Шукшина «Рыжий». Впрочем, не рассказ, а именно беседа, как определяет сам автор свой жанр. И поэзию рождает не созерцание, а движение жизни. Наслаждение читать — почти физически ощущаешь емкость образов, энергию стиля. Язык искусства В. Шукшина лаконичен и тем выразителен. У него особый жанр и стиль. Его рассказы хочется читать не про себя, а вслух и даже разыгрывать. Благодарим и ждем новых...»

2

В последние годы рассказы Шукшина щедро печатались во многих журналах (я имею в виду творческую щедрость В. Шукшина), выходили на экран его фильмы. Василий Шукшин готовился к главной своей работе в

кино — к роли Степана Разина, к постановке фильма «Я пришел дать вам волю» (эта работа — увы — все откладывалась). Во что обходилась Шукшину его щедрость, мы не знали и не думали об этом. Мы задумываемся об этом только теперь, когда его не стало. . .

Он присылал в «Аврору» свои рассказы (успевая при этом сотрудничать практически во всех наших журналах) — и рекомендовал новых, неизвестных авторов. Обнаружив в той или иной рукописи признаки таланта, верности жизни и, главное, писательской дерзости, непохожести на других, он загорался, писал рекомендательные письма. Одно из них, последнее письмо, полученное от Василия Шукшина, написано на мосфильмовском бланке с грифом «Калина красная», торопливой нервной рукой:

«Глебушка!

Держу в руках прекраснейший рассказ Артура Маркарова — и есть искушение опередить чванливые московские журналы — прочитай! Автор на распутье, есть смысл заполучить его. Рассказ удивительный, ты сам увидишь. Что не первый экземпляр, в том моя вина; время не ждет, я взял на себя ответственность перед автором и перед вами: охота «обскакать» московских «толстых» бояр.

Жму руку!

В. Шукшин».

Ну, разумеется, Василий Шукшин никоим образом не собирался унижить московские журналы именно за то, что они московские. Ведь и сам он стал москвичом — в высшей степени, как носитель, что ли, столичного знака качества. Столица вбирает в себя лучшее, наиболее талантливое, рождающееся в стране. Она помогает таланту осуществиться, обрести голос. Шукшин мог стать Шукшиным-художником того масштаба, каким его узнала и полюбила вся страна, только в Москве.

Но Василий Шукшин сохранял за собой и право на некую провинциальную «автономию». Самые задушевные его друзья проживают вдали от столицы. Ну вот, например, в Вологде. . .

Будучи москвичом на все сто процентов, Шукшин превосходно видел и негативные стороны столичного литературного, околотрудовитического быта и вообще быта (давайте вспомним хотя бы рассказ Шукшина «Жена

мужа в Париж провожала»), и сердце его тосковало по родимым российским далям и весям. И еще постепенно в нем вызревал образ будущего героя, любимого героя — смутьяна Стеньки Разина. Вот и хотелось порой Василию Шукшину «обскакать» этих «толстых московских бояр». То есть хотелось ему поиграть — бессознательно, безотчетно: он был великим актером нашего времени, проигрывал в творческом воображении одну за другой различные по самой сути роли, прикидывая «рго» и «сопга».

В опубликованной в «Литературной газете» статье «Несостоявшийся диалог» ленинградский литературовед профессор Борис Иванович Бурсов поведал о своем несбывшемся желании повстречаться с Василием Шукшиным и поговорить о том насущном, что занимало ум профессора литературы. Именно с Шукшиным поговорить, именно его выбрал Бурсов из всей плеяды современных литераторов первой величины. И, как явствовало из письма Шукшина, предваряющего статью Бурсова, Шукшин и сам был расположен к этой встрече, к этому разговору. И дело здесь не только в том, что «диалог» был нужен «Литературной газете». Взаимное тяготение меж Бурсовым и Шукшиным возникло после выхода в свет романа-исследования Бурсова «Личность Достоевского», ну, и разумеется, после выхода в свет книг Шукшина, в особенности его последней книги — «Характеры».

Бурсова с Шукшиным сблизил Федор Михайлович Достоевский, будучи близок — каждому на свой манер — двум этим столь различным по возрасту, по жизненному опыту и сфере применения сил литераторам. Диалог в «Литературной газете» не состоялся, Шукшин так и не встретился с Бурсовым. Но я знаю, мне говорил об этом Василий Макарович Шукшин: образ Достоевского маячил в воображении, тревожил его мысль. Нет, нет, Шукшин не собирался экранизировать тот или иной роман Достоевского. Его увлекал иной роман, иной образ: безудержность природы, роковой трагизм судьбы русского гения. . .

Профессор Бурсов мечтал, фантазировал: «Вот если бы сделать фильм о Достоевском, судьба коего драматичнее и сложнее всех его романов. . . Кому это по плечу? Кто бы смог сыграть Достоевского? Шукшин. Больше некому. . .»

Но это мечтания. Сбыться им не дано,

Летом семьдесят третьего года я был в Вологде по делам журнала: работал с Василием Беловым над рукописью его повести «Целуются зори». То есть, что значит «работал»? Белов повесть сочинил, он и колдовал над рукописью. Я же прочитывал сделанное им — с деликатным карандашом в руке. Белов мне сказал, что неподалеку от Вологды Шукшин снимает свою «Калину красную». Неподалеку — это если глядеть из Ленинграда. Шукшин снимал «Калину красную» в Белозерске; я сел в Вологде в самолет местной линии и часа через два шел по дороге берегом Белого озера; правой моей щеки касалось дыхание большой, еще не прогретой воды, в левую щеку дул легкий ветер с зацветших лугов, над головою играли жаворонки. Я думал: господи, как же много дивного вольного места у нас на Руси. . .

Для съемок Василий Шукшин облюбовал деревеньку Садовую, километрах в десяти от Белозерска. Деревенька на круглой горке по-над озером вся утонула в садах. Как раз цвели яблони. Вот ведь куда забрался Василий Шукшин, сибиряк, уроженец предгорных степей, где в долгие зимы против морозов и буранов выстанвают только малорослые яблоньки, рождающие мелкую жесткую китайку.

Первым человеком, которого я встретил на деревенской улице, был Василий Шукшин, в кожаном пиджаке, в кепке, в русских сапогах — таким мы вскоре увидели героя «Калины красной», непутевого и бесконечно небезразличного нам Егора Прокудина. Режиссер Шукшин выбирал съемочную площадку для очередного эпизода, в котором предстояло сниматься актеру Шукшину. Рядом, об руку с ним находился оператор Анатолий Заболотский — единомышленник, друг, помощник, ученик Шукшина, восприимчивый к его творческим идеям (оператор Заболотский снимал и фильм «Печки-лавочки»). Шукшин был до крайности занят, сосредоточен, он был тут, рядом, на улице деревеньки Садовой, пожимал мне руку, непрестанно курил, присел со мною на бревно, на одно мгновение присел, — и был он где-то недосыгаемо далеко, за чертой, которую не переступить никому, — в себе, в подспудной работе ума, сердца, воображения. . .

В тот день снимался эпизод «у баньки», когда муж Любы, пустившей к себе в дом вышедшего из тюрьмы вора Прокудина, вместе с дружками является проучить

новоявленного жениха. Сцена, в которой бушуют страсти и слышится скрежет зубовой,— и вокруг благолепие: жаворонки поют, церковка на горе над озером. И все население, старое да малое, деревни Садовой сползло посмотреть «кино», как некогда, десять лет тому назад на окраинной улочке Горно-Алтайска. И я в ряду зрителей. И явилась такая мысль: удастся ли сочетать эти страсти, этот сюжет с кровавой развязкой — и эту натуру, проникнутую духом умиротворения, праведности?

Вечером, в Белозерске, когда закончился долгий-долгий день трудов, мы с Василием Шукшиным вышли на берег Белого озера, то есть на берег канала, отгороженного от озерных штормов каменной дамбой, и пора уже наступила для ночи, но было по-северному светло, в сизых сумерках медленно шлепали по каналу буксиры, плыли плоты, гонки сосновых бревен, рдели ходовые огни. Шукшин говорил:

— Все это будет в картине... Мы снимали прямо вот здесь, на берегу... Вон видишь, столовая... Здесь мы сняли сцены в ресторане. Хотелось, чтоб был второй план — озеро, плоты идут, простор, нечто вечное.

Я задал Шукшину вопрос, возникший у меня во время съемок в Садовой:

— Почему ты, снимавший до сих пор свое кино у себя на родине, на Алтае, выбрал Вологодчину? Смогут ли твои герои прижиться на новой для них натуре? Ведь что ни говори, не только природа сибирская, но и сам склад, характер русского человека, даже и язык в Сибири немножко иные, чем на Вологодчине...

— С людьми происходит одно и то же, и в Сибири, и тут,— сказал Шукшин.— Внутри людей... одни процессы...

Вот я написал будто бы шукшинскую речь, прочитал — и что-то не так, Шукшин говорил иначе, другими словами. Магнитофона с нами не было, что говорил Шукшин, я не брал на карандаш. Мы с ним ровесники, я не думал, что наш разговор вдруг прервется на полуслове, чтоб никогда не возобновиться, и мне придется отыскивать в памяти слова, сказанные Шукшиным, как отыскивают вещи из обихода умершего писателя, создавая мемориальный музей.

Мы ходили с Василием по краю воды, по деревянным мосткам Белозерска, он был все в той же черной кожанке, в белой рубашке и в сапогах, но чем он дол-

ше ходил, тем становилась заметнее в нем перемена. Он не то чтобы отдыхал после дня съемок, но словно бы отпускал внутри себя крючки и защелки, которые застегнул, чтобы стать сосредоточенным, нацеленным на достижение задачи или еще, как было однажды сказано, сверхзадачи,—режиссером-постановщиком, исполнителем главной роли.

Василий Шукшин разговорился. Он говорил о своей работе, опять-таки о задаче и сверхзадаче; впрочем, не только об этом,—о чем угодно другом. Он пользовался благом откровенности, возможности высказаться без оглядки на слова. Он делился сомнениями, то и дело апеллируя к черту: «черт его знает...» И он умел слушать... И если бы записать сказанное им в ту ночь и сравнить с тем, что он скажет спустя полтора года, что будет опубликовано под заголовком «Последние разговоры», то многое бы совпало, а в некоторых рассуждениях можно бы было заметить и разночтения...

В Белозерске Шукшин снимал «Калину красную», и если кто-нибудь мог предвидеть, какое будущее уготовано этому фильму, трудному по самой драматургической природе, выходящему далеко из ряда обычного «прокатного» кино,—только Шукшин мог предвидеть. Да и то едва ли мог. Опыт режиссера-постановщика, ответственного не только за художественную ткань, уровень фильма и организацию его производства, но и за многое, многое другое, находящееся за пределами и ткани и производства, был достаточно горек. Принимаясь за «Калину красную», Шукшин, позволю себе сказать так, теперь это можно, играл ва-банк. Он верил в то, что его новый фильм дойдет наконец до миллионов людей и воздействует на их души именно таким образом, как хотелось того Шукшину. Василий Шукшин был одержим своей работой, то есть идеей. Работа его и состояла в осуществлении, материализации идеи. Нет, в ту летнюю ночь над Белым озером он не говорил о том, что уйдет из кино, хотя бы и ради литературы. Но он говорил и тогда, что «надо работать», что времени остается мало и некогда размениваться, что надо говорить в искусстве о самом главном — о жизни и смерти, и говорить только правду. Он искал кратчайшие пути, чтобы скорее донести до людей свое искусство. И он уповал на кино, на данную ему кинематографом возможность разговаривать сразу с миллионной аудиторией...

— У нас еще не знают, что может кино, даже серь-

езные наши писатели недооценивают его, — говорил Шукшин. — Несколько человек в мире знает... Ну вот Феллини... Но у него другое. Я хочу попробовать! А?..

Шукшин остановился и посмотрел на меня и еще куда-то дальше, сквозь меня. Во взгляде его — озарение, воля, напор, осознание своих сил. Лицо у него мужицкое: скулы как плужные лемеха, тяжелая челюсть. Лицо мастера... Он не у меня спросил, у себя. Его вопрос был и ответом: «Я хочу попробовать...» А почему бы и нет?

Это было в июне семьдесят третьего года, а осенью семьдесят четвертого, над другою водой, он скажет другое. Он устанет от работы в кино настолько, что захочет уйти из него навсегда.

В ночь над Белым озером Василий Шукшин был счастлив. Он делал то, что ему хотелось, — «Калину красную», фильм не сибирский, не вологодский, а очень русский и в то же время всечеловеческий...

Хотя, меня спросят, как мог быть счастлив Шукшин, с его сомнениями, нерешенными задачами, недовольством собою? Он был и счастлив по-своему, по-шукшински. Как бы ни было трудно ему, но он был уверен, что делает то, что должно делать ему. И в душе его, как заря над Белым озером, подымалась решимость: «Я хочу попробовать...»

Мы тогда гуляли с Василием Шукшиным по берегу Белого озера, в белую ночь, до зари. Больше я его не видал.

Когда пришел проститься с ним в московский Дом кино, играла музыка: два скрипача сидели на хорах и так играли, как плачет душа. Василий Шукшин лежал в гробу, ничуть не похожий на себя, на свой портрет, повешенный над гробом. Причитала над ним его мать, сибирская крестьянка, трогала его, гладила его лоб жена, актриса, исполнившая роль Любы в «Калине красной» и уже оплакавшая однажды возлюбленного своего Егора Прокудина... Жизнь, смерть, любовь, искусство — все сошлось в этой точке у гроба Василия Шукшина, в лице склоненной над ним женщины.

Рядом стояли заплаканные, не видящие белого света Василий Белов, Анатолий Заболотский... И я тоже не видел белого света...

Большой художник, каким является Шукшин, уходя навсегда от людей, возвращается к людям, может быть, в более подлинном, в более истинном смысле,

Это все так. Но это не может послужить утешением.

Шукшин ушел от нас, едва успев разбудить интерес к своему творчеству — не только внутри литературы, искусства, но и далеко за их пределами — у людей, у народа. Потребность в Шукшине стала насущной, и она росла на глазах. Шукшин себя не щадил, погонял, работал иступленно, на износ. Он сгорел у всех на виду — иначе это не назовешь. Шукшина не стало с нами, и никто никогда не заменит его.

Но Шукшин, как бы ни была коротка его жизнь в искусстве, помог нам еще раз взглянуть в таинство жизни, в самих себя — и увидеть, понять нечто такое, без чего бы мы были бедней. Он оставил нам свои книги...

Одну из них — «Характеры» — Василий Шукшин подарил мне в Белозерске и написал на ней: «...дай Бог, Глебушка, и дальше нам встречаться где-нибудь на Руси».

Где-нибудь на Руси...

4

...Потом — посмертная слава. Так нужное живому, работающему художнику — и замешкавшееся в пути — признание. Статьи, монографии, книги, исследования, эссе, мемуары — целая шукшиниана.

В массе высказываний о Шукшине я выбрал однажды — то есть сознание зацепила такая оценка литературного наследия Василия Макаровича: «Он писатель закодированный. Его предстоит заново прочесть». Что-то было в этой оценке другими не замеченное — и верное. Правда, закодированный, подлежит расшифровке. Потому и не забывается, отсюда и неубывающая потребность прочесть Шукшина заново.

Большой художественный талант всегда несет в себе свой собственный код. Интересно читать того писателя, которого надо разгадывать, раскодировать, добираться до сути усилием собственной мысли. Дело тут не в «простоте» или «сложности» персонажей, сюжета, стиля, а в чем-то другом, в способности писателя проникать в глубины и тайны человеческого духа. Эти самые глубины, тайны, даже бездны наличествуют у персонажей рассказов Шукшина, не только тех, что «с высшим образованием», но и у простых, «от сохи».

Уж до чего, казалось бы, просто в рассказе «Клас-

сный водитель»... «Весной в начале сева в Быстрянке появился новый парень — шофер Пашка Холманский. Сухой, жилистый, легкий на ногу. С круглыми, изжелта-серыми смелыми глазами, с прямым тонким носом, с крутой ломаной бровью, не то очень злой, не то красивый. Смахивал на какую-то птицу». Так начат рассказ. И далее по-шукшински. . .

Впоследствии Шукшин преобразует Пашку Холманского в Пашку Колокольниковца — главного героя своего первого полнометражного фильма «Живет такой парень». Вначале рассказ, затем фильм — все это время автор держит в уме Пашку, приглядывается к нему: «не то очень злой, не то красивый».

Такое определение героя, такая его портретная характеристика уже в первых строках рассказа озадачивала вопросом: красивый или злой? Можно было поворачивать вопрос так и эдак: злой, потому что красивый? Может ли это быть вместе: красивый и злой? Может быть, и не злой, а только красивый? И что значит Пашкина злость, как проявит себя красота? Или есть еще другой Пашка, отдельный от внешних личин?

Возможно, автор задавал эти вопросы себе самому, конечно любя своего Пашку (критика не раз отмечала пристрастную любовь Шукшина к своим героям), классного алтайского шофера, и все глубже вглядываясь, вдумываясь в него. Он дает Пашке еще один шанс проявить заложенные в его натуре добрые начала — в кинофильме «Живет такой парень». Пашкино бытие — теперь уже волею сценариста, режиссера — восходит в иную, что ли, ипостась, и фамилия Пашке дается другая. К добрым Пашкиным началам еще присовокупляется стихийное «геройство» Гриньки Малюгина из одноименного рассказа (Гринька некрасивый — «быча», «морда»).

Пашку Колокольниковца увидели на экране миллионы, полюбили его, — может быть, не так, как автор фильма, но полюбили. В фильме Пашка молодец молодец. Но у автора еще раз явилась потребность кое-что объяснить в отношении Пашки — и зрителям, и критикам, и, кажется, себе самому. В журнале «Искусство кино» он выступает с маленьким «Послесловием к фильму «Живет такой парень»: «Я хотел сделать фильм о красоте чистого человеческого сердца, способного к добру». Так понимает Шукшин своего героя. Так он нам его объясняет, И себе, может быть, тоже, «Мне думает».

ся, что самое дорогое наше богатство — людское. Я представляю себе общество, где все грамотны, все очень много знают и все изнурительно учтивы. Это хорошо. Но общество, где все добры друг к другу, — это прекрасно. Еще более прекрасно, наверно, когда все и добры и образованны, но это впереди».

Сказанное относится ко всему творчеству Шукшина. Здесь, так сказать, кредо художника. В «Послесловии к фильму «Живет такой парень» Шукшин счел нужным объяснить и некоторые поступки и черты характера Пашки Колокольниковца, проистекающие в какой-то степени из поступков и черт его младшего тезки Пашки Холманского, героя рассказа «Классный водитель»: «...И еще нам хотелось, чтобы неустанный Пашкин поиск женщины-идеала родил бы вдруг такую мысль в голове зрителя: «А ведь не только женщину, жену ищет он, даже не столько женщину, сколько всем существом тянется к прекрасному, силится душой своей, тонкой и поэтичной, — обнаружить в жизни гармонию».

Едва ли сам Пашка думает про «гармонию». Это художник силится привести к гармонии ладную внешность героя, красоту уменя, работы, величавость природы Алтая и душевный порыв к идеалу, и житейское, всегда бывшее — косное и современное. Художник пишет картину. То есть делает кинофильм.

Герой кинофильма Пашка Колокольников в конце концов совершает подвиг, рискует жизнью, спасает народное добро. (Такой же подвиг совершил в свое время Гринька Малюгин.) Все, кажется, ясно с Пашкой. «Если мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке», — заверяет нас в «Послесловии» к фильму его автор. И мы вполне соглашаемся с ним.

Однако фильм «Живет такой парень» никоим образом не поглощает, не отменяет, не снимает с повестки дня рассказа «Классный водитель» (равно как и рассказа «Гринька Малюгин»). Герой рассказа Пашка Холманский остается все тот же: «не то очень злой, не то красивый». И мы не знаем, что он вдруг учудит. Шукшин предложил своему герою одно развитие судьбы — в кинофильме. Но может быть и другое. Герои в рассказе Шукшина настолько живые люди, что, появившись на свет, они как будто выходят из-под власти породившего их художника, живут и действуют по собственному закону, исполняют то, что написано им на роду. . .

Давайте вспомним один эпизод из рассказа «Клас-

сный водитель». Пашка Холманский приехал в Быстрянку на посевную. Чем и как он помог быстрянскому колхозу поскорее отсеяться, мы не знаем, но наверняка помог, председатель им доволен. Мы наблюдаем Пашку в клубе, в библиотеке, он сразу влюбился в красивую библиотечкару Настю. У Насти любовь с приезжим инженером, того гляди будет свадьба. Что делать Пашке, как ему поступить? Он сознает свое превосходство над инженером — это раз. И еще свое право красивого парня на Настю — это два. И он знает, что Настя согласна на это его особое право над нею. Что-то есть суперменское в Пашке Холманском. Инженер не тянет рядом с Пашкой. Для начала Пашка обставляет инженера в «пешки». Ночью он влезает в окошко Настиной спальни. «Обнял ее, теплую, мягкую. Так сдавил, что у нее лопнула на рубашке какая-то тесемка».

Читая эту сцену до последней точки, поставленной автором, мы не знаем, как повернется дело. Вдруг в самое интересное мгновение на сцене появится инженер? Вдруг Настя не совладеет с собою, то есть с Пашкиными чарами? Кажется, автор вместе с нами так же пристально наблюдает происходящее и сам не знает, чем все кончится. Инженеру он не сочувствует, это ясно, Пашке многое позволяет, Пашку он любит.

По счастью — ух, гора с плеч! — все кончается миром и ладом, как у добрых людей. (Только тесемка на рубашке лопнула и всего-то.) Насте дороже синица в руку (инженер), нежели журавль в небе (Пашка). Настя красиво, с румянцем на щеках гневается на Пашку, после плачет, жалуется ему, что инженер и так извелся от ревности, собрался уезжать из Быстрянки. Пашка сажает Настю в свою машину, везет ее к инженеру мириться. Это — последнее Пашкино доброе дело в Быстрянке. Тут и рассказу конец.

Но остаются другие ходы, варианты развития сцены в Настиной спальне. Остается пища для додумывания — и читателям, и самому автору. Можно, конечно, остановиться на том, что сказано о герое в уже упоминавшемся «Послесловии» к фильму: «Это добрый, отзывчивый парень, умный, думающий, но несколько стихийного образа жизни. Он не продумывает заранее наперед свои поступки...» Но это — о фильме, в фильме парень другой. В рассказе «Классный водитель» Пашка Холманский совершает деяние недоброе, наказуемое, если не по кодексу, то по закону житейской нравственности — за

шкоду. У них же, у Насти с инженером, — любовь. . . Может быть, и правда, Пашка руководствуется порывом: «душой своей, тонкой и поэтичной, — обнаружить в жизни гармонию». Но «гармония»-то чужая. Ломиться к ней ночью в окошко, к чужой «гармонии», нехорошо, не по-людски. . .

И остается раз навсегда заданным, не движущимся, не разрешающимся противопоставление простого, стихийного, красивого Пашки интеллигентному, нервному, не уверенному в себе инженеру. Почему «простой» Пашка изначально выше — по всем человеческим статьям — «интеллигентного» инженера? Так сам себя понимает классный водитель — выше, — и, кажется, автор с ним заодно. И откуда в простом алтайском шофере эти суперменские замашки, и куда они его заведут? (Тут надо помнить, что в конечном счете инженер выигрывает у Пашки — не в «пешки», а Настю, может статься, Пашкину судьбу.)

Шукшин не мог не задать себе эти вопросы. Однозначно ответить на них он тоже не мог. Ответил однажды — в фильме «Живет такой парень» — и сразу же засомневался, так ли ответил. За ответами он обращался к единственной всезнающей ответчице — Жизни, глядел ей в глаза, задумывался, по-шукшински шевелил лемеха скул — и находил погрешности против Правды в им же сделанном, написанном, поставленном на экране. И тотчас принимался за новое, чтобы было по Жизни, то есть по Правде.

Вскоре после выхода в свет кинофильма «Живет такой парень» Шукшин написал статью «Нравственность есть Правда», и в ней еще одно суждение о герое фильма: «. . . я хотел рассказать о хорошем, добром парне, который как бы «развозит» на своем газике доброту людям. . . Ну и делай — не кричи об этом, рассказывай. . . Нет, мне надо было подмахнуть парню «геройский поступок». . . Сработала проклятая въедливая привычка: много видел подобных «поступков» у других авторов, и сам «поступил» так же. . .»

Примерно в это же время Шукшин пишет рассказ «Сураз», держа в памяти «Классного водителя» (возможно, и подсознательно). Спирька Расторгуев тоже алтайский шофер, как Пашка Холманский, он тоже красивый («маленький Байрон» — так звала его в детстве учительница «из эвакуированных», до тех пор звала, пока маленький Спирька не обложил ее матом) — и злой,

до зверства безудержный в злобе, уже наказанный — по статье. И — добрый, как Пашка: привезет машину дров беспомощным деревенским старикам и ничего с них не возьмет, разве стакан водки. Свою красоту Спирька поистрепал, оделяя добротой одиноких бабенок во всей округе. Тоже, поди, порывался «обнаружить в жизни гармонию», как Пашка, но Пашке немного за двадцать, а Спирьке уже тридцать шесть.

И тот же, что в «Классном водителе», традиционный в литературе треугольник: одна женщина, двое мужчин. Ирина Ивановна — учительница пения, Сергей Юрьевич — учитель физкультуры и Спирька Расторгуев. Интеллигентная супружеская пара и простой шофер. Ну, конечно, учитель физкультуры — это не рафинад интеллигентности, но, если взять в скобки слово «физкультуры», останется слово «учитель». Значит, интеллигент. Опять судьба свела на узкой дорожке «простого» с «интеллигентным».

Главная, все решающая сцена в рассказе «Сураз», так же как и в рассказе «Классный водитель», — это приход красивого, по-суперменски уверенного в своем праве мужчины — незваным — к чужой женщине. У Спирьки еще и опыт, и смертная обида на свою, так и не улыбнувшуюся ему судьбу. И какая-то подлая, бесстыдная торопливость — взять свое. И... «Он молил в душе: «Господи, помоги! Пусть она не брыкается!» Он повлек к себе женщину... И поцеловал. И погладил белое нежное горлышко... И тут вошел муж...»

Мы знаем, что было дальше, давайте еще раз прочтем у Шукшина:

«Вышли на крыльцо. Шатун сработал, Спирька полетел вниз с высокого крыльца и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которую вытирают ноги».

Потом...

Спиридон Расторгуев ночью, с ружьем, крадется в жилище учителей — отомстить; но не выстрелил, пожалел. И это еще не все: Спирька рисует в своем воображении (по инерции, вяло) сладостную картину мести. Вот он подвешивает учителя к потолку, за ноги, а его жену, учительку, «исцеловывает всю... до болячки, чтоб орала». Вот она — бездна, «фильм ужасов», вот куда может завести, в общем, здорового человека простодушное вначале его суперменство. Шукшин прослеживает, проигрывает до конца такую психологическую, нравст-

венную эволюцию своего героя (от «развозчика добра» до сеятеля зла).

Однако нарисованная Спирькой в воображении картина не вдохновляет его, не побуждает к действию. И еще всплывает другая картина: вот его, связанного, ведут, чтобы затем расстрелять — поделом. Ему-то ладно, ему все равно, а мать будет плакать.

«Зло» борется с «добром» в Спирькиной душе, победить не может ни то, ни другое. В крайнем отчаянии, унижении, раскаянии, не в силах поладить с собою, Спирька бежит на кладбище, прижимая к груди двустволку. . .

Но стреляться на кладбище — это противно характеру Спирьки (книга, в которой напечатан «Сураз» — при жизни автора, — названа «Характеры» не зря; у Шукшина все не зря, из его песни слова не выкинешь). Спиридон Расторгуев не только не застрелился на кладбище, но еще и обругал безответных мертвецов, сам же отправился ночевать к буфетчице Верке. Утром он еще раз навестит учительскую пару, пообещает учителю «уработать» его — и не поверит в свое обещанье. Он упыется унижением при встрече с дружками-односельчанами, возьмет путевку в дальний рейс и уедет. . .

Последние страницы в рассказе «Сураз» бессобытийны, бесфабульны, что, в общем, не очень характерно для прозы Шукшина. Герою дается возможность побыть наедине с самим собою, а нам, читателям, — заглянуть в «бездны» его. . . хочется сказать «духа», но это слово не то, не годится оно для Спирьки, не подходит к нему. Вводя нас во внутренний, подспудный, подсознательный мир своего героя, Шукшин подымается до откровений и мастерства психологической прозы, соизмеримых с классикой. И все по-шукшински предметно, зримо, без внутренних монологов персонажа, без авторского указующего перста. Добро противоборствует злу не в рассуждении, не в диспуте, а как-то так, опять же стихийно. . .

В этом месте моих рассуждений я хотел бы сказать и о том, что «Сураз» написан в традиции «Преступления и наказания». Едва ли бы Спирька вышел из-под пера Шукшина таким, каким мы знаем его, если бы не было Родиона Раскольников. Там — Родион, здесь — Спиридон; там — Раскольников, здесь — Расторгуев.

. . . Я вижу, как задвигались желваки на скулах у

Василия Макаровича. Будь он жив, он бы мне возразил: «Не надо!» Это его любимая, много значащая для него, остерегающая фраза: «Не надо!»

Но вернемся к рассказу «Сураз»...

Еще полстраницы дается Спирьке, чтобы напоследок пожить, посмотреть на цветы и на пташек. Это нужно ему, он не только итог военного лихолетья, безотцовщины — мать в подоле принесла, «сураз», — но и дитя природы... Далее следует, как в кино, смена планов. Спирька удаляется от нас. Он «...долго сидел неподвижно. Может, думал, может, плакал». О чем он думает? Это оставлено автором нам, читателям, — додумывать Спирькины думы.

Спиридон Расторгуев умирает, как занедуживший зверь, уносит свою душевную боль и смерть с глаз долой, подальше от стаи, сворачивает с тракта в лес, на полянку. «Вот где стреляться-то, — вдруг подумал он спокойно. — А то — на кладбище припорол. Здесь хоть красиво». Такой характер у Спирьки. Такой рассказ написал Василий Шукшин.

Короткий рассказ вместил в себя целую психологическую драму. Спиридон Расторгуев и преступник и жертва. Он может переступить человеческий закон, но гораздо сильнее и непреложнее в нем потребность вершить над собою нравственный суд.

«Спирьку нашли через три дня в лесу, на веселой полянке. Он лежал уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз... Из-под себя как-то изловчился,

Привезли, схоронили.

Народу было много. Многие плакали...»

Учитель физкультуры победил Спирьку в самом прямом, кулачном смысле. Буквально как в известном поэтическом постулате: «Добро должно быть с кулаками». Но учителю не дано стать главным героем рассказа или хотя бы сколько-нибудь значительной личностью.

А Спирьку жалко...

Шукшинна упрекали: «Зачем так грустно? Откуда ваши герои? Мы знаем других. Для чего теньевые стороны жизни, неужели не видите светлых?» Шукшин стискивал зубы и отвечал работой, наращиванием художественной убедительности, мастерства. Иногда отвечал впрямую, писал статьи, давал интервью. «Честное, мужественное искусство не задается целью указывать

пальцем: что нравственно, а что безнравственно, оно имеет дело с человеком «в целом» и хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему правду о нем». Это из статьи «Нравственность есть Правда». Шукшин ее написал не для последнего тома собрания собственных сочинений, а выступил, оборонился, святая святых защитил. . .

Давайте перечитаем всего Шукшина (это не так просто сделать: полное собрание его сочинений не издано) — и мы попадем в мир. . . хочется сказать: «странный», так принято говорить о шукшинском мире. Но лучше сказать: внезапный. Мир, открывающийся в книгах Шукшина (и в фильмах), внезапен, как самая судьба автора. (Помните, он сам хотел назвать свои рассказы «внезапными»?) Это — мир подвижный, развивающийся во все стороны, дисгармоничный или, лучше, диалектичный, как мыслящая, ищущая, строящая себя человеческая личность. И это — очень сообразованный, волею художника управляемый, по-своему цельный мир; не строительный материал, а здание. . . Все сделанное Шукшиным в литературе можно представить себе как один роман (увы, недописанный). Рассказы его — это главы романа: в одном рассказе завязка, в другом кульминация, в третьем финал. Рассказы Василия Шукшина очень нуждаются друг в друге, опять же, как главы романа. Вынутый из цикла, из сборника, единственный рассказ Шукшина сам по себе сразу что-то теряет, какие-то нити оказываются оборванными.

Героя в рассказе Шукшина могут звать Пашкой, Спирькой, Гринькой, но, вчитываясь в Шукшина, мы вдруг откроем в сонме выводимых на сцену персонажей какие-то родовые черты национального характера, уходящие корнями в подпочву истории. Тут и разинская вольница, и великий путь из срединной нищей России к сибирским тучным землям, и обживание Сибири для России, и унаследованная от предков строгость, мудрость крестьянской трудовой нравственности, и шрамы, вывихи от невзгод, скоморошество, и — дальше, ближе к нам — гражданская война, коллективизация, раскулачивание, Отечественная, послевоенное лихолетье, безотцовщина, массовое переселение сельских жителей в города. И многое другое. Шукшин — современный писатель. И в то же время исторический. Его творчество художественно воссоздает бытие народа — в исторической

перспективе; объективное, общее в нем тесно сопряжено с личным, родовым, семейным.

Я помню, близкий Василию Макаровичу человек вскоре после его смерти сказал мне так: «Хочешь понять Васю, прочти «Я пришел дать вам волю» — в Разине очень много его личного, шукшинского. . .»

Шукшин — закодированный писатель. Затронутые им проблемы, загадки человеческого духа дают работу нашим уму и сердцу — для самопознания и самовоскрешения; не устаревают, они вечны.

И тут, в заключение, надо оговориться. Нужен постскрипtum, что ли, к написанному. Как пишут в газетах: «Когда верстался номер, мы узнали о том, что. . .»

Когда-то я прочел рассказ «Сураз» в книге «Характеры», изданной в 1973 году «Современником». Шукшин тогда был жив, он мне подарил эту книгу с дарственной надписью. И все суждения о «Суразе», приведенные выше, в статье, и все цитаты — оттуда, из этой книги.

Но вот читаю «Сураз» в другом издании: «Молодая гвардия», 1975 год. Василий Шукшин. Избранные произведения. Двухтомник. Том первый. Дошел до страницы 199. На ней окончание рассказа «Сураз»: «Сильно, небольно толкнуло в грудь, Спирька упал навзничь. . . Показалось ему, что темное небо мягко упало на него. И все-таки в последнее мгновение успел подумать. . . Не подумал даже, а удивился: «А не больно!» И все.

Здесь оборвалась недлинная, путаная дорожка Спиридона Расторгуева на земле».

Что за чертовщина? Ничего этого не было у Шукшина. «Сураз» в книге «Характеры» кончается по-другому. «Недлинная, путаная дорожка. . . на земле» — таких самооправдательных оговорок для издателей Шукшин себе не позволял.

В двухтомнике Спирька стреляется на кладбище. Финал получился демонстративный, мелодраматический, как в плохом театре. Из рассказа выпало несколько страниц высочайшей прозы. Шукшин явился неподготовленному, впервые берущему его в руки читателю адаптированным, урезанным, спрямленным.

Как это делается? По-разному. Иногда усекается всего-навсего одна буковка в слове. Вроде как корректорская ошибка, корректор проглядел. Вот, пожалуйста: «— Я предупреждал: я тебя работаю,— сказал

Спирька. Хотел оттянуть курок двустволки, но они были уже взведены. . .»

Это в двухтомнике (том 1, стр. 198).

А вот как в «Характерах» (стр. 82):

«Я предупреждал, я тебя уработаю. . .»

Улавливаете разницу? «Я тебя работаю» — сказать нельзя, даже владея всеми диалектами и жаргонизмами, включая «феню». «Я тебя уработаю» — только так мог сказать Спирька, «пыхтевший» пять лет в местах заключения за злостное хулиганство.

Герои Шукшина изъясняются на том языке, уроки коего им преподали место и время их родового и социального обитания. Здесь мы имеем дело с языковым абсолютом — первоосновой искусства и мастерства Шукшина. К этому прикоснуться нельзя, иначе мы потеряем мастера.

Можно предположить, что в двухтомнике напечатан один из авторских вариантов рассказа «Сураз». Возможно, были у автора варианты. Но автор сам выбирает, включает в книгу, держит корректуру своих рассказов, подписывает в печать — и текст становится единственным, каноническим. Именно таковым и является текст рассказа «Сураз», напечатанного при жизни Шукшина в книге «Характеры».

Кажется, ясно. . .

И все равно проходятся по тексту с перышком в руках, поправляют, спрямляют, придают шукшинской Правде ласкающее взор благообразие, обкарнывают, искажают смысл, стиль, язык превосходных, еще при жизни автора прочитанных, в память сердца врезавшихся рассказов. . .

А для чего?

Вопрос в пространство. . .

И еще один вопрос.

Почему до сих пор не издано полное собрание сочинений Василия Шукшина, ну, скажем, в пяти томах, при сведущей редколлегии, с соблюдением авторского права, правил текстологии?

Нам очень его не хватает,

СОДЕРЖАНИЕ

О ЧЕМ ПОМНЯТ БЕРЕЗЫ	3
ГРИБЫ ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ	26
ПО ТРОПИНКАМ ПОЛЯ СВОЕГО	
ЛЕГКИЙ ПОЛЕВОЙ ОБЕД	34
РАННЯЯ ВЬЮГА	87
НОЧЬ НА БУРОВОЙ	132
ВЕСНОЮ В АФРИКЕ	
БАЛЕТ СЕНЕГАЛА	144
В ТЕНИ ПОД МАНГОВЫМ ДЕРЕВОМ	173
ЖАЖДА	198
ЖРЕБИИ	
УВЕРЬ И РАДОЛЬ	219
ЗЕЛЕНЕЕТ ВЕТОЧКА	231
ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА	244
ЖРЕБИИ	253
«ПРОБИТЬСЯ К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ДУШАМ...»	271
КАЛОРИЯ	292
«ГДЕ-НИБУДЬ НА РУСИ...»	307

Глеб Александрович Горышин

ПО ТРОПИНКАМ ПОЛЯ СВОЕГО

Л. О. издательства «Советский писатель», 1983 г. 336 стр. План выпуска 1983 г. № 30. Редактор *И. С. Кузьмичев*. Худож. редактор *А. С. Орлов*. Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*. Корректор *Ф. Н. Аврунина*. ИБ № 3667. Сдано в набор 2.09.82. Подписано к печати 7.06.83. М 35068. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 18,81. Тираж 100 000 экз. Заказ № 654. Цена 1 р. 40 к. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.